Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (469)

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Артем Верле. Тяжелая техника. *Стихи* 3
Сергей Шикера. Портрет. *Рассказ* 6
Михаил Немцев. И наша любовь голодных. *Стихи* 10
Владимир Тучков. В парке Чаир наступают морозы. *Шесть скелетов, найденных в славянском шкафу* 19
Александр Титов. Чичичилетие. *Повесть о последнем большевике* 42
Люба Макаревская. Признание в слабости. *Стихи* 63
Виталий Зимаков. Утопленница. *Стихи* 71
Кусчуй Непома. Импрессионизм. *Рассказ* 75
Юрий Гудумак. Граница Центральной Азии. *Стихи* 85
Валерия Макарова. Взбрык. *Рассказ* 91
Елизавета Шершнева. «грех закадычный гнездится по углам...» *и др. стихи* 103
Сергей Зельдин. *Из цикла «Маленькие рассказики»* 106
Арсений Ли. Бутафория. *Стихи* 109

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Владимир Орлов. Александр Гинзбург: русский роман
Три главы из книги 112

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Илья Семененко-Басин. «пролетая через точку ♈» *и др.* 179
Михаил Корюков. «ничего не осталось от карты мира...» *и др.* 180
Евгений Степанов. «я замер азией во льду...» *и др.* 181
Виктор Смирнов. «Вихрь» *и др.* 182

РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Слепухин. Охотник за любовью
(О творчестве Генриха Манна) 184

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Михаил Дмитриев. Деревенские элегии.
Публикация, предисловие Георгия Квантришвили 221

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Денис Липатов. Что мы увидим, когда закончится ночь?
Игорь Караулов. Конец ночи 233

Дарья Облинова. Лабиринты сослагательного наклонения
Елена Чижова. Китаист 237

Сергей Шиндин. Неожиданные подтексты
Георгий Левинтон. Статьи о поэзии русского авангарда 238

Аркадий Данилов. Грядущий Кац: интервью с Романом Арбитманом
Рустам Кац. История советской фантастики. Пер. на японский: Хироаки Умэмура 241

© «Волга», 2017

Артем ВЕРЛЕ

ТЯЖЕЛАЯ ТЕХНИКА

***

и хотя район здесь плотно застроен домами
на территории туберкулёзного диспансера свободно
много старых деревьев кустов черёмухи за невысоким забором
здание же его там в глубине аллеи
ранним зимним утром светит сквозь высокие окна
шарообразными лампами под самыми потолками
сюда приходят на работу рано облачаются в халаты
и смотрят за другими лежащими бродящими едящими
одетыми кто в что
там старушка возит кастрюли на каталке
с нескончаемой кашей с надписями первое отделение второе отделение

я проезжая мимо всегда откашливаюсь – горло першит в предчувствии
всё новых возможностей

***

в окрестностях вокзала чаще можно встретить приезжих
из деревень районных центров где у них свои дома или даже квартиры
здесь всё для них громоздко неуютно но даже и убогое привлекательно
их одежды пахнут лежалым хлебом свежим молоком и печным дымом
от вокзала же веет углём шлаком мерещится гудок
и грязь естественна как девятнадцатый век
и хоть всё тут ведёт себя вполне естественно
но постоянно что-то у него не получается

и даже собаки что (как там?) брехают на перекрёстке
всё ж таки не так

***

белые девятиэтажные дома строят на грязи
изрытой колеями оставленными тяжёлой техникой
они ещё пусты – внутри у них лишь мокрые серые стены

Артем Верле родился в 1979 году. Жил и учился в Санкт-Петербурге, кандидат философских наук. Публиковался в журналах «Воздух», Textonly и «Новые облака». Автор книги стихотворений «Хворост» (2015), удостоенной Малой премии «Московский счёт». Живёт в Пскове, работает преподавателем.

их хорошо видно сквозь пустые оконные проёмы
невдалеке ещё сложены друг в друга лестничные марши
строительный кран очень осторожно пытается не утратить равновесие
порыв ветра вдруг заставляет беспокоиться людей внизу
они одеты в грязные тулупы – все в белых тёртых пятнах
а я беспокоюсь ещё больше чем они
что-то во мне бросается схватить кран удержать

но другая часть меня вместе с остальными моими частями
остаётся на месте и медленно уводит прочь ту растревожившуюся

***

с девятого этажа хорошо видно как играют дети во дворе
три пять четыре – двенадцать в общей сложности
они то собираются вместе то разбегаются в разные стороны
по одному и группами
их траектории порою образуют замысловатые узоры на снегу
возможно совпадающие с каким-нибудь из древних иероглифов
или даже с последовательностью иероглифов
а в небе над двором помимо снега летают птицы – вороны и крачки
фигуры их полёта не менее иероглифичны
и где-то вероятно совпадают с теми детскими

но на другом языке или на том же самом трудно сказать
без дополнительной подготовки

***

опять над соседним домом кружатся галки
но в этот раз как-то замедленно и размеренно
и их интересует только определённое пространство
за пределы которого они не вылетают – невидимый шар метров пятьдесят в диаметре
долетая до его границ птица летит уже в обратную сторону
но вот некоторые птицы ускоряются их полёт становится стремительнее
сначала одна птица вылетает за пределы шара потом другая
и всё разваливается – все творят что хотят

и мне уже не интересно наблюдать за ними
и я тоже перелетаю невидимую границу чтобы поставить чайник

***

школьный стадион покрылся коркой первого снега
да даже и не стадион – пустырь с воротами в овале беговой дорожки
да даже и не снег – лёгкий налёт первого слоя побелки по грязи
стебли трав воткнуты в снег неглубоко и колышутся

беговая дорожка просвечивает своей чернотой
как след оставшийся от инопланетного корабля
интересно а у них там – в их истории – были случаи массового уничтожения
сжигали ли они друг друга в печах доводили ли до голодной смерти
высокий и очень тощий человек с чёрным пакетом в руке
пересекает наискось стадион двигаясь в неизвестном направлении

не подозревая ничего об опустошённых глазах
замученного инопланетянина – или подозревая

***

в чистом поле в нагроможденье мглы неподвижно здание гипермаркета
огромная парковка почти пуста – лишь три четыре автомобиля
вся площадь расчерчена белыми линиями обозначающими пятьсот машиномест
всё замерло в пустом безмолвном свете
остановленное мгновение выпавшее сюда из времени
словно в замершем море трансатлантический лайнер покинутый пассажирами
рассеявшимися в воздухе от противочеловеческого напряжения света
но вот что-то движется вдоль жёлтой стены здания
скачет в тщетных поисках каких-либо знакомых ориентиров
издалека не разобрать что это – ясно только что некая форма живой материи

борющаяся за свою жизнь посредством учащённого сердцебиения
упорно пытаясь быть здесь – как и я – формой настоящего времени

***

весь день платная автомобильная парковка почти пуста
но к вечеру машин на ней становится всё больше
а вскоре (уже когда фонари сияют ярче) и вовсе остаются три-четыре места
это места из тех что выкуплены по абонементу
и в это время в охранника стоянки вселяется невольная тревога
лёгкая форма внеземного вируса – но вот всё-таки появляются один, потом – другой
а где оставшиеся двое или один: уехали, авария, ремонт, оставили у дома
мелькает даже образ человека вплетённого в комок железных жил
между тем уже густая ночь и светят звёзды своим тщетным светом
преодолевшим сотни световых лет ради касания сетчатки глаза охранника автостоянки
во глубине его нервной системы их импульсы смешиваются с внутренней взволнованностью

и я смотрю на эти звёзды и во мне нарастает иллюзия вечности
но всё же нет – вот кто-то повернул – едет сюда

Сергей ШИКЕРА

ПОРТРЕТ

Рассказ

Вечерами Короб часто сидел в баре возле Нового базара, в двух шагах от дома. В неизменной черной кожаной жилетке, с круглой серебряной пряжкой на шнурке под горлом, он появлялся в седьмом часу, опрокидывал стопку водки и потом долго тянул пиво. Ни барменши, ни уборщицы его не любили. Что не мешало ему пользоваться мелкими привилегиями завсегдатая: иногда выпивать в долг и переключать программы в телевизоре над стойкой.

Как-то к его столу подошел парень в бейсболке, который до этого с четверть часа сидел в углу, пил чай.

– Я вас знаю! – радостно сообщил он. – Вы художник.

Короб пожал плечами, что означало: «есть такое». Когда-то, еще в прошлом веке, он закончил курсы шрифтовиков и этим, кроме всего прочего, подрабатывал до сих пор. По поведению и улыбке Короб сразу определил, что перед ним овощ, дурачок.

– Вы были в Германии, – всё так же по-детски улыбаясь, добавил незнакомец и протянул руку, – Владик.

Короб пригляделся: откуда убогий всё это знает? Двадцать лет назад Коробу страсть как хотелось называться художником. Для этого ему хватило бы одного-единственного участия в какой-нибудь захудалой выставке. Не умевший рисовать ничего кроме букв, он стал таскать в центр современного искусства свои «объекты». Тамошние художники только носы воротили. Помог случай. В Германию по культурному обмену должна была ехать большая делегация от города. Современным художникам выделили некоторую квоту, но к назначенному сроку один из претендентов отбыл в Германию своим ходом на пмж, а еще двое разругались вдрызг со всеми остальными, и их вычеркнули из списка. Тогда-то и привлекли Короба с его поделками. Многочисленная делегация оказалась на удивление пестрой: музыканты, художники, журналисты, депутаты горсовета, работники банка, взявшего на себя часть расходов, бандиты, крышевавшие банк... Стоп. Бандиты. Надо же. Этот тип в бейсболке (он и тогда был в бейсболке) с тех пор почти не изменился. Если не считать улыбки. Короб слышал, что слабоумие замедляет процессы старения. Видать, неслабо где-то в голову прилетело, подумал Короб, допрыгался п**дюк, слава карме.

Владик попросил разрешения сесть. Короб разрешил. Владик сел. Та поощрительная поездка в Германию стала и для него – воспитанника детдома, разностороннего спортсмена и на тот момент грозного, но дисциплинированного бойца – пиком карьеры. Не прошло трех месяцев, как июньской ночью на Полях орошения ему под одежду забрался клещ. Первое время после больницы, куда он попал Владом и откуда вышел Владиком, его поддерживали соратники, ну а дальше пришлось идти в мир, в хитросплетениях которого он мало смыслил и раньше, а тут совсем перестал что-либо понимать. Работал где придется, зарабатывал по-разному, но поскольку жил скромно – не пил, не курил, женщин побаивался и потому избегал, – денег хватало. Наряду

Сергей Шикера родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе. Публиковался в «Новом мире»; в «Волге» напечатаны рассказы «Идущий против ветра. Записки неизвестного» (2010, № 7-8), «Маклер» (2012, № 9-10), романы «Стень» (2009, №№ 9-10, 11-12), «Выбор натуры» (2014, № 3-4), «Египетское метро» (2016, № 3-4).

с кино и спортивными состязаниями, главным его увлечением стало посещение всевозможных собраний и мероприятий. Мормоны, муниты, евреи за Иисуса, какие-то семинары, тренинги, лекции... В конце концов его прибило к компании любителей зимнего плавания, и он так близко сошелся с шестидесятилетней активисткой (друзья ее называли мать-моржиха), что перебрался к ней на Конную. Они прожили вместе больше двух лет. В свои выходные – он тогда работал посменно грузчиком – Владик днем занимался хозяйством, а по вечерам читал подслеповатой сожительнице Рерихов и Шри Чинмоя. Хорошее было время, спокойное; понятной была жизнь. Мать-моржиха, чья душа покинула этот холодный мир во время ночного новогоднего заплыва на пляже Отрада, оставила ему свою квартиру. Продав прежнее жилье за бесценок каким-то ушлым ребятам, которых ему порекомендовал знакомый по работе, он рассчитался с внушительными долгами покойной хозяйки и занялся поисками родившей его почти сорок лет назад женщины. Первую попытку (если не считать побегов из детдома) он предпринял, получив паспорт, вторую, столь же безуспешную, лет десять назад. С деньгами на руках всё оказалось гораздо проще, и поиски скоро привели его в небольшое село неподалеку от Балты. Местная жительница, одноклассница матери, показала ему могилку под ржавым крестом с полинявшими, но, к счастью, сохранившимися датами на табличке и подарила фотографию. Из её рассказа он узнал, что мать уехала из села сразу после школы и вернулась перед самой смертью. Жила у сестры своей мачехи, одинокой вдовы, которой уже тоже нет на этом свете. В юности веселая была. Он задержался в селе еще на день, чтобы привести могилку в порядок.

Владик вытащил из куртки паспорт, из него достал черно-белую фотографию и протянул Коробу; спросил, можно ли нарисовать портрет. Смеющаяся, коротко постриженная девица (что-то в ней было неприятное) сидела на подвесных качелях, вытянув вперед полные ноги. Легкий белесый туман от контрового солнечного света съел кое-какие мелкие детали по краям снимка.

– Это мама, – сказал Владик.

– Фотография та еще, – пожаловался Короб. – Глаза сломаешь. На когда надо?

– А когда вы сможете?

– Да хоть завтра. Но это если все дела отложить... сам понимаешь.

– Завтра.

Покачав головой, поторговав минуту-другую озабоченным лицом, Короб назначил цену – сто долларов. Растерянно улыбаясь, Владик потер ладонью об ладонь и согласился. Это были на сегодняшний день все его деньги. Почти все. Короб сразу же запросил половину. Сходив домой, Владик принес две двадцатки и десятку. Они договорились встретиться завтра в это же время, и Короб отправился к художнику Денисову, когда-то лихо рисовавшему в Городском саду портреты. Он предложил Денисову десять долларов. Относительно трезвый художник потребовал двадцать. «Не морочь голову, – сказал Короб. – За двадцать мне напишут маслом в двух экземплярах». На вопрос «кто такая?» ответил: тетка, сестра отца, а портрет – подарок к юбилею. Давать аванс наотрез отказался, зная, чем это может закончиться. Отказ разозлил Денисова, и он, согласившись на работу, в сердцах решил ее не делать, чтобы подвести Короба, однако продержался в этом намерении недолго, и к назначенным шести часам следующего дня портрет был готов. Глянув на него, Короб ахнул. Он как-то совсем упустил из виду, что Денисов в Городском саду кроме портретов рисовал шаржи. И сейчас перед ним был... Хотя, нет. В том-то и дело. Никакой это был не шарж. Это был очень выразительный портрет молодой женщины, в которой Короб при первом взгляде на фотографию мимоходом отметил что-то неуловимо неприятное. А вот у Денисова оно, похоже, вызвало такой интерес, что сквозило теперь во всем: в повороте головы, в широком оскале, в игривом прищуре... В итоге получилась то ли шалава, то ли ведьма, а скорее и то и другое вместе. Еще и вывел это личико на весь лист. «А где качели?» – едва сдерживаясь, чтобы не заорать, спросил Короб. Денисов не ответил. Натолкнувшись на его каменный взгляд, Короб решил не продолжать. И поступил благоразумно. Денисов по опыту знал: любые разговоры у готовой работы заказчик заводит с одной целью – заплатить меньше. Рассчитайся, потом говори что хочешь. Поэтому, услышав про качели, он вместо ответа только крепче сжал в кармане

халата маленькую наковальню из детского слесарного набора, когда-то подаренного сыну, теперь жившему в Америке и за столько лет не сделавшему не единой попытки связаться с отцом, а ведь парню уже семнадцать. Это он как бы на моей тетке за аванс отыгрался, козёл, подумал Короб и, сатанея от мысли, что его собственная дурость может обойтись ему в пятьдесят, а точнее, в шестьдесят долларов, молча расплатился. Ладно, успокаивал он себя, жизнь завтра не кончается, как-нибудь сочтемся.

Едва закрылась дверь за Коробом, Денисов схватил со стола деньги, чтобы бежать в магазин. О том, что нужно переодеться, ему напомнила больно толкнувшаяся в пах наковальня сына, увезенного в Америку полоумной матерью, и с тех пор... «Не только, полоумной, но еще и кое-кем покалеченной», – как обычно вмешался постоянный слушатель. «Да, покалеченной», – как обычно согласился Денисов, и на этом тема сыновнего равнодушия в очередной раз была закрыта. Трудясь над портретом, он ломал голову, как потратить гонорар. Уставший от аптечных настоек и паленой водки в наливайках вокруг Привоза, он решил устроить себе праздник. На эти деньги можно было купить три бутылки казенки и нормальную закуску или одну бутылку средненького коньяка. Пришло время определиться. Ему очень хотелось коньяка. Сколько его разного было выпито в Городском саду, на крымских набережных, на Андреевском спуске, эх! Очень хотелось, очень. Денисова даже на некоторое время увлекла бредовая фантазия, что, попив коньяка, он просто физически не сможет вернуться к прежней гадости, да и вообще больше не сможет пить ничего другого, а это уже серьезный повод начать новую жизнь, в которой коньяк в доме будет всегда. В общем, коньяку хотелось до безумия. А чем еще, если не безумием, было отказаться от полутора литров хорошей водки с хорошей закуской?

Два раза по дороге Короб останавливался, чтобы посмотреть на портрет. Ну вот зачем надо было связываться с Денисовым, художников, что ли, мало в городе? Ведь полный же отморозок, однажды чуть не забивший насмерть бывшую жену и окончательно свихнувшийся после того как был вынужден, чтобы не сесть в тюрьму, дать ей разрешение на вывоз ребенка. Вот он и выпустил, пользуясь случаем, всех своих демонов. И что теперь? С каким лицом Короб сейчас должен втюхивать эту блудницу вавилонскую её сыну? Владик, конечно, овощ, но как бы он не пришел в себя от такого зрелища.

Столь сильного предваряющего выпивку волнения Денисов не помнил: сердце так и ходило ходуном. Нежно чпокнув, пробка вышла из бутылки и, как живая, выпрыгнула из руки. Денисов отодвинулся вместе со стулом и склонился набок, выглядывая ее под столом. Наклоняясь ниже, на секунду замер, и упал головой в пол. Соседи обнаружили его на следующий день, ближе к вечеру – после обеда подул шквалистый ветер и сквозняком распахнуло настежь незапертую дверь; открытый коньяк закрыли и отложили на поминки.

«Йес!», отсалютовал про себя Короб, когда лицо Владика, развернувшего рисунок, перекосило от восторга и умиления. Именно такой, яркой, пышущей весельем, он мать и представлял. И не надо больше всматриваться в фотографию, всё само бросается в глаза. Он попросил Короба расписаться, вот здесь, внизу. Поглядев на портрет со своей подписью, Короб решил сделать копию – мало ли, вдруг пригодится. За недавние опасения стало даже неловко – портрет-то неплохой. Это нервы, решил он, и повел Владика в ближайший копировальный центр.

На следующий день, в субботу, Короб познакомился возле Нового базара с двумя учительницами младших классов из Ананьева, так они представились. Славно посидев с ними в заведении, Короб пригласил их к себе. Пока шли по Торговой, он размышлял о преимуществах жизни в Одессе: а вот смог бы какой-нибудь житель Ананьева его возраста с такой же легкостью и при тех же минимальных затратах затащить в койку двух вполне кондиционных, или, как писали в старых романах, весьма недурных собой, одесситок? Вопрос риторический. Да и что им, недурным, делать в том Ананьеве?

Дома Короб предложил разместиться в спальне на ковре между окном и кроватью. Он принес бокалы, разлил вино и выставил на середину подсвечник с зажженной свечой. Осталось выбрать музыку. Стоя у деревянного стеллажа, Короб попутно рассказывал о достоинствах винилового

звука. Перебирание пластинок с краткой лекцией о виниле было своего рода ритуалом, в финале которого на вертушку лег старый добрый Крис Ри. Звонко чокнувшись, выпили за любовь. Потом все трое, потянувшись к свече, закурили. Короб уже собирался погасить верхний свет, как вдруг крепко задумался. Одна из учительниц, показывая другой вчерашнюю копию, спросила, что за женщина изображена на рисунке. Короб послушно перевел взгляд на портрет и не смог вспомнить, кто это. Он даже протянул руку, чтобы щелчком включить внезапно отказавшую память, но запутался в пальцах. Из конца в конец меркнущего сознания проплыла разом всё объясняющая и тем самым освобождающая от всех дальнейших забот мысль о том, что он слишком долго стоял к ним спиной. Где, к кому и зачем он стоял спиной, выяснить не удалось. Отчасти потому, что слова, которыми он думал, еще на подходе теряли смысл (так, он с трудом вспомнил, что «клофелин» это название песни. Песни?.. А что такое – «песни»?). В этом было что-то забавное и одновременно умиротворяющее...

...«Он вообще живой?» – испуганно прошептала лазавшая по карманам Короба девица. Та, у кого она спрашивала, стояла, смотрела, но прикасаться боялась. Делая это второй раз в жизни, она от волнения, кажется, переборщила с дозой.

Большая сумка со всякой всячиной, от соковыжималки и тостера до джинсов и белья, стояла у дверей. Деньги нашли в кухне под телевизором. Бумажник с небольшой суммой лежал в прихожей рядом с ключами. В карманах ничего, кроме зажигалки, платка и жевательной резинки, не было. На выходе, пропустив вперед подругу с сумкой, отравительница ринулась в спальню и переставила горевшую как ни в чем не бывало свечу с ковра на нижнюю полку стеллажа между пластинками; пометавшись из стороны в сторону, легкое желтое пламя остановилось и, чуть приплюснутое верхней стенкой полки, продолжило ровное горение.

...Незадолго до полночи, как раз в ту минуту, когда машина с телом Короба, сраженного ударной дозой клофелина и добитого продуктами горения поливинилхлорида, въезжала во двор морга в Валиховском переулке, где с вечера лежал художник Денисов, в своей комнатке на короткое время очнулся от сна Владик. На столе, подсвеченный сбоку светильником с электронными часами, стоял портрет, уже в рамке и под стеклом. Рядом стояла ваза с желтыми и красными тюльпанами.

Сон был приятным. Да и не мог быть другим, поскольку стал продолжением приятных мыслей, которые тут же вернулись. Как же удивительно всё сложилось к этому дню: как вовремя он нашел могилу, как удачно, суток не прошло, встретил художника, и как тот сразу взялся за портрет. Словно ему подсказывали: Владик, иди туда-то, делай то-то, обратись к тому-то... Как будто он все это время был не один. Как не был один и сейчас. И дальше не будет. Владик чувствовал, что опять засыпает, и не было никаких сил сопротивляться. Однако же продержался, дотянул до момента, когда на часах выскочило четыре нуля, и, возвращаясь в свое счастливое забытье, уже с закрытыми глазами прошептал: «С днем рождения, мама...»

Михаил НЕМЦЕВ

И НАША ЛЮБОВЬ ГОЛОДНЫХ

Здесь и сейчас

В жизни людей любви маловато.
Так,
взаимо-
упиханность, в основном.
А как-то справляться надо.

Кто бы воспел эти башни с выглаженными боками болидов,
мимо которых иду я сейчас. На свидание, да.
С работы. О, кто бы
воспел эту скудость
железобетонных стен?
И промеж высотных сараев затерянные площадки,
и промеж тех – недействующие качели,
все пожизненно перекошенные турники,
траншеи в сугробах и главное: мимо идущих всех?
Куда-то они ради каких-то дел.
Вот я – на свидание, как и было сказано; эта мадам в магазин, вероятно.

Мне тридцать три, я здесь их и прожил, меняя книги на сахар,
Топтал этот снег, и продумывал эти жизни.
На что их используют без любви? А единственный шанс, вероятно, будет промотан.
Но даже теперь его вычислить не возьмусь.
Возлягу ль с тобой, о звезда побережья балтийского? Нет, не возлягу.
Явлюсь ли к тебе, итальянка нежнейшая? Нет, не явлюсь.

Проблема свидетеля

Начальник городской полиции размышляет о проблеме свидетеля.

Когда приказы его начальников исполняются методически,
когда он вполне уверен в своих подчинённых и их подчинённых,
не может не быть свидетеля. Об этом думает он. Кто-то из них, кто

Михаил Немцев родился в 1980 г. в городе Бийске Алтайского края. По основной профессии – преподаватель философии и истории. Публиковался в альманахах и журналах Homo Legens, TextOnly, «Ликбез», «Сибирские огни», «Воздух», «Неприкосновенный запас», «Знамя» и др. Отдельными изданиями вышли повесть в рассказах «Тексты-двери» (Новосибирск: Артель «Напрасный труд», 2008), книга стихов «Интеллектуализм» (Омск: Амфора, 2015). Редактор-составитель и участник поэтических сборников «Смерти никакой нет» (Новосибирск – Москва, 2015), «Это будет бесконечно смешно» (Москва, 2016). Участник новосибирского литературного сообщества «Реч#порт».

как будто спокойно
(пусть даже и неспокойно) заполняет
формуляры, насвистывая при этом, потом
вывезет под пряжкой ремня фотографии.
Или монашенка та напишет письмо в Ватикан,
или кто-то из вольнонаёмных, специалистов по минному делу –
кто их разберёт? – итальянцев, ирландцев, венесуэльцев... –
опубликует поклёп, переодетый под воспоминания.

«Воспоминания»!.. Начальник полиции расспрашивает сына, который когда-то
учился в столице живописи, о действии перспективы
и о том, что может увидеть тот, кто стоит в отдалении. Но его-то
интересует другое: что может видеть то кто не должен видеть.
Так начальник городской полиции приходит к мысли о существовании Бога
и вдруг ощущает себя куском печёнки на сковородке.
В этот вечер начальник городской полиции из верного слуги молодой Республики
превращается прямо-таки в марионетку молодой Республики.

Но это свидетельство как-то должно ведь выстрелить? Он живёт
ещё тридцать лет, выслуживается до полковника,
производит восемь детей,
уходит в отставку,
и все эти тридцать лет
на душе у него
мягко говоря
нехорошо

2017

Тропики

В маленьких городах не с кем вести разговоры
о морях, о морских побережьях. Но именно там они особенно сильно дразнятся.
Он выходил из дома каждое утро и думал о побережьях. Вышагивал
по переулку на перекрёсток, к автобусу, добирался до Академии
(ещё двадцать лет назад она была институтом, конечно,
а до того – училищем или какой-то технической школой.
Но теперь он учился не где-нибудь, а в Академии, с традициями и т. п.).
Там было скучно, и он думал о странах южнее экватора, о пёстрых людях.
Тем и спасался, так и прошли пять с половиной лет.
Это был длинный покатый трамплин,
и он по нему, даже обойдясь без прыжка, скатился.
То лето прошло на родительской даче, он там работал последний раз.
Далёкие острова были заполнены абсолютно неграмотными
чёрноволосыми женщинами, дикими и внимательными.
Он мог представить себе такую встречу в стиле Маклая:
остров, покрытый лесом на треть и на треть – холмами,
на берегу – фактория австралийской фирмы, торгующей морскими звёздами,
крабами, прочей экзотикой, ценною для туристов.
Всё это нужно собирать руками на дне. Местные девушки с самого детства

готовятся стать ныряльщицами, упражняют
задержку дыхания, силу ног и выносливость.
Ну, так всё и было:
он занимался сельхозработами, размышлял о любви,
заваривая в сумерках чай, а всё остальное – это был его видеоклип.
После, несколько лет спустя,
когда он всерьёз оказался вместе со смуглой высокой женщиной
(португалкою из Ирландии), и они «всё это» стали проделывать, у неё
не было клитора, утраченного в раннем детстве из-за сложной операции.
Когда он увидел это, он смеялся почти до истерики.
Это было в городе Риге.

2012

И наша любовь голодных

1. Упование на «потом»

1.
...и ваша любовь –
удивление от не-самогосебя

и наша любовь –
ненадолгое ёканье внутрях,

и ещё любовь карандашный штрих,
и эта, повторённая так-то и так-то,
и тех любовь: баллада о самотыках,
зряшная обезьянья подделка,

и та любовь, здоровская такая лет сто спустя,

и наша любовь голодных,
и она же, уже накормленных,

и ваша любовь из фильма «Фрида»,
и его любовное упование на «потом»,
и её то ли согласие то ли несогласие с этим,
и его любовь жидкость,
и всё как калейдоскоп в голове падающего по Красному проспекту подростка,
который просто не может уже это всё вынести,
и ко спасению прибегает, самого себя выключая из карнавального хоровода
избытковой
критической литературой

2.
Так называемая любовь – чувство равноудалённости
отсутствия, именуемого также «радостью» [отсутствия] –
недостижима.

Лояльно вхожу в трамвай через турникет,
пишу в телефоне стих, про себя проговаривая его,
задумываюсь о стихотворении, сочинённом
одним из борцов с языком,
к их рядам я не принадлежу, а стихотворение классное.

[*Дано же мне тело, о Анна, вот ногти – зачем мне ногти?.. и пр.*]

Субъект внутри может больше меня,
но пока не любит. Знает больше меня, но
так называемая любовь – чувство равноудалённости
отсутствия, именуемого также «радостью [отсутствия]» –
недостижима.

2. Спускаясь во двор

К радости. Уметь бы это –
выходя утром во двор,
поднимая лобешник свой многонатруженный, улыбаться что ли,
справедливое видеть вокруг –
но так долго учившись совершенно другим вещам,
трудно их перестать длить.

Холодает – вдруг, и в комнатах тоже. А во дворе
даже как будто снег проносится иногда,
Ах, вот была ведь бессонная ночь вчера.
Поедем! Там бессловесно где-то в окне пылает автомобиль,
Вот он уже позади, с неизвестной его бедой.
Не увижу его никогда.
Брошенный взгляд, мимо. А всё же теплее, теплее.

А вот и уже другой, стоящий автомобиль, заслоняющий остановке
вид на то что должно приближаться из-за угла, –
так необязательное, выпавшее зачем за чей счёт из чужих обойм,
мешает глядя назад увидеть «на самом деле».
Больше описаний! Больше
смелых описаний, воспоминаний! Воспоминаний.
Настаивать: это-то нас и отличает. Это –
и больше прикосновений! К –
назовёшь это «внутренностью бытия»,
имея в виду скотобазу, бойню и пр., или нежным именем
Той, будто кроме эротики – ничего, по большому счёту [amor]
или, развернув круговой осмотр вариантов (как я уже начал) примешь решенье: перечень
таковых! Чтоб сам себе не равен!

А вот я ещё скажу: **серьёзное** – неудобно, тем более безнадёжное.
Если стихи – лекарство, имеют право
напоминать первые три минуты
после несостоявшегося

(в смысле – незавершённого)
секса. Усталость берёт своё, и ответа
на справедливый вопрос «зачем это всё?» – нет,
не находится. Кому же такое понравится! Зато, если шутка в конце это
как оргазм, хотя бы
какой-то, и так вполне можно попросту удовлетворённо
уснуть, всё забыв.
Я в детстве хотел написать поэму о замерзающем дереве. О том как оно стоит
на склоне горы, и мимо бежит зверьё,
и кристаллический снег отлагается на ветвях,
и что это я а не кто-то другой замерзаю вот здесь, под утро (то есть там, в лесу) –
не написал. Да зачем это всё, казалось бы. Так никто ведь счастливее,
радостнее не станет;
потому и не написал. Всё равно впереди – ничего не видно. Ведь так?
Но поедем, поедем, поедем! Мы поедем,
помчимся, я бы сказал.

3. Без названия

[*Проблема субъекта особенно важна*
Поэзия оказывается лабораторией
Лишь благодаря пустоте,
для политической поэзии,
где создаются опытные образцы субъективностей,
располагающейся в зазоре между инстанциями субъекта.
Кирилл Корчагин]

Это жанр такой: от ужаса к надругательству
к оплакиванию. Зигзагами, да. Или ещё как бы нет.
Уж лучше кривляться так, чтоб откровенно умалчивать
о корне всего, о том что можно-стать-каждым:
и о том что из нас поэтому
образуются андрогины.

Разветвлённые списки, конечно
Оглядка, литературный метод
Горизонталь взгляда, фиксация
Убедительный, победительный прищур,
запятых зигзаг запятая разных
где они все где они все

Это я от которого я говорю,
тем и не хорошо, что не велико́.
тем и хорошо оно
К себе: не спотыкайся, так и иди. Бумага скрипит держит.
Ещё – экран равномерно светит. Комната неподвижна.
Все соработничают.
Слово ещё слово – шаг!
Траверз.

Тихо – ещё никто не умер исключительно от перебора сочетаний глаголов,
что ли. Будешь одним из них,
хотя это волнительно
Где не пройти –
там только – не останавливаться.

Слова к андрогину:
дырка от бублика вот это что вот это что

– Расскажи мне, что ли, историю, голосом выделяя акцентуации.
Важно: не обознаться:
на чьей стороне, с кем
солидаризир.?

***

Бакинский еврей – эмигрант, в Берлине это
если ещё не судьба, так профессия.
Внешне напоминает жигалёныша с Александрплятц,
бывшего студентом юрфака во Франкфурте, но назло богатой маман
себя обратившего в будущего персонажа Фассбиндера. Но этот –
не жиголо, хотя вряд ли разборчив в связях
с падшими всех полов. Но как он одет, в каком
галстуке! Говорит
на неведомом языке –
на персидском? Египетском? На бакинском?
На праевропейском. Говорят, зарабатывает, выполняя
деликатные поручения
одного гамбургского перекупщика, поклонника экзотических увеселений.
Как он красив, ты неосторожно шепчешь, когда он влетает в твой
дансинг, заранее согласившись даже ему отдаться, если он позовёт
в свой душноватый рай. Как он красив! Если он позовёт. Ох, нет. Зная уже
всё как будто заранее, добавляешь ещё: «он тоже умрёт в концлагере».

Не так. Он умрёт только в семьдесят пятом году в Аустерлице, штат Нью-Йорк
неразговорчивый, аккуратный низенький старичок,
вроде бы талмудист,
господин Неизвестно Кто,
живущий под вымышленными именем и фамилией.

С пустыми руками

Другу

Разрешить себе ничего не хотеть кроме того и этого,
канона, друзей, приезжающих иногда,
и – выйти наконец туда, где стоял на остановках, сжимаясь, где проскакивал
как снегирь.
Вникнуть в детали, теперь-то позволив себе неподвижность
(заворожённую) – стоя или даже сидя,

как Догэн, вернувшийся из-за моря
с пустыми руками – достаточно было уметь сидеть неподвижно.

Архивист на даче. Вильнюс или Варшава, 1981

Прошлое. Дверь за спиной – не захлопнута, незнакомые цикады-плезиозавры
откуда-то свищут,
трещат, будто за дверью сад и будто бы он переполнен ими.
Здравствуй, явился. А выйдешь – пусто, благоустройство что ли
там состоялось. Кто-то убрался.
О, обустройство сада чужой рукой! Обопрёшься своею, а под ладонью – дерево.
Дерево вишня, дерево зиккурат, дерево абрикос.
Изгороди в низине, гравий дорожки, проволока загородки
грядок бывшей хозяйки дома. Вниз, по направлению тяготения, тропка. Когда здесь
могли проехать повозки? Сто лет назад, или пятьсот лет назад. Могли.
Луг, а за ним болотце. Речка. Окраина городка.
Хранитель скрипа чужих манускриптов,
ты вдруг отправляешься дальше, за этот ручей, там склон, а над ним – шоссе,
уложенное, очевидно, поверх
древних камней. И кто встречает на нём — неумытый танк или девочка в платье,
напоминающем о картине
«*Муза процветания на баррикаде*»?

Июль 2016

Москва, Плетешковский переулок

Край бывших трущоб, а затем – коммуналок нового быта,
новейшего – вычищенного от бабок и дедок.

Стены цвета набухшей что ли от усердья крови, геометрический угол
упирается вверх, пропарывает асфальт, подрезает крышу.

Это резкое окончание
квартала, а за детской площадкой –
дома коммунальных подросших детей. «Новостройки». Пересчитывая глазами
этажи, так и думаешь: «ничего особенного». Эпоха уже была как эпоха,
без резких углов, без дерзостей, без поражений.
«*Оно и видно*».

***

Примирены, примирены там будем,
или – и здесь, но потом, –
и что же? Проходить мимо
мальчика, мордующего собаку,
соседа, мордующего супругу, группы установленных лиц,
по предварительному сговору, – ?...

Думаю о том старом философе, покинувшем родину, в аккурат
перед тем как её накрыло крыло соседней державы и в кислоте
растворило, но угодившем в объятья другой державы, где
избраннейшие из людей несли на себе инсигнию «с нами бох»,
но прошедшем в смертельной близости от печей, и позже
создавшем учение что человека всегда недостаточно, –
как он сказал, когда молодой коллега рассказывал, мол,
дискуссии о нацизме Хайдеггера в последние годы
пришли к тому что неоднозначно всё в этом очень особом случае, –
он сказал ему вдруг по-русски, на языке своего
детства: «эти старинные байки меня больше не убеждают».

...больше не убеждают. Так вот, это знание: «все там будем»,
или «придёт рассудит», «внезапно», – было ли всё это чем-то большим,
нежели детской игрой мальчика, уговаривающего самого себя
всё ж таки выйти из дома на тёмную улицу, по нужде?

Потом

Как в дальноскопе представь себе *подземелья*
после всего: выровнено и развёрнуто,
и каждому смерть через орган, которым грешил:
курильщики вздёрнуты за трахею,
блуднику высверлена глазница,
военнообязанному неотвратимый отъят
пенис, госслужащему – кровеносный
язык, а кто ж там настигнут сечением головы?
Не мы, над нами – известный бульдозер, кто же?
Тот самый Иван Иваныч, завуч четвёртой школы,
известный на микрорайоне под прозвищами «Спартак»,
«доходяга умственного труда», садист от народолюбия. –
Да? Он! – говорю я присматриваясь издалёка,
узнавая его. Он... ведь он был умнейший человек города,
но любовь-то, любовь его подвела.

Площадь Ленина, Новосибирск

Зависть к чужому будущему иногда беспокоит.
На площади – лужи, щербатая плитка и первый снег.
Зависть к чужому будущему вдруг иногда беспокоит.
Тебя, обычно привыкшего к самому себе.

Ты куда такой, человек? Озабочен опять собой?
Сколько вокруг тех, кто своего не сделал?
Уже и не сделают. Улицы арестантов, улицы палачей.
Скольких перепилила зависть к будущему вообще!
И к тем, кто заведомо этого не достоин.
Здесь проезжали телеги, гружённые их телами.
Пересекая трамвайные эти рельсы.

И ты со своей стеклённою, отстраненной, выдрессированной
страстью, остановившись под памятником, говоришь:
«Здесь мы гуляли, здесь мы гулять не будем».
И не утешаешься тем, что можешь это сказать и за них за всех,
но утешаешься тем, что уж своё-то будущее получишь.
Каким бы оно не обернулось убогим («у Бога» оно, стало быть).
Это принцип надежды. Это всё – эта зависть, оглядка,
остановка, обращение, утешение, мутный взгляд –
это прямо сейчас, двенадцатого октября,
недалеко от Оби, на площади Ленина, в городе Новосибирске,
в центре.

Две ложки

Во время погрома всем есть какая-нибудь польза,
каждому что-нибудь достаётся. Мне – родители подарили
серебряные ложечки. Длинненькие такие,
с узором и камушками на самом верху ручки.
Когда я бы маленький, я этими ложками осторожно играл.
Когда я подрос, я просто так их хранил.
Две чайные ложки. Потом я уехал в Австралию и женился
на женщине со смуглым оттенком кожи,
с курчавыми волосами. Сначала я думал, она не еврейка ли? –
Не еврейка, – она из тех, кто здесь себя называет «чёрные», blacks.
Эти ложки теперь – в нашем домашнем музее,
среди дорогих нам вещей, фотографий родителей и детей,
сувениров из тех городов где мы побывали.
Господи, ты ведь недаром не слышишь меня, да?

Написано в Арлингтоне

Тоска по всеобщей культурке, не избываемая уже
в районной библиотеке, –
ну, это ж как ностальгия с улыбкой негрустной по бане, по мёду –
в долине Потомака; брать за точку отсчёта ту или эту,
зависит от склонностей, прижитых в ранней юности,
от обзора, от вида с родительской дачи и от была ли сама эта дача, –
и дачей была ль, или чем-то ещё, и что с ней потом случилось,
с книгами теми под лавкой в предбаннике что стряслось? Затем,
не ты ли смотрел эти фильмы, с мельканием горизонтов,
заставленных перевалами, перелётами? Раскрашенный самолёт
находит свою – наконец, обнаруживаешь себя
в окружении призматических здешних слов.

Арлингтон, Ширлингтон, Абингдон. Километры
кирпичных стен, не напоминающих ни о ком,
(кроме неведомых королей чешских), и деревянных заборов, напоминающих
неожиданно о Красноярском крае.

Владимир ТУЧКОВ

В ПАРКЕ ЧАИР НАСТУПАЮТ МОРОЗЫ

Шесть скелетов, найденных в славянском шкафу

Потерянное счастье

О текущем моменте Радий Степанович твердо знал только то, что ему больше девяноста лет.

И что на эту кровать его положили, чтобы он на ней умер.

Однако пока не получалось.

Уже неделю он лежал на правом боку в десяти сантиметрах от белой стены.

Но это на скороспелый взгляд какого-нибудь спешащего жить человека она была белой. Радий Степанович прекрасно видел трещинки на масляной краске, царапины, подтеки, пятна, которые слагались в замысловатую картину. В картину, которая лишь при большом напряжении его ослабевшей мысли частично приоткрывала свой смысл.

Порой картина оживала. Трещины и пятна приходили в движение. И в этом мельтешении Радию Ивановичу порой удавалось разглядеть какие-то фрагменты из прожитой им жизни.

В эту больницу его уложил умирать внук. Потому что валандаться со стариком стало невмоготу. Не столько, конечно, внуку, сколько невестке.

Конечно, можно было бы и сиделку... И такой расклад некоторое время практиковали. Но это было еще хуже. Потому что получался сущий ад – абсолютно чужой человек в совсем небольшой трехкомнатной квартире. Где еще и двое сыновей. Один студент. Второй выпускной заканчивает, и надо усиленно готовиться к поступлению. Да еще и их друзья-подружки постоянно под ногами вертятся.

Наверно, сын с отцом так не обошелся бы. Как-никак родные узы более короткие, а потому и крепкие. Не может не помнить, сколько в него вложил Радий Степанович.

Однако сын с невесткой были далеко. С середины девяностых перебрались в Америку. И последние лет пять от них не поступало никаких сведений.

Уж живы ли? Ведь немолоды тоже.

– Э, дедок, жив? – бодрым голосом пропела над ухом медсестра. – Небось обдулся?

Радий Степанович молчал. Потому что давно уже не обращал внимания на происходящее снаружи, не придавал никакого значения внешним голосам.

Его интересовало только внутреннее, которого за девяносто с лишним лет накопились огромные горы. Успеть бы проникнуть внутренним зрением в их суть.

Сестра что-то ловко сунула в рот. И влила немного воды.

– Живым лекарств не хватает, а тут на труп тратят, – кто-то пробурчал в дальнем углу. Но это была дежурная шутка, которой никто уже не смеялся.

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского рассказа XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. Предыдущая публикация в «Волге»: Русалка. Попытка реконструкции (2017, №1-2).

Отправить Радия Степановича в больницу оказалось не так уж и просто. Пришлось внуку напрячься. В районной поликлинике ему откровенно сказали: сбагрить дедушку на государство хотите? Чтобы под ногами не путался? Не выйдет!

Однако вышло.

Внук собрал все необходимые справки, которые приаттачил к письму в Администрацию Президента.

Естественно, ответ был положительный. Потому что стрелки на исторических часах повернулись в обратную сторону. И в Администрации Президента не могли наплевательски отнестись к судьбе человека, который долгие годы не за страх, а за совесть приумножал величие Родины. А первый секретарь горкома партии одного из уральских городов республиканского подчинения, где выковывалось всесокрушающая мощь советского оружия, был именно таким человеком.

Заведующий больницей, прочитав письмо, хоть и досадливо поморщился, но вынужден был взять под козырек, щелкнув каблуками гипотетических хромовых сапог. То, что при этом было у него в голове, внука не интересовало.

Правда, засунули Радия Степановича в шестиместную палату. Хоть были частично свободны не только четырехместные, но и одна одноместная. И лет тридцать назад ветерана партии и далеко не рядового ее члена разместили бы именно в одноместной. И пылинки бы с него сдували. И специально готовили бы для него на кухне порционные блюда. Тогда Радий Степанович к таким делам относился серьезно.

Сейчас же ему все это, внешнее, было абсолютно безразлично.

Больные, в разной степени больные, но больные не более чем на десять процентов, относились к деду как к некоему загадочному существу. Как прежде советские люди относились к первой поправке к конституции США, знание о которой черпали из советской прессы. Несмотря на то, что пожилая санитарка с узловатыми пальцами и слезящимися глазами и сказала им, что «это очень важный человек». В чем заключалась его важность? На что он был способен при жизни? Сколько наворовал?

Самый дотошный, Федор, лет сорока, какое-то время пытался как-то прояснить эти вопросы. Однако никакого общения не получилось. Радий Степанович на вопросы не отвечал.

Лежание в больнице для тех, для кого больница – вынужденная обуза, – дело скучное. Телевизор в холле оккупировала женская половина отделения. На НТВ прорваться было невозможно. Нельзя было пробить мощный заслон идущих нонстопом «Модного приговора», «Давай поженимся», «Голоса», «Наедине со всеми», «Пусть говорят» и прочей тряхомудии. Книги не шли. Потому что сосредоточиться в палате было невозможно. Оставались карты. А также разнообразные «жизненные истории», которые на поверку оказывались необычайно однообразными.

В палате, где должен был умереть Радий Степанович, – и об этом все прекрасно знали – придумали тотализатор. Так, по мелочам, сей народ при себе крупных денег не держал. Взяли тетрадный листочек и записали на нем ставки на то, когда Радий Степанович умрет.

Ставки были невысоки. Поэтому ни у кого не возникало желания придушить Радия Степановича, в котором еле теплилась жизнь. Утром один из сопалатников бывшего первого секретаря подходил к его кровати, прислушивался и, вздохнув, констатировал: дышит, блин! Что тут же порождало волну шуток-прибауток.

Радий Степанович ощущал себя несчастным. Не потому, естественно, что умирал. Не потому, что брошен родными, до которых и ему не было дела. Тут, как говорится, без обоюдных претензий. Потому что жизнь прожил неправильно. Несчастливо. То есть считал счастьем абсолютно не то, что счастьем является в действительности.

Как он пришел к этой мысли – одному лишь богу известно, которого Радий Степанович так и не признал в лицо.

И, не мигая, глядя в стену – и днем, и ночью, – пытался найти ту поворотную точку, где он пошел в другую сторону – прочь от счастья. Собственно, он не понимал и то, каким счастье бывает.

Стена рисовала картины заседаний парткомов и райкомов, на которых Радий Степанович решал неотложные задачи строительства социалистического общества. Боролся с головотяпством, кумовством, разгильдяйством, стяжательством, двурушничеством, взяточничеством, бюрократизмом, бракоделием, бытовым пьянством, волокитой, нарушениями норм социалистического общежития, мздоимством, низкопоклонством перед Западом, оппортунизмом, ревизионизмом, догматизмом, уклонизмом, как с левым, так и с правым, очковтирательством, головокружением от успехов, тлетворной буржуазностью, формализмом, шапкозакидательством, словоблудием, начетничеством, пережитками царизма, поповством, лизоблюдством, нарушением партийной дисциплины...

Радий Степанович отчетливо видел, как идет он по цехам номерного завода, вокруг которого во время войны вырос вверенный ему город, и поднимает людей на трудовые подвиги, стимулирует перевыполнение плана, выпуск продукции самого высокого качества, рационализаторство, освоение новых технологических подходов, рачительность и ответственность за выполнение оборонных заказов.

Был ли он тогда счастлив? Вряд ли. Хоть и считал, что вот это и есть высшее проявление счастья.

В палату порой приходили посетители. И не только жены, которые приносили апельсины и еще что-нибудь насыщенное витаминами, которые должны стимулировать процесс выздоровления. Порой появлялись и коллеги по работе. У которых зачастую были иные представления о том, что же в первую очередь необходимо идущим на поправку людям. То есть приносили и тайком распивали.

И на этой почве чуть не случилось убийство.

Однажды к Андрею Илларионовичу пришли два друга. В высшей степени интеллигентные. Интеллигентно распили втроем бутылку немировской перцовки. Вышли покурить. Вернувшись, распили еще четвертинку киновского коньяка.

И тут один из друзей спросил, шепотом, Андрея Илларионовича: а кто это там лежит? Живой?

Андрей Илларионович сказал, что был когда-то крупной фигурой, секретарем горкома. И теперь вот его положили сюда помирать.

У друга Андрея Илларионовича налились кровью глаза.

– Значит, эта мразь собирается преспокойно тут помереть. На белых простынках! Своей смертью! – взревел он. – Эта мразь, которая погубила в лагерях миллионы безвинных людей! Не бывать тому!

И, засучив рукава, он пошел на Радия Степановича. Чтобы задушить его. И свершить тем самым правосудие истории.

К счастью, его остановили, втроем повиснув на нем, словно охотничьи собаки на матером волке.

Да, была у Радия Степановича Зина. Секретарша. Он испытал с ней немало радостного. То есть плотского. С нею могла сравниться лишь Нина. Ну, и еще, может быть, Лена. Больше никто из ихней сестры не припоминался. Хоть и было их на веку Радия Степановича изрядно.

Правда, к радости обладания ими примешивалась некоторая горечь от того, что все это было незаконно. И скрытно, насколько это возможно для руководителя его ранга. И, значит, он в определенной степени нарушал нормы социалистического общежития, против нарушения которых сам и боролся.

Ну, и если абсолютно честно, было в этом что-то животное. Нет, не любовь мужчины и женщины, как бы ни внушал он себе тогда. А любовь собаки, которая всецело зависит от хозяина.

Все это уводило его от настоящего счастья. Отсутствие которого и причиняло теперь боль. И это была единственная боль. Потому что периферическая нервная система у Радия Степановича уже полностью износилась. И его тело болеть не могло. Болел только один мозг. Поскольку души, как считал Радий Степанович, у него нет.

Прошло уже две недели. Состав палаты уже полностью обновился. А Радий Степанович все еще был жив. Видимо, столь сильно было в нем желание отыскать в своем прошлом ту точку, где он столкнулся со счастьем. И мимо которого прошел.

Новые больные были примерно такими же в своих мыслях и желаниях, что и выписавшиеся. У них были те же шутки по поводу деда, уткнувшегося носом в стенку. И даже тот же самый тотализатор они устроили. Правда, один, особо оригинальный шутник, попытался напоить Радия Степановича рюмкой водки. Чтобы помирать повеселее было.

У медсестер же против него накапливалась злоба. На первый взгляд, беспричинная. Поскольку особых хлопот он не доставлял. Памперсы санитарки меняли.

Однако причина была очень весомая. Радий Степанович всем своим беспомощным видом глумился над ними. Такими цветущими, такими пышущими здоровьем, такими хватающими на лету раскрытым ртом все плотские радости жизни: от кулинарных до сексуальных. А он, старый сгнивший пень, внушал им мысль, что и они такими же будут.

И они обращались к нему уже не «дедок», а «эй», «ты», «ну»...

И при этом жутко матерились мысленно.

Что же касается лечащего врача, то во время обходов он старался поскорее прошмыгнуть мимо Радия Степановича, бросая через плечо: «Молодцом, мо-лод-цом!»

И лишь санитарка с узловатыми пальцами безропотно, не демонстрируя никаких эмоций, исполняла свой профессиональный долг. Так заведено испокон веку. Он – начальник. Ему необходимо подчиняться. Даже если он ничего и не требует. Надо угадывать желания, даже если они не только не высказываются начальником, но и не промысливаются. А желания теперь были у тела Радия Степановича. И они никак не могли передаваться с помощью речи.

Женился Радий Степанович скоропалительно. Поскольку для дальнейшего кадрового роста необходимо было иметь жену. На которой он и женился, думая, что это любовь. И что без любви никак нельзя. Ведь он к тому времени столько наговорил с высокой трибуны про все стороны бытия строителя коммунизма, в том числе и про отношения между полами, что и самому себе смог внушить, что любовь – это великое чувство, которое цементирует ячейку общества, каковой является советская семья.

Довольно скоро понял, что это была не любовь. Однако отступать на исходные, холостяцкие, позиции было невозможно. Развестись – это значило поставить крест на дальнейшей карьере.

Сын? Ну, это для Радия Степановича был вопрос неоднозначный. Что-то в нем, несомненно, – да. Что-то, и по большей, к сожалению, части – нет. Больше разочаровывал. И еще до сорока лет начал прибавлять седых волос. Упустил.

А стенка продолжала отматывать хронику жизни в обратную сторону. В сторону его появления на свет. И очень может быть, что роковой точкой, где Радий Степанович разошелся со своим счастьем, был его первый вскрик и изумление тому, что перед ним разверзнулся громадный мир.

В тот день в отделении отмечали день рождения старшей медсестры Жанны Львовны. Была бутылочка шампанского, коньячок, тортик, пирожки, которые напекла сама именинница, и все такое прочее, без чего не обходится праздник в современном женском трудовом коллективе. Точно так же эти события отмечаются и в библиотеках, и в бухгалтериях, и в прочих местах, где единственному мужчине отведена роль начальника.

Врачи посидели для порядка минут десять, поздравили и ушли в свою ординаторскую. Кастовость в медицинских учреждениях развита, пожалуй, покрепче, чем в армии.

И сестры начали обсуждать насущные проблемы. Начав с профессионального, вскоре перешли к личному. Раскраснелись, смеются, печалятся, негодуют, радуются... Даже немного всплакнули, когда коньяка оставалось на донышке.

И тут вбегает Ильясов из той самой палаты. И с порога: кажись, помер.

Отправили Лидочку, самую молодую. В медучреждениях также не без дедовщины.

Лидочка, превозмогая брезгливость, пощупала пульс. На нулях. Оттянула веки. Непонятно. Поднесла зеркальце к губам – все медсестры его с собой носят в соответствии с тайной директивой Минздрава. Зеркальце запотело.

И пошла допивать.

В строительном институте, куда Радий Степанович вернулся доучиваться после войны, счастьем даже не пахло. Вчерашние школьники считали его, фронтовика, мало того, что инопланетянином, так еще и пожилым инопланетянином. Хоть и было ему тогда двадцать три года. И это новое поколение его в свою жизнь не впускало. Хоть он туда, собственно, и не стремился. Они были чужие. Так что институтское время было для него временем одиночества. И какое уж тут может быть счастье.

Да и не было у него времени на такую неосязаемую вещь, как счастье. Двойная нагрузка: необходимо было и учиться, наверстывая упущенное, и, засучив рукава, работать в комсомоле. А с третьего курса – в институтском партбюро.

А стена тем временем отмотала назад еще два года. Где Радий Степанович к началу 1945 года был старшим лейтенантом, командовал саперной ротой.

Его рота в составе Первого украинского фронта принимала участие в освобождении Польши. И хоть хребет гитлеровской армии был уже перебит, но сопротивление было отчаянным. В конце января Радия Степановича ранило осколком от снаряда 150-миллиметровой гаубицы. Ранило в первый и в последний раз. Попал в госпиталь под Краковом, где провалялся два месяца.

Хотя слово «провалялся» абсолютно не передавало то его состояние, в котором он пребывал все это время. Ну, правда, в первую неделю, когда его штопали и когда от боли невозможно было уснуть, было совсем не сладко.

А потом...

Потом он встретился с Гражиной. С Грашкой, как она себя назвала в тот самый первый раз. Она, совсем еще юная девушка, приходила в госпиталь помогать ухаживать за ранеными советскими бойцами. Приходила не то чтобы добровольно, но и считала своим долгом. Если не счастьем. Потому что освобождение страны было для нее счастьем. И солдаты, которые это счастье ей подарили, это счастье олицетворяли. И счастьем было для нее облегчать их страдание.

Ну, может быть, Радий Степанович этого знать не мог, был и какой-то небольшой материальный стимул. Какие-то продукты... Ведь Польша, лежавшая в руинах, пребывала в жуткой нищете.

И когда они увидели друг друга в первый раз, то поняли – вот оно. Вот оно то, чего люди всю жизнь ждут. И мало кто дожидается и встречает.

И всё, неведомая сила притиснула их друг к другу, словно были они двумя половинками магнита.

Ни он, ни она не обращали ни малейшего внимания на подтрунивания раненых. А то и на явные непристойные слова и жесты. Солдаты ведь, войну прошли. Не от злого умысла. А от радости, что вот и война для них закончилась. И теперь скоро и они дорвутся до женского тела.

Нет, Радий Степанович ни до чего такого не дорывался. Не было между ними ничего такого. Потому что Грашка была совсем юная. И надо было в ней этому состоянию вызреть. Ну, месяца два, три, четыре... Во время войны все зреет и развивается значительно быстрее.

Когда он начал ходить, пока еще на костылях, в госпитальном саду вовсю бушевала весна.

Он прекрасно помнил ее смешливые глаза, затуманивавшиеся при поцелуе. Ромашковый запах волос. Пульсирующую жилку на доверчивой шее. Помнил ее голос. И неважно, что они знали совсем немного общих слов – польских и русских. Он интуитивно понимал, о чем она говорит, ласково пришептывая.

О чем она могла еще говорить, кроме как о любви, хоть и рассказывала о своем детстве, о родителях, о школе, том, как в детстве каталась верхом на собаке, как ловила раков...

Если не о войне, то, значит, о любви.

А потом он должен был догонять свой батальон, который был уже где-то в Австрии.

Солнце померкло.

Она написала на бумажке свой адрес. И при этом плакала. Он – номер своей полевой почты.

Дальше был обрыв пленки. Стена уже больше ничего не показывала. На ней шел белый снег. И было чуть слышно стрекотание пустого проектора.

Внезапно стена начала вспухать. Словно где-то внутри у нее что-то зародилось и стремительно растет.

Штукатурка лопнула.

И Радий Степанович увидел перед собой лицо Грашки с призывно распахнутыми губами. И ощутил ромашковый запах волос. И увидел пульсирующую жилку на доверчивой шее.

И он прильнул к теплым губам. И задохнулся от сладостного ощущения, когда тебя выпивают до самого донышка.

В палату вошла санитарка с узловатыми пальцами. И перекрестила бездыханного Радия Степановича.

– Зачем? – удивился больной, который поставил двести рублей на то, что дед умрет именно сегодня.

– Как зачем?

– Ведь он же ни в бога, ни в черта не верил. Был ортодоксальным коммунистом.

– А для порядка, – ответила санитарка. – Одного тут, такого же, три года назад не осенили крестным знамением, так он до сих пор по ночам по коридору бродит, вставными челюстями скрипит. И ладно бы только бродил. А то ведь в мужском туалете любит напрудонить.

Станочники

Калинин и Наливайко знали друг друга лет уже, наверно, пятьдесят. Или даже больше. Да они и сами уже путались в цифрах, датах и событиях, потому что это была такая непроницаемая толща слежавшегося времени, что просветить ее до самого дна можно было лишь с помощью радара. Ну, или эхолота.

Долгие годы (пятьдесят или же все-таки пятьдесят пять?) виделись каждый день. Разумеется, за исключением выходных и праздников. Их фрезерные станки стояли рядышком на заводе «Серп и Молот» в механическом цехе имени Павла Лагутенко. Это был такой заводской, кажется, токарь, но, может быть, и кузнец, который в сорок третьем на Курской дуге подорвал шесть танков и пал смертью храбрых.

Разумеется, иногда общались и после смены. В «Голубом Дунае». Был такой шалман, где все было пригнано и настроено под рабочих, а не каких-нибудь там ханыг с трясущимися руками. Иногда, правда, и инженеры заходили. Но редко. У них было другое место – шашлычная «Казбек».

Калинин и Наливайко, конечно, могли и в шашлычную. Получали не меньше инженеров. Но форсу не любили, чтобы смаковать коньячок с оттопыренным пальчиком. Водочка с пивком более соответствовала их душевному складу. Водочка – она прозрачная. Через нее многое в жизни открывается. Точнее – жизнь она промывает, как оконное стекло.

Вскорости семьями обзавелись. Калинин взял кладовщицу Людку, Наливайко – табельщицу Нинку. Потом детей начали растить. Дома обустраивать... В общем, все по заведенному с незапамятных времен жизненному укладу.

Получили дачные участки, где надо было вкалывать по выходным с рассвета до следующего рассвета. Участки оказались в разных районах Подмосковья. Поэтому все выходные Калинин и Наливайко, как и прежде, проводили порознь.

Всё катилось по тщательно уложенным КПСС рельсам. На стыках, правда, слегка потряхивало. Но чтобы из колеи – этого нет, этого быть не могло.

А потом рельсы эти поломали к чертовой матери. Дерьмократы...

Однако ни Калинин, ни Наливайко зубами от ярости на них не скрежетали. Их отношение к новой власти можно было, пожалуй, назвать пассивной лояльностью или же латентной протестностью.

Впрочем, точно так же они относились и к прежней власти. И этих, и тех они квалифицировали как пидарасов. Однако понимали, что без них – тех и этих – все к чертовой матери рухнуло бы. Потому что – начальство, которое палка о двух концах, монета с аверсом и реверсом, медаль с двумя оборотными сторонами.

Кстати, это самое начальство, тогдашнее, не нынешнее, дало Калинину медаль. «За доблестный труд» называется. В связи с чем Наливайко не разговаривал с другом почти месяц. Понятное дело, обидно. Станки рядом, детали одни и те же, выработка одинаковая, грамот к Октябрьским и к Первомаю примерно поровну, в трезвяк оба ни разу не попадали... И на тебе!

Дело дошло до оскорблений.

– Ты, видать, начальству на нас постукиваешь! – выпалил в запальчивости в лицо Калинину Наливайко. – А то и режимнику! Видать, на Лубянке приварок получаешь!

– Ты, бля, мою рабочую честь не трожь своими вонючими руками! – взорвался Калинин.

– Так почему же тебе дали, а мне нет?!

– Потому что ты – хохол!

Аргументы закончились. И друзья – а ведь они еще совсем недавно были друзьями! – накинулись друг на друга с кулаками.

Еле растащили.

Разумеется, помирились. Потому что, кроме этой сраной медали, делить им было нечего.

И даже обмыли ее вместе в «Голубом Дунае». Пусть и с большим запозданием.

И это было правильно. Поскольку через месяц медаль уже утратила взрывоопасные свойства, заложенные в нее Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938 г. И стала просто хорошим поводом для совместной выпивки.

Калинин и Наливайко без повода не выпивали.

Благодаря чему и сохранили трудоспособность до весьма преклонных лет. Им уже и семьдесят минуло, а они все так же стояли рядом, закрепляли на столе заготовки, устанавливали на оправку нужные фрезы, нажимали на кнопку пуска двигателя и вращали ручки, перемещающие стол на салазках...

Руки были все еще крепкие. Глаз, усиленный очковой оптикой, видел, как и в молодости. Последовательность движений и реакций давным-давно была перезаписана в голове из оперативной в постоянную память, которую не мог стереть никакой склероз.

Дело двигалось к восьмидесятилетию...

Однако в 2011 году завод закрыли.

Калинина и Наливайко, еще крепких стариков, отправили на заслуженный отдых, который им на хрен не был нужен.

Летом каждый из них проводил на даче. Пытаясь найти применение своим рукам, которыми все еще продолжала владеть инерция деятельности.

Зимой же пристрастились к подледной рыбалке. Обзавелись ящиками, на ремне, коловоротами, мормышками и прочей специфической снастью.

Выбрали для совместных посиделок на льду Клязьменское водохранилище.

Добирались на электричке с Савеловского вокзала до «Водников».

Пешочком доходили до водохранилища.

Выбирали место, где, как им казалось, рыбы было побольше и где она была пожирнее.

Пробуривали лунки.

И, усевшись на ящики, вели долгие разговоры, периодически опрокидывая по стопочке.

В тот день все было как обычно. Разве что вьюжило. В связи с чем Калинин и Наливайко, если посмотреть на них из космоса с помощью мощной оптической системы, маячили на льду одинокими спаренными точками.

Тем для разговоров было не так уж и много. Вначале поговорили про «этих пидарасов», которые всегда их обворовывали. А сейчас и вовсе потеряли стыд, совесть и человеческий облик.

Потом про цены в магазинах – где закупаться поэкономнее.

Вспомнили про внуков. Одобрительно. Про детей – неодобрительно. Поскольку жизни не знают и живут неправильно.

И перешли к основной теме. То есть погрузились в воспоминания.

При этом с некоторых пор их историческое зрение стало как бы наоборотным.

События месячной, годичной давности были едва различимы сквозь предательскую пелену.

А донные события многолетней давности стали видны отчетливо. В мельчайших подробностях. В красках и запахах. В ощущениях вкуса «Жигулевского» пива и бутерброда с «Любительской» колбасой в «Голубом Дунае».

Говорили буквально обо всем. Оценивали деятельность Хрущева. Но в достаточно узком контексте, полностью игнорируя его внешнеполитическую деятельность. На то, что он чуть не довел дело на Карибах до ядерной войны, им было наплевать. Возмущала их кампания по срезанию расценок и увеличению норм выработки. Но расселение людей в пятиэтажки они однозначно одобряли.

Говорили, как это ни кажется невероятным, и о сексе, называя его, естественно, другим словом. Точнее – вспоминали. И вот эта скользкая дорожка и привела их к трагедии.

Вначале Калинин не столько словами, сколько мимикой, жестами и междометиями рассказал, какое у него было самое незабываемое, самое острое, самое умопомрачительное переживание. Когда, где и с кем. Все начистоту, ничего не скрывая. А может быть, и преувеличивая. Кому не хочется предстать перед собеседником этаким половым гигантом в восемьдесят с хвостиком лет.

Настал черед до Наливайко.

– В общем, Лёха, такого у меня не было до этого случая. Не было и потом. Никогда в жизни, – начал Наливайко свой рассказ. – Я тогда не то что на седьмом небе оказался, а в космосе. Буквально в космосе!

– Это как это?

– Да так это. Все произошло в день, когда Гагарин полетел. Стало быть, двенадцатого апреля шестьдесят первого года.

– Врешь, – попытался схватить за руку совравшего друга Калинин. – Тогда рабочий день был. Под станком, что ли, это дело делал?

– А вот и нет! Все на митинг пошли, а мы с ней остались в цеху...

– С кем же это?

Наливайко закашлялся. Потом вытащил громадный ком носового платка, расправил его и потрубил носом в асимметричную конструкцию.

– С Ленкой, – сказал он, запихивая платок в карман и уминая его там.

– С Кошельковой?

– Не, с Истратовой, с нормировщицей.

– Да не могла она тебе дать, Петро! Не верю!

– Не верит он! А вот дала. Правда, долго уламывать пришлось. Говорила, что целка. И действительно...

– Истратова целка?!! Да она тогда уже года три за мужем была. Целку нашел после семи абортов!

– Ну, не знаю, – Наливайко попытался угомонить друга, который мешал предаваться сладостным воспоминаниям. – Может, мне и показалось. Там темно было.

– Целка, темно – что ты мне тут мозги пудришь. Говори, как было, складно, по порядку, – начал выходить из себя Калинин.

– Я и говорю, – продолжил Наливайко. – Заперлись мы с ней, значит, в каптерке. Она все: «Ой, мне страшно», а сама ширинку мне расстегивает. Ну, я ее три раза и отжарил. А она все охала, ахала, стонала... И такое, прям, блаженство неземное. Как в космос летал. А она все еще да еще просит. Жадная до этого дела оказалась...

Наливайко еще что-то говорил. Нахваливал Ленку. Себя выставлял героем.

Но Калинин его уже не слушал. Он судорожно инспектировал в своей памяти события того дня. Того самого дня, когда Гагарин полетел в космос. И глаза его постепенно наполнялись недобрым светом.

Но Наливайко, увлеченный воспоминаниями, этого не замечал. Он все говорил, и говорил, и говорил...

– Ах ты, падла! – наконец взревел Калинин.

– Что, не понял? – изумился Наливайко.

Хотя все прекрасно понял. И не изумился. И голова его немножко ушла в плечи.

– А то, что это была Людка! Моя Людка!!!

– Да с чего ты взял, Лёха? – попытался выкрутиться Наливайко.

– С того! Всё сходится. Когда вернулись с митинга, тебя мастер целый час искал. Я в каптерку к Людке ткнулся, а там заперто!

– Не, Лёха, извини, соврал, перепутал. Не в каптерке мы с Ленкой кувыркались, а в подсобке. А куда твоя Людка уходила, я ж знать не знаю. Может, в обувной, там, наверно, туфли какие импортные выбросили...

– Не юли, урод! – Калинина, как и быка, в загривок которого натыкали бандерилий, остановить уже было не возможно. – Всё сходится!

Наливайко поняв, что дальше отпираться невозможно, перешел на оборонительную стратегию.

– Лёха, дорогой, ведь вы же тогда еще женаты не были.

– И что? Я-то думал, кому же она первой досталась. Потому что не девушка была. Думал, узнаю, задавлю гада! А она ни в какую, не назвала. И вот теперь тебя, гада, давить придется!

– Леха, да ведь ты тогда еще и не ухаживал за ней. Разве не так? Если бы, то я бы ни-ни!!!

– И что?!!

– Да и не три раза я, а всего, можно сказать, полразика. Да и не понравилось ей...

– И что?!!!

– Ну, честно, скажу, у меня и не встал.

– А чем же ты, гад, ей целку сломал?!! Гаечным ключом?!!

Оборонительные слова у Наливайко закончились.

И Калинин накинулся на Иуду, чтобы сдержать данную пятьдесят лет назад клятву и задушить его. Однако сделать это было не так уж и просто. Движения стеснял массивный тулуп. Да и Наливайко сильно не хотел быть задушенным. Они минут десять валтузили друг друга, катались по льду. Раскровили друг другу лица. Потом взяли в руки коловороты. Но тулупы смягчали удары, и без того не слишком сильные, стариковские.

Когда вконец обессилели, разошлись. Разъехались по домам в разных электричках, чтобы больше никогда в жизни не встретиться. Не видеть друг друга.

Однако метафизические связи между ними были столь сильны, что разрубить их было невозможно. Как бы они того ни хотели, как бы ни сопротивлялись.

Каждый из них продолжил ездить на водохранилище на рыбалку. И каждый надеялся, что именно в этот день его враг останется дома. И приедет на следующий. Или дня через два. Но настолько одинаковые у них были рефлексы, что всякий раз они приезжали в один и тот же день. И даже на одной и той же электричке. Правда, в разных вагонах. Наливайко, ощущая свою вину, вагон сменил.

При этом пробуривали лунки метров за триста друг от друга. Но садились спиной друг к другу.

В тот день, в самый последний день, с утреца ласково светило солнышко. Через пару часов резко похолодало. Подул ветер, навалилась стена снегопада. Снег оседал на тулупах и давил вниз.

У Калинина быстро заколотилось сердце. Он три раза отглотнул из четвертинки, но это не помогло.

У Наливайко тоже быстро заколотилось сердце. И он тоже три раза отглотнул из четвертинки, но это не помогло.

Сердцебиение нарастало.

У Калинина что-то лопнуло внутри. И сердце остановилось.

То же самое произошло и с Наливайко.

Они так и остались сидеть на своих ящиках. В тех же самых позах подледных рыболовов.

За ночь они превратились в сугробы.

На следующее утро на водохранилище почему-то никто не появился. Как и еще три дня подряд. Подобрать реалистическое объяснение этому невозможно. Реализм в отношении Калинина и Наливайко не работал. Из судьбы в свои руки взяла метафизика.

Их не хватились ни на следующий день, ни через три дня.

Хватиться было некому. Блядовитая Людка уже три года лежала в земле сырой. Два года – Нинка, вероятно, не менее блядовитая.

А детям на стариков было наплевать. У них по горло своих эгоистических забот.

Все три дня с погодой творилось нечто непредсказуемое. То солнце топило снег, и по льду струилась вода. То мороз сковывал воду, превращая ее в сияющий на солнце лед.

Когда Калинина и Наливайко наконец-то нашли, то они были уже статуями, покрытые сверкающим льдом.

Были памятниками Доблестному Труду на Благо Нашей Великой Родины.

Правда, памятники были недолговечные. Даже если бы их оставили в таком виде, то простояли бы они в лучшем случае до конца апреля.

Впрочем, довольно недолговечной оказалась и Наша Великая Родина.

Потому что семьдесят с хвостиком – это не срок для Родины. Даже Калинин и Наливайко прожили дольше.

Правда, Нашу Великую Родину сейчас пытаются возродить.

Возродить какими-то метафизическими методами.

Может быть, это и получится.

И это было бы правильно и справедливо. Ведь не зря же жили на свете Калинин и Наливайко.

Никто на свете зря не живет.

В лифте

Лифт простучал шестеренками секунд десять. После чего дернулся и повис между этажами.

В лифте были двое.

Семенов. Он принадлежал к сословию, которое несистемная оппозиция называет быдлом.

И Ахейский. Который был типичным представителем этой самой оппозиции. Правда, Ахейский – это был псевдоним. В паспорт же была вписана другая фамилия – Семёнов. Но истинная фамилия давно от него отвалилась, о ее существовании, судя по надменному выражению его лица, представить было невозможно.

Семенов был примерно тех же лет, которые пока еще рановато было называть преклонными. Его биография была проста и прямолинейна, как функция У = aX + b. Окончил школу, технический вуз, поступил на производство, женился, стал отцом, потом дедом, работал, работал, продолжает работать и поныне. И, что вполне вероятно, даже ни разу не изменил жене. В общем, типичное быдло, которое поставили в колею, дали пинка под зад, и оно так и катится по накатанным рельсам, испытывая минимальное сопротивление внешней среды.

Ахейский в жизни покуролесил. Вычертил в системе нравственно-временных координат столько замысловатых пируэтов, что для их полного описания необходимо сочинить целый роман, который был бы способен не только скомпрометировать самого Ахейского, но и отбросить тень на несистемную оппозицию.

Поскольку в наши задачи это не входит, ограничимся указанием последнего статуса Ахейского. Он был заместителем главного редактора корпоративного сайта. Ну и, понятное дело, врагом режима.

Семенов, чертыхнувшись, застыл столбом. Ахейский стал яростно тыкать во все кнопки подряд. В конце концов нашел нужную – связи с диспетчером – и начал требовать немедленного освобождения.

Однако ему ответила тишина.

– Вот, суки, до чего страну довели! – взвился Ахейский.

Семенов молча кивнул головой.

– Что киваете? – сердито сказал Ахейский Семенову, в котором он безошибочно распознал быдло. – Вот с молчаливого согласия таких, как вы, все это и творится! Надо же что-то делать!

И Ахейский заорал, в надежде, что кто-то в подъезде услышит крики о помощи и разрулит ситуацию.

– Вы бы не орали, – спокойно сказал Семенов. – Позвонить ведь можно.

– Куда еще к чертовой матери?!!

– По сто двенадцать.

Ахейский достал смартфон. Потыкал пальцами в красивенькую стекляшку экрана... В лифте сети не было!

Из подъезда никто на призыв о помощи не откликался.

Связи с диспетчерской не было.

Вдруг погас свет.

Однако вскоре опять зажегся.

Ситуация была патовая.

Ничего не оставалось, как выместить зло на этом быдле. Тем более что случай был подходящий – в стране был день всеобщих выборов.

– Проголосовали? – с вызовом спросил Ахейский.

– Да, конечно. Гражданский долг.

– И за кого же, если не секрет?

– За действующего.

– За этого упыря?!

– За президента, – упрямо ответил Семенов.

– Да ведь он же со своей бандой до чего дело довел?! И чем дальше, тем хуже будет!

– Это до чего же такого довел страшного? – принял вызов Семенов, которого дома ждали наваристый борщ и поджаренные в аэрогриле окорочка, но теперь вот приходится отбиваться от этого прощелыги.

– А вы не понимаете?

– Нет, – абсолютно искренне сказал Семенов.

– Свободы похерены! Тюрьмы политзаключенными забиты! Санкции! Международная изоляция! Экономика на краю пропасти!.. Впрочем, вам этого не понять. Скажу проще, скоро вы с голода пухнуть будете! Это нормально?!

– С голода я пух двадцать лет назад, в девяностые. Когда у власти умники и шустрики были, которые вечно пьяным дедом вертели! Вот тогда – да! – начал возбуждаться, казалось бы, непрошибаемый Семенов. – Когда зарплату месяцами не выдавали!

– Это все разговоры для бедных. Нам досталась свобода! Каждый человек мог воспользоваться ею и самостоятельно, не озираясь ни на кого, построить свое счастье. В том числе и материальное! А вот вы, извините меня, лопухом оказались, счастье свое проворонили!

– Ну, да, свобода воровать!!! – прокричал Семенов.

– Столько, сколько эта кремлевская банда ворует, никто и никогда в мире не воровал!

– Допустим. Так не у нас, не у народа же! Вот жизнь как наладилась.

– Ну, это исключительно из-за того, что нефть дорогая была, – саркастически ухмыльнулся Ахейский. – Сейчас скоро народ дохнуть начнет. Так что есть, есть высшая справедливость!

– Народ?!!

– Да, народ, который есть отребье и быдло! Который стадом баранов ходит на выборы и голосует за этого упыря!!!

Это было уже прямое оскорбление. И Семенов мог бы ударить Ахейского. Однако последний раз он дрался в пятом классе средней школы. И к настоящему моменту полностью утратил все навыки. Мог бы пихнуть. Или дать пощечину...

Но лифт неожиданно дернулся. И это резко переключило настроение. Вспыхнула надежда на освобождение. Да и не надежда даже, а уверенность.

Она была созвучна уверенности Семенова в том, что экономика выправится, и опять начнутся славные времена достатка, низких цен и загруженности завода оборонными заказами.

Уверенность Ахейского была абсолютно противоположная: экономика рухнет, кремлевская банда сбежит в Северную Корею, и в России воссияет царство свободы и равных возможностей, благодаря помощи цивилизованного мирового сообщества. Ну, при этом неплохо было бы, чтобы и быдло существенно проредилось. А то дышать от него уже невозможно!

Однако лифт прополз метра полтора и встал как вкопанный. Точнее – подвешенный где-то между первым и четырнадцатым этажами.

Семенов и Ахейский сокрушенно крякнули. И сказали синхронно «бля!».

Дискуссия возобновилась.

– Вот сколько вы сейчас получаете? – более миролюбиво сказал Ахейский, понимая, что несколько перегнул палку. Что этот бугай, пожалуй, и череп проломить сможет.

– Все мои, ни у кого не ворую. И подачек мне никто не подает. Своей головой зарабатываю.

– Да я к тому, дорогой мой человек, что при нынешнем росте цен ваша зарплата скоро окажется ниже прожиточного минимума. Вот что тогда делать будете?

– Пояс затяну. Не впервой.

– А не проще ли правильную власть выбрать? Которая наладила бы экономику, сломала бы нефтяную иглу. Совместно с Евросоюзом и Америкой вытянула бы страну из болота. Не проще?

– Нет уж, спасибо! В девяносто первом уже выбрали! Америка тогда нам здорово помогла!

– Эгоист вы. Дальше своего носа не видите. А как жареный петух клюнет, будет уже поздно. А ведь могли бы уже сейчас...

– Что? – не понял Семенов, к чему ведет Ахейский.

И вдруг Ахейского охватила совершенно бредовая идея: перевербовать!

– Вот смотрите, вы же умный человек. А не примкнуть ли вам к нам, умным людям, которые не только хотят стране добра, но и знают, как это сделать.

– И как же?

– Нас много: миллионов десять. Или даже больше. Мы проводим мощные митинги и демонстрации с требованием отставки правительства и президента. Если нас будет миллионов тридцать, то они уйдут! Как миленькие уйдут!

– И тогда Америка нам поможет? – усмехнулся Семенов.

– Да что вы понимаете! – воскликнул Ахейский. – Ведь здесь уже фашизм наступил! Крым аннексировали! Как Гитлер Австрию, Чехословакию! И вы, смотрю, тоже фашист!

– Я?! – задохнулся от возмущения Семенов. – Я фашист?!!

– Да, ватный фашист!

– В Киеве фашисты! Расползлись по всей Украине! В Одессе людей жгли! Как в Освенциме!!! – Семенов уже хрипел, яростно, ощущая свою правоту.

– Так и к мировой войне дело ведут! – у Ахейская была своя правота. И он ее отстаивал яростно.

– К мировой войне ведут Пентагон и НАТО! Вот где корень мирового зла!

– Эк вам телевизором в голову дерьма накачали! Так и хлюпает в мозгах!

– А вы!.. Вы!.. – Семенов не был опытен в политической грызне. Он привык общаться с людьми таких же взглядов, как и сам. Поэтому перестал находить нужные слова.

Да, Семенову явно не хватало полемической мускулатуры. С такими, как этот Ахейский, он в жизни не сталкивался. Видел их порой по телевизору в передачах, изобличающих либеральную оппозицию. Да и не оппозицию даже, а врагов, настоящих врагов. И они неизменно вызывали у него чувство омерзения. И вот сейчас столкнулся с таким нос к носу... И не знал, как это гнусное насекомое можно урезонить... Сердце бешено колотилось в груди. Кулаки сжимались и разжимались...

– Да, кто из госдеповской кормушке жрет, тому американский солдат сильно по душе! – нашелся он в конце концов.

– Заладил, как попугай! – перешел на ты Ахейский.

– Сам попугай звездно-полосатый! – неожиданно выдал Семенов метафору. Ну, или же эпитет, в чем он абсолютно не разбирался.

Это уже предвещало поражение.

А Ахейский пер напролом диким вепрем:

– Ты – жалкая букашка! Всю жизнь прожил насекомым! Пресмыкался перед партийными паханами! Теперь вот перед вурдалаками! Ты зря прожил свою никчемную жизнь! Ты – тля вонючая!!!

Изо рта Ахейского во все стороны летела слюна.

Семенов, весь багровый, стоял и глотал ртом воздух.

Ахейский понял это как интеллектуальную капитуляцию. Впрочем, о каком таком интеллекте тут можно было говорить.

Но было другое. Совсем другое.

И Ахейский, в каком-то безумном восторге, словно пребывающий в экстазе скрипач, поставил победную точку. Плюнул в Семенова.

Семенов из последних сил вобрал в себя столько воздуха, сколько могли вместить его легкие...

И сполз по стенке лифта.

И, сидя, устремил остекленевший взгляд в какие-то запредельные дали.

Ужас охватил Ахейского. Он присел на корточки и начал трясти Семенова за плечи:

– Эй... Ты что?.. Как же это?.. Эй... Очнись... Вставай... Ты что?.. Зачем же?.. Ну, зачем?..

В лифте опять погас свет.

Когда лифт наконец-то открыли, и у Семенова, и у Ахейского был одинаковый цвет лица.

Только Ахейский был жив.

А Семенов – мертв.

На лестничной площадке пахло борщом.

Но ни тот, ни другой этого не почувствовали.

Через три дня Ахейский начал приходить в себя от пережитой им трагедии.

Через неделю был уже как огурец.

Его рассказ о том, как он укокошил ватника силой слова и метким плевком имел большой успех в компании единомышленников.

Таракан Юрик

Клавдия Степановна собралась помирать.

Собственно, скажи она это кому-нибудь, то этот самый кто-нибудь, будь он самым что ни на есть человеколюбцем, особо спорить с ней не стал бы. Как-никак девяносто четвертый год стукнул.

Что называется, пожила.

Хотя точнее было бы сформулировать по-иному: что называется, помучилась.

Клавдия Степановна в действительности уже и не помнила, что ее зовут именно так. И дело тут совсем не в склерозе. Просто долгие беспросветные годы ее называли исключительно бабкой. В редчайших случаях – бабулькой.

Хоть на самом деле она никогда не была не только бабушкой, но и матерью.

Абсолютно никого у нее не было. Ни близких, ни дальних родственников. Жила абсолютно одиноко.

Поэтому во всем – и в малом, и в великом – могла рассчитывать только на себя.

Потому что не только была одинока на земле, но и к Богу как-то не удалось пристать. Хоть для этого уж лет двадцать с гаком были громадные предпосылки.

Но как-то не получилось.

Так и осталась материалисткой.

Поэтому к смерти подошла именно с материальной стороны.

Необходимо было, чтобы и гроб не самый захудалый. И место на кладбище чтобы не на самом отшибе. Необходим был и памятничек. Пусть и совсем скромный, но чтобы как можно дольше простоял-продержался. Чтобы память была.

А память, как ее понимала Клавдия Степановна, – это то, на что можно посмотреть, руками потрогать.

Разузнала у разбитной Прокофьевны с третьего этажа, как это сейчас делается. Та послала ее в похоронное бюро, к агенту. Даже на бумажке адрес записала.

Клавдия Степановна прибыла по адресу. Спросила агента. Агент быстро нашелся.

Сказала, что хочет заказать похороны, чтобы честь по чести.

– Кого хороним, бабушка? – спросил агент.

– Так меня и хоронить будем.

Агент сильно изумился. Но по наводящим вопросам понял, что старушка вполне вменяемая. И что с ней можно иметь дело. То есть заработать на ее похоронах.

В конце концов уладили главный вопрос: каким образом агент узнает о том, что оговоренное в договоре событие состоялось. И каковы будут его полномочия по части подготовки и проведения ритуала.

Начали подбивать бабки, исходя из имевшихся у клиентки средств. А они были весьма ограниченными – семьдесят с хвостиком тысяч. Правда, вначале у агента алчно загорелись глаза, когда узнал, что старушка совершенно одинокая. Думал, что квартиркой можно поживиться. Однако Клавдия Степановна так и не удосужилась ее приватизировать.

В конце концов агент составил подробный список, на что будут потрачены деньги. И гробик неплохой выходил, и местечко довольно людное. А памятничек так даже с керамической фотографией получался. Большего и желать нечего.

На том и расстались. Как говорится, до того момента, как состоится оговоренное в договоре событие.

И Клавдия Степановна, вынув из комода сберкнижку, отправилась за деньгами во Всенародный банк, который она по инерции называла сберкассой.

В банке, который по праву считается всенародным, воздух был насыщен скорбью и обреченностью. Около полусотни стариков и старух сидели и стояли с бумажками в руках, на которых автоматическая машина пропечатала их номера. И безотрывно смотрели на табло, на котором та же автоматическая машина периодически меняла цифры. И это сильно смахивало на тираж беспроигрышной лотереи, в которой призом была возможность подойти к окошку и протянуть в него свою сберкнижку.

Клавдия Степановна дождалась очереди и с одышкой опустилась на стул перед дыркой в стеклянной стене, за которой ей улыбалась корпоративной улыбкой юная девушка в белой кофточке с зеленым шарфиком на шее.

Девушка изучила паспорт, изучила сберкнижку и сказала:

– Чем я могу вам помочь, Клавдия Степановна?

– Да вот помереть мне надо.

– И... – девушка еле остановила свою тираду на этой первой букве, хоть ей и очень хотелось продолжить ее какими-то абсолютно матерными словами. Выучка!

В конце концов Клавдия Степановна смогла объяснить девушке, чего же она хочет. Объясняла пространно с подробностями, от чего у немало навидавшейся за время работы во Всенародном банке операторши все вытягивалась и вытягивалась физиономия, и все округлялись и округлялись глаза, подведенные тенями Kenzo.

В конце концов она взяла себя в руки.

– Насколько я вас понимаю, Клавдия Степановна, вы хотите закрыть ваш счет?

– А? Чего?

– Ну, забрать все свои деньги.

– Да, дочка, хочу все забрать. Помирать собралась.

– Так вот, уважаемая Клавдия Степановна, вам крупно повезло. Вы получите даже больше. Как наш постоянный на протяжении долгих лет клиент. Подождите, пожалуйста, минуточку.

И ушла.

Вернулась через пару минут. И протянула Клавдии Степановне аккуратную картонную коробочку, перевязанную розовой ленточкой.

– Что это? – удивилась старушка.

– Слушайте меня внимательно. Я все объясню.

И, глядя Клавдии Степановне прямо в глаза, операторша начала говорить монотонным голосом, покачивая на уровне своего подбородка блестящей авторучкой:

– Этим летом наш управляющий летал в командировку на Мадагаскар. Это прекрасный остров, расположенный у восточного побережья Африки. Его длина превышает тысячу шестьсот километров, ширина – шестьсот километров. Наивысшей точкой острова является потухший вулкан Марумукутру. Он находится на горном массиве Царатанана, в северной части острова. Центральную часть острова занимает высокогорное плато Анджафи, полого спускающееся на запад и круто обрывающееся к низменностям восточного побережья. Пять горных цепей высотой до двух тысяч шестисот метров богаты минералами и металлами, среди которых преобладают золото, медь и железо. Остров населяют малагасийцы, говорящие на мальгашском языке, относящемся к индо-меланезийской группе австралонезийской языковой семьи. Животный и растительный мир Мадагаскара уникален – он содержит пять процентов видов животных и растений мира, восемьдесят процентов из которых существуют только на этом острове. Самыми известными из них являются лемуры. Самые редкие – мадагаскарские тараканы. Нашему управляющему крупно повезло. В одну из прогулок ему удалось поймать таракана, который стоит на мировом рынке экзотических животных десять тысяч долларов. Стоимость в рублевом эквиваленте составляет семьсот тысяч. Это в десять раз больше суммы, которая находится на вашем банковском счету. Таракан неприхотлив. Кормить его надо раскрошенным белым хлебом. Пьет он чистую воду, которую следует наливать в мелкое блюдце. Вам крупно повезло. Этот таракан скрасит вашу достойную старость. И у вас появится интерес к жизни. И вы еще долго проживете, счастливо и спокойно. Вам все понятно, Клавдия Степановна?

Клавдия Степановна кивнула головой.

– До свидания. Всенародный банк – рядом, по-соседски, за углом!

Придя домой, Клавдия Степановна, развязала ленточку, сняла крышечку с коробочки. И, действительно, увидела таракана. Таких она в своей долгой жизни не видала. Он был огромный, как мышонок. И его спинка переливалась всеми цветами радуги. Таракан был какой-то сонный, чуть пошевеливал усами.

«Видать, покормили недавно», – подумала старушка.

И тут до нее дошло, что ее просто-напросто надули! Обворовали!

Захлопнув крышку на коробке, она выпило валокордина. Все-таки помирать сейчас было никак нельзя.

И опять пришла в банк. И сразу же к той самой мошеннице.

Однако ничего доказать было невозможно. Сберкнижку у Клавдии Степановны тогда забрали, и она для банка была никем.

Банковские делали удивленные глаза, хихикали, вертели пальцем у виска...

В конце концов охранник, не грубо, но настойчиво выпроводил обманутую старушку за дверь.

Она смирилась. Это для нее было привычно. Всю жизнь она только этим и занималась. Все зигзаги российской истории она принимала как веление небес, спорить с которыми у простого человека не было ни возможностей, ни сил. Ни душевных, ни физических.

Да и нравственных не было. Поскольку, поворчав и побубнив в уголке, Клавдия Степановна понимала, что так, наверное, лучше для дела. Для общего дела. То есть для страны. А виновные все равно да когда-нибудь да понесут наказание. И они несли. Перед войной их не только сажали, но и расстреливали. После, при Хрущеве, только сажали. Но и это ведь тоже для них было не слишком приятно. И при Брежневе... Сейчас тоже сажают, начальников. Все идет правильно и справедливо. Посадят наверняка и этих, банкирских. А что ей? Она привыкла...

Привыкла она и к таракану. Даже привязалась. А ведь и правда, наверно, дорогой – вон какой важный, как секретарь райкома, а то и обкома.

Решила еще пожить, раз такое дело.

Кормила хлебушком. Поила водичкой. Как научили.

И даже разговаривать с ним стала. А он, похоже, внимательно слушал.

Бывало и сердилась. Чего не бывает между своими, близкими.

Назвала его Юриком.

И вскорости поняла, вот он и станет памятью о ней, когда она помрет. Ведь наверняка же он будет ее помнить. Раз внимательно слушает ее разговоры. Долгой памятью. Ведь тараканы наверняка живут долго. Лет, может, семьдесят. А то и больше. Ведь они маленькие в сравнении с людьми, в них меньше чему есть изнашиваться...

Нет, не пропадет он после ее смерти, не пропадет. Вон ведь какой смышленый...

С этой мыслью Клавдия Степановна наконец-то и померла. Спокойная. Довольная долгой прожитой жизнью.

Разумеется, похоронили ее без всякого памятника. За счет муниципалитета, где все по минимуму, лишь бы не оставлять на земле разлагающиеся трупы.

А через некоторое время помер и Юрик. Ведь тараканы живут не более восьми месяцев.

Однако память о Клавдии Степановне все же осталась. Она живет в этом рассказе, в этом наборе букв, которые можно видеть. Можно даже и потрогать, поскольку буквы отпечатаны на листах бумаги.

И если смотреть на них подслеповатыми старческими глазами, то они похожи на тараканов. Так что сохранилась память и о Юрике.

Жертва ритейлеров

Иван Игнатьевич не был ханыгой. Он был сутягой.

А Иваном Игнатьевичем он был всегда. То есть с тридцати пяти лет, как стал начальником отдела некоего главка в некоем министерстве Советского Союза.

Отдел, который возглавлял Иван Геннадьевич, осуществлял надзор за производством бумаги на громадной территории от Калининграда до Анадыря. Бумаги стране надо было много. Потому

что без ее достаточного количества не могли бы нормально работать многочисленные союзные и республиканские министерства, в огромных количествах рассылавшие исходящие директивные письма во все концы необъятной страны. И из этих концов мощным потоком приходили входящие письма. На входящие письма рассылались исходящие письма, реакцией на которые были новые входящие письма...

Иван Игнатьевич небезосновательно считал себя главным ответственным за то, чтобы эта переписка никогда не прерывалась, и тем самым государственные хозяйственные органы имели возможность осуществлять свои функции по управлению страной. Более того, от Ивана Игнатьевича всецело зависела нормальная работа и партийных, и законодательных, и исполнительных, и судебных, и всех прочих органов громадного государства.

Надо сказать, что немало бумаги тратил лично Иван Игнатьевич для внутренней переписки с соседними отделами и с руководством главка. И по большей части жанр этой переписки был кляузным. Он плел интриги против сослуживцев, равных себе по должности или находившихся чуть выше на служебной лестнице. Разумеется, эти кляузы преследовали не государственные цели по улучшению работы главка или же всей отрасли, а сугубо личные. Иван Игнатьевич занимался эпистолярным сочинительством прежде всего, чтобы принижать сослуживцев и возвышать себя с целью получать какие-то преференции и осуществлять карьерный рост. Разумеется, собственный.

Руководство вскоре раскусило кляузника. И, получив от него очередное «разоблачение головотяпов и жуликов», лишь досадливо морщилось и никак не реагировало. Но при этом Ивана Степановича держали, хотя очень хотелось дать ему под зад коленом. Такой, как он, был необходим для дела: чтобы поддерживать в коллективе должный тонус и не давать сотрудникам расслабляться.

Дураки в солидных учреждениях необходимы. Руководству с ними гораздо меньше мороки, чем с умными.

Вполне понятно, что поставленную цель – взлететь вверх по служебной лестнице – избранным Иваном Игнатьевичем методом достичь было невозможно. И он просидел в кресле (точнее даже – на стуле) начальника отдела до самой перестройки.

Да и потом, после упразднения Советского Союза, когда началась коренная реорганизация и перестановки фигур на доске, его это как-то не очень коснулось. Должность была другая, ответственности и подчиненных меньше, но зарплата осталась примерно такой же. С учетом, конечно, инфляционных и прочих микро- и макроэкономических процессов.

В конце концов его выкинули за борт. То есть отправили на пенсию. Пенсия как у государственного служащего была неплохая. И жить на нее вполне было можно. Да еще и жена, она была моложе на десять лет, открыла небольшой бизнес по обучению русскому языку и хорошим манерам девушек из ближнего зарубежья, которые намеревались устроиться гувернантками в русские семьи со средним достатком.

Да, жить вполне можно.

Однако на Ивана Игнатьевича навалилась обида. Но то была обида особого рода. Не такая, которая, как правило, придавливает людей его возраста к земле, и они перестают бриться, а вскоре и вовсе умирают с такой гримасой на лице, как у ребенка, у которого отняли игрушку.

Нет, обида заставила Ивана Игнатьевича воспарить. В негодовании и ярости.

Будь он помоложе, то раздобыл бы какое-нибудь оружие и исподтишка убивал бы людей.

Хоть и был он дураком, но дураком был хитрым. Решив повысить свой социальный статус, он каким-то образом раздобыл удостоверение помощника депутата. И не какого-то муниципального, а что ни на есть верховного – Государственной Думы Российской Федерации.

Ежедневно, вернувшись к ужину из очередного «инспекционного похода», Иван Игнатьевич, прожевывая котлету, рассказывал жене о своих подвигах. В красках и деталях. Порой начинал жестикулировать.

Рассказывал, как они бледнели, как у них тряслись поджилки, как умоляли о пощаде, как пытались откупиться своими грязными деньгами, как лебезили, заискивали, унижались, готовы были ботинки облизывать...

И жена, с юности вверившая судьбу этому человеку, да так и не опомнившаяся и не прозревшая к старости, улыбалась и кивала головой.

Разумеется, в тех рассказах было громадное преувеличение, гипербола, раздутая до размеров гипергиперболы. Однако процентов пять в них было правды. Удостоверение помощника депутата оказывало на людей магическое воздействие. И люди теряли голову, как это было описано Гофманом в знаменитой аллегорической сказке. Удостоверение с вальяжным двуглавым орлом на корочках было теми самыми тремя огнистыми волосиками, которые превращали Ивана Игнатьевича в могущественного вельможу. Точнее – в лакея могущественного вельможи, облеченного высшей законодательной властью. Впрочем, простой человек тут особой разницы не видит, поскольку одним миром мазаны.

Поэтому и перед лакеями следует шустро сдергивать с головы шапку и подобострастно улыбаться. На этот счет у русских существует множество метких поговорок, одна из которых гласит: «Чья власть, того и закон».

Наиболее натерпелись от Ивана Игнатьевича в поликлинике, куда он наведывался не реже раза в неделю. Хоть и был в свои семьдесят пять здоров, как пятидесятилетний бык. Видимо, злоба вырабатывала в нем особые гормоны, которые ставили заслон процессам старения организма.

Частенько врачей он доводил до слез (которые помоложе) и до валокордина (которые подряхлее) своими придирками и абсолютно надуманными претензиями к якобы неправильному лечению, к подсовыванию вредных лекарств, к бездушному обращению, к неумению пользоваться диагностической аппаратурой... Все это затем выливалось на заведующих отделениями. Причем буквально всех, вплоть до гинекологического. А затем переходило на заведующего поликлиникой. Потому что Иван Игнатьевич строчил разоблачительные письма во все инстанции – от муниципального управления здравоохранения до приемной президента, понятное дело, страны.

И послать его, куда следует, не представлялось возможным. Потому что удостоверение!

И наверху, в инстанциях, куда он направлял свои кляузы, не могли на них не реагировать. Потому что при нынешней власти в стране была восстановлен бюрократический уклад, благодаря которому любая писулька получала входящий номер, и на нее необходимо было отвечать. Хоть по существу, хоть не по существу: как говорили в старину, отбояриться отпиской.

Но при этом все искренне желали, чтобы Иван Игнатьевич поскорее подох. Однако при его лошадином здоровье это было несбыточной мечтой.

Подохнуть Ивану Игнатьевичу желали во многих местах. В жилконторе. В санэпидемстанции. На телефонном узле. На почте. В управлении среднего и в управлении высшего образований. В налоговой инспекции. В муниципальном отделении пенсионного фонда. В обществе защиты прав потребителей. В управлении городского транспорта. В департаменте социальной защиты...

Особенно любил он «инспектировать» ларьки, которые держали выходцы с Кавказа. Там порой пытались от него откупиться. Однако Иван Игнатьевич эти деньги с гневом отвергал.

Вот только в следственный комитет и в прокуратуру он не совался. Поскольку был не таким уж и дураком.

Видя, что «это гнусное насекомое» не намерено подыхать самостоятельно, более того – способно свести в могилу не одного невинного и достойнейшего человека, многие головы начала посещать вполне естественная для сложившейся тупиковой ситуации мысль: хорошо бы, чтобы его кто-нибудь убил.

А мысли, как известно, при определенной степени концентрации способны воплощаться в жизнь.

В тот трагический день Иван Игнатьевич пришел в гипермаркет «Русь» за полчаса до закрытия. Привратник, увидав его, как обычно, передал по рации о визите склочника, который немало

попортил всем нервы. Буквально всем – от главного менеджера до уборщиц, которые, мол, пол моют таким раствором, чтобы на нем люди поскальзывались и травмировались.

Так что реакция привратника была нормальной. Ивану Игнатьевичу было даже лестно, что он столь узнаваем в толпе бессмысленных чурбанов-покупателей.

Но при этом привратник еще и головой кивнул. Словно доброму знакомому.

«Заискивает», – удовлетворенно подумал Иван Игнатьевич.

Неожиданно навстречу выскочил главный менеджер в фирменном пиджаке и при галстуке с эмблемой сети гипермаркетов «Русь». Еще более неожиданно было то, что менеджер расплылся в улыбке.

«Обкурился, что ли? – подумал Иван Игнатьевич. – Прекрасно, будет еще один замечательный повод выводить на чистую воду этих прохиндеев!»

– Иван Игнатьевич, рад, искренне рад вам, – начал расшаркиваться менеджер.

– Это с чего бы? Дурь, что ли, какая особая? – ответил Иван Игнатьевич без обиняков.

– Ну, что вы? Мы тут как следует обдумали сложившиеся между нами отношения. И поняли, что мы неправы, абсолютно неправы. И хотели бы хоть как-то загладить нашу вину.

– И что, обвешивать перестали? Обсчитывать? Или тухлятину продавать перестали?

– Ну, вы в своем амплуа. Одобряю, одобряю вашу бдительность! Вы – гражданин. Настоящий гражданин, которому небезразлично то, что происходит со страной, куда она движется!

Иван Игнатьевич опешил.

– Мы долго думали и составили план мероприятий по кардинальному улучшению работы нашего торгового предприятия, – продолжил заливаться менеджер. – И многое уже успели сделать. Уже уволили тридцать пять самых нерадивых и нечистых на руку сотрудников. Перестройка идет полным ходом! И вы, именно вы, Иван Игнатьевич, подвигнули нас к этому. Громадное вам спасибо!

С такой реакцией старый склочник и кляузник еще никогда не сталкивался. Поэтому он слегка растерялся. И клюнул на явную лесть. И это неудивительно. Ведь он был хоть и хитрый, но при этом дурак.

И менеджер, прихватив его под локоток, повлек между торговыми рядами, показывая происшедшие «разительные перемены».

А между тем громадный торговый зал, площадь которого равнялась четырем футбольным полям, совсем опустел. Его покинули не только покупатели, но и кассирши.

Тускло горело дежурное освещение.

Звук шагов, отражаясь от купола, летал по громадному залу эхом.

Они переходили из овощного отдела в кондитерский, из кондитерского в молочный, из молочного в рыбный, из рыбного в винный, из винного в бакалейный, из бакалейного в хлебный, из хлебного в консервный, из консервного в отдел приправ...

А менеджер все говорил, говорил, говорил. Словно прошел выучку у Фиделя Кастро, который однажды беспрерывно говорил с высокой трибуны ООН четыре часа двадцать девять минут.

Дошли до мясного отдела.

Менеджер открыл дверь, скрывавшую от посетителей загадочное чрево гипермаркета.

И впихнул в нее Ивана Игнатьевича.

Тут же его схватили под руки два звероподобных охранника.

И заклеили рот скотчем. Чтобы не кричал.

Попытки вырваться оказались тщетными. Охранники держали Ивана Игнатьевича, как локтевая сумка держит предплечье.

Он обмяк.

В голове металась одна только мысль: что они хотят со мной сделать?!!

Хотя, в общем-то, все было вполне понятно.

И менеджер как ни в чем ни бывало тем же самым ровным и уважительным тоном продолжил:

– Здесь, дорогой Иван Игнатьевич, мясной цех. Здесь мы делаем полуфабрикаты – эскалопы,

отбивные, ромштексы... В этой гигантской мясорубке проворачиваем мясо и получаем фарш. А вот эта линия – последнее слово техники. На ней делаются колбасы. Как видите, все стерильно чисто. Так что вы не вполне правильно критиковали нас за то, что мы якобы продаем несвежие продукты. Вот из вас продукт получится наисвежейший!

Иван Игнатьевич потерял сознание.

Его привели в чувства, сунув под нос ватку с нашатырем.

Он дергался. Но толку от этого не было никакого.

– А теперь вам необходимо пройти предварительную технологическую операцию, – продолжил менеджер. – Называется помывка сырья. Ведь от вас же козлом смрадным разит. Да и обделались вы. Что, впрочем, в вашем положении вполне простительно.

Отчаянно сопротивлявшегося Ивана Игнатьевича раздели и отволокли в комнату с кафельными стенами и стоком для воды в полу. И начали обдавать из шланга струей под напором. Вода была ледяная. Но Иван Игнатьевич этого не чувствовал.

Помытого, его вернули в цех.

Менеджер спросил, кем бы он хотел стать – колбасой, фаршем, кусками мяса по полтора килограмма каждый.

– У нас очень удачные котлетки получаются, по французской технологии делаем. Пальчики оближешь. Может, и жене вашей что достанется... Впрочем, неделю ей будет не до котлеток. Разыскивать вас она будет. Хотя я бы на ее месте устроил праздник освобождения.

И дернул рубильник.

Механизмы пришли в движение. Поплыла лента конвейера. Засвистели циркулярные пилы. Заухала гильотина. Закрутились какие-то ролики, залязгали какие-то щипцы. Цех ожил.

– Ну, так чем хотите стать? – опять спросил менеджер, подталкивая голого Ивана Игнатьевича к какому-то агрегату, который совершал загребательные движения.

Иван Игнатьевич опять обмяк.

И опять его привели в чувство.

В конце концов менеджер понял, что пора заканчивать мистерию жизни и смерти. А то ведь может со страху и вовсе коньки отбросить.

Ивану Игнатьевичу швырнули одежду. И он, напялив на себя только штаны и схватив остальное в охапку, ринулся вон. Так, что позади его образовывалась область турбулентности.

Разумеется, придя в себя, он прямиком отправился в полицию. И подробно рассказал обо всем, что пережил.

Разумеется, никто не поверил этим бредням. Хоть он и размахивал своим липовым удостоверением помощника депутата.

И это даже усугубило ситуацию. Документ был признан поддельным, и на Ивана Игнатьевича завели уголовное дело по статье 327 часть 3 УК РФ, которая сулила арест на полгода.

При этом полиция ввиду явной неадекватности гражданина, из которого «намеревались сделать колбасу», передала его в руки психиатров для постановки точного диагноза.

Психиатры изрядно натерпелись от Ивана Игнатьевича. И ничего кроме зла желать ему не могли. Врачебный долг велел признать его вменяемым. Но полгода ареста для него было бы слишком мягким наказанием. Поэтому они пренебрегли врачебным долгом и засунули склочника на полгода в стационар. Якобы для лечения. В действительности же лечение оказалось изощренной пыткой.

При этом был достигнут и значительный результат, позволивший великому множеству людей вздохнуть свободно. Медикаментозные и прочие психиатрические технологии для нас – темный лес. Поэтому воспользуемся оптической моделью того, что было совершено в отношении Ивана Игнатьевича. Его злоба была локализована внутри него при помощи системы отражающих зеркал. Не имея возможности вырваться наружу, злоба начала выжигать Ивана Игнатьевича изнутри.

И через год его не стало.

Были к нему большие претензии и у похоронного бюро. А также у могильщиков. Но это уже совсем другая история, повествующая о приключении тела, а не души.

Ведь у каждого человека душа есть.

Была она даже у Ивана Игнатьевича.

Последний спектакль

Виолетта Львовна докрашивала губы. С громадным напряжении воли, придерживая левой рукой правую, чтобы не так ходила ходуном. Чтобы не получилось красное пятно на пол-лица.

«Вот бы сейчас Леночку, – по инерции подумала она. – Помогла бы. У нее это ловко получается».

Но гримерши, которая долгие годы выпускала Виолетту Львовну в самом лучшем виде, – первые ряды партера неизменно восторженно ахали при ее выходе – уже давно не было на свете.

Теперь у Виолетты Львовны выходы были уже совсем другие. И это были уже не выходы, а целые походы.

Еще совсем недавно можно было покупать булки у Филиппова. А молочко в Елисеевском. Да что там молочко – и ветчинку, и сыр, со слезой, и сливочную помадку... Денег хватало.

Старых денег. В новых она плохо разбиралась. Знала лишь, что если питаться на улице Горького, то их и на неделю не хватит. Поэтому приходилось на больных ногах ходить куда-нибудь подальше.

Но и этих мест было совсем немного. По ее кошельку был, например, магазин на Малой Бронной. Однако ее туда невозможно было выгнать и под страхом смерти. Потому что там можно было бы нос к носу столкнуться с этим гнусавым, с Пляттом. Очень уж неприятен при всех его якобы джентльменских ужимках.

Правда, Шура из Маяковского сказала как-то по телефону, что Плятта больше нет. Что он умер. Но ведь она всегда была такая путаница, вечно ветер в голове свищет, как за сценой в «Короле Лире», наверняка все перепутала. Не мог Плятт умереть. Это, верно, Грибов или Яншин. Они уже достаточно пожили на этом свете.

Вот к Васеньке, к Лановому, она бы, пожалуй, подалась на Арбат. Этот приятен, очень приятен...

Тут Виолетта Львовна усилием воли прервала нахлынувшие весенним половодьем воспоминания... Ах, молодость, ах, безрассудство...

Да и не добраться ей уже до Арбата. Трамваи уже давно все отменили. А троллейбусы и автобусы перепутали... К тому же вряд ли теперь на Арбате дешевле, чем в Елисеевском.

Приходилось тащиться к саду «Эрмитаж». Там, конечно, тоже не дешево, но концы с концами сводить можно. Если особо не шиковать.

Ходить приходилось два раза в неделю. Можно было бы и один раз. Но недельный запас Виолетте Львовне было уже не донести до дому...

«Ах, когда-то запросто на такси, с ветерком», – вспоминала она прежние дни. Но тут же гнала эти воспоминания. Потому что получалось слишком уж обидно.

И, наложив макияж и надев все самое лучшее, она выступала. Из дому.

Ну, или же вступала в действие спектакля, плохо ей уже знакомого.

Выйдя из подъезда, придирчиво осматривала то место на стене, где будет висеть мемориальная доска. Как-никак Народная!

Вначале по Страстному. Где наставили каких-то аляповатых фонарей, навешали гирлянд, от которых зимой создавалось нелепое ощущение, что идешь где-нибудь по набережной в Гаграх. Летом же почему-то вспоминались «Сталевары», где она играла Зою Самохину.

Иногда ее узнавали. Ну, конечно, не часто – примерно раз в месяц. И это было понятно. И горько. Потому что Виолетту Львовну окружала уже не Москва, не та Москва. Это был совершенно чужой город, в котором варвары (она их называла «лимитчиками») выжили москвичей. Вытеснили их за Садовое кольцо. А может быть, и еще дальше. К счастью, о реальном положении вещей она не догадывалась, представить себе не могла, что москвичей нет уже и в Отрадном. А может быть, даже и в Мытищах.

Узнав Виолетту Львовну, ей улыбались. Мужчины приподнимали шляпу и трогательно раскланивались. Женщины смотрели с восторгом, радуясь счастью столкнуться на улице со своим кумиром. Что называется, повезло, и не надо было выстаивать под дождем у служебного входа.

Это было очень приятно.

Однако Виолетта Львовна понимала, что необходимо держать дистанцию. Поэтому была сдержана. Просто благоволила. И этого поклонникам было вполне достаточно. Хоть и хотелось расспросить: какая роль более всего понравилась, услышав в ответ вопрос о творческих планах...

Она, конечно, понимала, что настоящую – всенародную – популярность ей принес не театр. В ее биографии были три... нет, пожалуй, даже пять фильмов, которые прогремели на всю страну. Вот тогда от воздыхателей отбоя не было. Встречали у подъезда, с цветочками. Были среди них и сущие нахалы, добивавшиеся встречи. Обрывали телефон. И не только домашний. Мхатовский администратор постоянно ворчал, что Виолетта Львовна делает из него какого-то монстра, потому что интеллигентные слова на воздыхателей не действуют, и ему приходится осквернять свою речь словами совершенно непристойными.

Тут Виолетта Львовна неизменно прыскала.

Ну, а потом шла уже по Петровке. Где суета и сутолока. Раньше в Москве такой суеты не было. И люди были все понятные. И машины – «Жигули», «Москвич», «Волга», «Победа». Сейчас же носятся абсолютно непонятные. И машины, и люди.

В тот день все было как обычно. Войдя в магазин, она твердо помнила, что нужно купить. Хлеб. Молоко. Рисовые хлопья, потому что заканчиваются. Лимончик. Двести граммов «Докторской». Пряников. Пару апельсинов... Да, и еще немного сыра. Масло дома еще было, его не надо. Котлетки тоже...

Продавщицы в магазине были хамоватые. Ясное дело, из глубинки, где знают только одного Ефремова – клоуна Мишку, который Олегу Николаевичу столько крови попортил! А теперь вот – пуп земли стал на ровном месте. Говорят, уже Заслуженный. Глядишь, и Народным станет!

Такие, если и забредут на какой-нибудь спектакль (нынче это у них мюзиклами называется!), то прутся по рядам, чтобы усесться, лицом к сцене, задницами к уже сидящим! И ведь научить уже некому, потому что все такие!!!

Но эмоции в магазине Виолетта Львовна старалась не демонстрировать. Потому что горбатого могила исправит. Правда, скрыть свое отношение ко всем ним Виолетта Львовна не могла. Хоть была и прекрасной актрисой. Потому что эта роль была не для нее писана.

Вполне понятно, что пришлые продавщицы, обладавшие звериным чутьем, которое помогало им внедряться в чуждую им среду, прекрасно все понимали. И питали к Виолетте Львовне симметричные чувства – сильную неприязнь. Пусть и не осмысленную и не артикулированную. И вряд ли они помнили о том, как в средней школе им пытались внушить уважение к третьему закону Ньютона. Но взаимоотношения между надменной покупательницей и ими описывались именно этим законом: действие равно противодействию.

И это противодействие в конце концом и сыграло роль. Трагическую. Последнюю.

И не было при этом ни цветов. Ни оваций. Ни зрителей. Шесть актеров играли при абсолютно пустом зале.

– Таааааак, – налегая на «а», надувая его сарказмом, словно пузырь жвачки, сказала смуглая продавщица, перекрашенная в блондинку, – значит, подворовываем?

Произнесено это было, когда Виолетта Львовна, рассчитавшись, отошла от кассы с корзинкой.

– Что? – Виолетта Львовна даже ничего не поняла вначале. Думала, что это кому-то другому. И достала пакет, чтобы переложить в него продукты.

Перекрашенная подскочила и вырвала из рук Виолетты Львовны чек.

– Что вы себе позволяете?! – возмутилась старая актриса.

– Это ты что себе позволяешь?! Воровкой решила заделаться?!

Виолетту Львовну словно кипятком ошпарили. Она стояла и молчала, потрясенная.

– Мишаня, – крикнула пергидрольная, – выходи. Воровку поймали.

Из подсобки вылез звероподобный человек с нашлепкой «Охрана» на груди.

– Эта, что ли? – спросил он, лениво подойдя к Виолетте Львовне.

– Эта, эта, которая барыню из себя строит.

И протянула Мишане чек, тыча в него грязным ногтем.

– Вот, смотри...

Дальше пошла сортировка продуктов, которые купила Виолетта Львовна и нахождение соответствующих им строчек в чеке. При этом эти двое по-хозяйски рылись в корзинке и перекладывали продукты на стол.

С таким Виолетта Львовна в жизни не сталкивалась. Поэтому стояла рядом и лишь хватала ртом воздух.

– Я сейчас милицию вызову! – нашлась она в конце концов. – Прекратите!

– Не милицию, а полицию, старая карга, – ответил лениво Мишаня.

– Мы ее сами вызовем, – столь же лениво, поскольку дело не дошло до апофеоза, сказала пергидрольная. – Лет на пять загремишь, воровка.

Чек закончился. На дне корзинки оставались лежать два глазированных сырка.

Два сырка, которые пергидрольная подкинула в корзинку с благими намерениями – навсегда отвадить эту мерзкую старуху, которая напоминала ей о ее беспросветном детстве, о мрачной юности, о грязи, которой пришлось вволю нахлебаться, чтобы «выбиться в люди».

– Ну, значит, составляем протокол и сдаем в полицию, – сказал Мишаня. – Пусть там разбираются, сколько ей лет давать: три или все пять.

– Погодь, – вскинулась пергидрольная, – она, наверно, карманы набила. Наверняка там чекушка. По роже видно, что алкоголичка. Алкоголичка, да еще и с гонором! Ну-ка, проверь!

И образина залез в карман к Виолетте Львовне.

Она пыталась отпихнуть мерзкую руку. Но он схватил ее за плечо и сжал его, чтобы не сопротивлялась.

Пергидрольная торжествовала. Торжествовала, наблюдая свершающееся возмездие.

– Да как вы... Да что же это... Не имеете права... Я Народная... – говорила Виолетта Львовна.

– Ты инородная! – отрезала безучастная прежде кассирша под одобрительный гогот.

Виолетта Львовна начала оседать. В глазах потемнело...

И вдруг вспыхнул ослепительный свет.

«Что же это Никитка своей пушкой-то прямо в глаза светит, наверно, опять напился», – это была последняя мысль Виолетты Львовны, вернувшая актрису в те золотые времена.

А мемориальная доска через некоторое время на доме, где жила Виолетта Львовна, действительно, появилась. Были и букетики по поводу ее открытия. Один от мэрии, один от СТД, один от Минкульта. Ну, и конечно, от театра, где она некогда блистала.

Больше России своей Народной артистке дать было нечего.

Александр ТИТОВ

От автора: *Герой этой слегка сюрреалистичной повести все тот же Пал Иваныч, старый активист, который фактически выжил из ума, однако своими галлюцинациями, перемешанными с лозунгами, пытается оправдать свою жизнь, прошлые поступки. Он мнит себя исторической личностью, и эта неадекватность персонажа должна не только повеселить читателя, но и слегка насторожить, заставить приглядеться к старику как к последнему представителю ушедшего «чичичилетия» (ветеран не выговаривает слово «тысячелетие»). Он, впрочем, и в предыдущих повестях, некогда опубликованных[1], такой же неутомимый, правдивый, совестливый, мучающийся прошлым и надеющийся на светлые перемены в жизни. Пал Иваныч единственный мой в хорошем смысле идейный персонаж, который живет не ради себя, а ради мнимого «счастья всех людей». По отношению к другим он также добр и щедр, хотя судьба была к нему отнюдь не милосердна. Сказались долгие годы отсидки в лагерях.*

Фон повести создают провинциальные пейзажи и ГОЛОСА, своеобразный хор, наподобие хора античного театра. Эти голоса старик слышит – он им возражает, с ними спорит, старается убедить их в своей абсолютной правоте. В повести описан один день – 19 августа 1991 года.

Это, видимо, завершающая повесть цикла, где главный персонаж – Пал Иваныч, забавный и вздорный старик. После этой повести он исчезнет с литературного горизонта ввиду исчерпания личной духовности, а также по естественным причинам – в третьем тысячелетии будут жить совсем другие люди.

ЧИЧИЧИЛЕТИЕ

Повесть о последнем большевике

1991 год, 19 августа

ГОЛОСА:

– Зачем столько милиции к райкому пригнали?

– Фермер какой-то собирается бастовать.

– Врешь, Федя. В нашем районе ни одного фермера нет.

– Говорят, после перестройки все мужики будут называться фермерами.

– Этот тип – обычный шабашник, с председателем колхоза поругался, тот ему две тысячи недоплатил. Мужик с обиды намулевал какие-то глупые слова на фанерке, готовится идти на главную площадь райцентра – протестовать, понимаешь!..

---

[1] См.: Волга. 1998, № 7; 1999, № 2; 2000, № 413; 2010, № 9-10; 2012, № 7-8; 2014, № 9-10; 2015, № 7-8.

Александр Титов родился в 1950 году в селе Красное Липецкой области. Окончил Московский полиграфический институт, Высшие литературные курсы. Автор семи сборников рассказов и повестей, выходивших в разные годы в Воронеже и Липецке. Финалист национальной литературной премии для детей и юношества «Заветная мечта-2008» за повесть «Ангелок», которая была впервые опубликована в журнале «Волга». По мотивам повести снят полнометражный фильм «Ангел» (Москва, киностудия «Ракурс», 2011). Лауреат областных литературных премий имени Е. Замятина, имени И. Бунина. Публиковался в журналах «Подъем», «Аврора», «Север», «Новый мир», «Зарубежные записки», «Новый берег», в сетевом журнале «Топос». С 1990-х годов постоянный автор журнала «Волга». Живет в селе Красное.

– Из-за одного чудака столько ментов припёрло?

– А ты как думал? В районе, можно сказать, бунт назревает. Это, братец ты мой, политическая акция!

– Отдубасят этого фермера «демократизаторами», вот и все дела. Подумаешь, смелый выискался. В нашем селе и при царях-то не бастовали, а тут, подумаешь, герой выискался!

– Царя он вспомнил. Причем здесь царь? Даже в России обстановка иногда меняется. Если одинокий фермер бастует, значит социализм в России закончился.

– А вот и ничего здесь не меняется. Как стоял я последние годы в очередях, так и стою! Мне надо молока для внука купить.

– Здесь тебе не Москва, дубинками бить не будут. Посадят в «воронок», и до свиданья! В КПЗ в качестве мелкого хулигана. Они ему покажут «фермера»!

– Если деньги есть, откупится.

– Это верно, с деньгами нигде не пропадешь.

– Он тоже, балда, додумался бастовать в воскресный день.

– Партия пока еще в силе, она не допустит забастовок.

– Твоей партии скоро хана придет. Пенсионеры партбилеты сдают. Не понравился им последний съезд. «Долой КПСС!» – всеобщий лозунг.

– Что же ты, Ермолай, свой партбилет не сжег? Трусишь?

– Зачем жечь? Я собираюсь, согласно уставу, прийти в райком и сдать билет вместе с заявлением о выходе их партийных рядов. Все как положено. Да все некогда зайти в райком. Лень одолела. Взносы партийные вот уже целый год не плачу! Рано, ребята, хоронить КПСС! А потом еще неизвестно, как оно все обернется...

– Смотрите, кто идет! Пал Иваныч, настоящий большевик, не вам чета. Он в гражданской войне участвовал, и теперь к новой готовится.

– Да кто теперь его будет слушать? Это ведь бывший враг народа, в Чадлаге сидел. К тому же старик умом тронулся...

Сказка-приказка

«Нет, я еще не совсем с ума сошел, как им хотелось бы. Я в упор вижу себя и всю историю четко просекаю. Ишь, собрались прохвосты с бидончиками. Чего же хотят эти пенсионные оппортунисты на текущий момент: молока или пива? Старость качает меня, но не упаду, идейное устремление влечет дальше, через площадь. Зачем милиция возле райкома?.. Думают, я скоро умру. Как бы не так. Богиня Революции, сокращенно БР, вставила мне в грудь железное сердце – я бессмертный!..»

Качается перед глазами райком. Кто посмел выкрасить стены райкома в желтый цвет оппортунизма? Со времен Гоголя казенные здания на Руси имеют отвратительный желтый цвет – цвет предательства! На желтой бумаге Пал Иваныч сочинял донесения в Губкомпарт!

Жарко. Но Пал Иваныч видит свое лицо в заиндевелой буденовке, и одет он в длиннополую шинель, он с остервенением колотит киркой мерзлую землю на Красной площади. Роет вместе с другими красноармейцами котлован под Мавзолей. Только что прогремели взрывы, куски твердой, холодной с седыми прожилками почвы разлетелись во все стороны, пахнут горелой кислой вонью и еще чем-то жутко историческим. От холода и ветра, летящего над площадью, текут слезы.

Во время траурного митинга прощания с Ильичом Пал Иваныча не допустили на трибуну, чтобы выступить с соответствующей речью – ты, дескать, мелкая революционная сошка, и не лезь под руку настоящим вождям!

А до этого Пал Иваныч дважды беседовал с Ильичом на темы аграрного вопроса, машинально украл у него со стола вечное перо, а когда узнал, что авторучка изобретена буржуазной технической мыслью, с отвращением растоптал сапогом ее в коридоре Кремля. Брызги чернильные так и полетели во все стороны.

В местную школу старика часто приглашают выступать, хотя и подозревают, что «дедок наш знаменитый» тронулся умом.

В классе, когда выступает старик, тишина. У девочек ладони поверх парт, мальчишки потихоньку озорничают. Перед двумя-тремя отличниками лежат листки с заранее приготовленными вопросами. Пионервожатая придумала. Мероприятие надо провести. Учителя тоже думают, что Пал Иваныч врет.

Очередь возле магазина. Старик перестает вспоминать, сердито сплевывает. Старушки в дверях столпились, с ненавистью смотрят на Пал Иваныча, бредущего по своим делам. Глядят на него так, словно он виноват в том, что они выстроились в очередь, цепочкой в затылок друг другу. Если бы они прожили Пал Иванычеву жизнь с ее пытками и лагерями, им бы эта очередь раем показалась!

– Я еще расскажу вам сказку-приказку! – грозит Пал Иваныч старушкам, этим заскорузлым вековым мещанкам.

Придет новый властитель и всем прикажет сказочно. Никто не откажется выполнить. Новая религия, товарищи, скоро грядет – она уничтожит бациллу ненависти, поселившуюся на безыдейном земном шаре!

В газетах теперь не величают Ее Богиней Революции, и даже буквы БР не упоминают. Пишут просто – октябрьский перво-род. Родилась она, матушка-воля! Родились комиссары и первые секретари. Одни «перво-роды» в России, нет нормальности и постепенности.

Старик ощупывает карман гимнастерки: хрустят бумажные рубли и трёшки: остаток пенсии – деньги, которые он так ненавидит, против которых проливал кровь. Но без них не дадут пива! Разве о такой справедливости он мечтал? Сухой закон скрутил Россию, как стебель цветка скручивает ладонь идиота. Гибель идеологии налицо в захолустных местах. Партия погубила себя сухим законом, народ, задохнувшийся в очередях, проклял ее со всем ее бесконечным списком!

На митинге, когда Ленина хоронили, Пал Иванычу не дозволили выступить о речью. Ты, дескать, Павлик, мелкая революционная сошка! Не лезь под руку новым вождям! Тогда-то Пал Иваныч впервые усомнился в том, что революция может организовать равенство людей, хотя равенство было уже почти достигнуто и отвоевано у проклятой и несправедливой вечности! Стоял в траурной толпе, смотрел на них, полнясь ненавистью, предчувствуя наказание за подобную дерзость. Они на фронтах ни капли крови не пролили, а Пал Иваныч скакал с шашкой и ходил в штыковую.

Остановился на площади райцентра, неподалеку от памятника Ленину. «Почему эта невысыхающая лужа возле магазина никогда не выходит из берегов?»

А в день похорон Ленина над ухом Пал Иваныча стрекотала кинокамера, запечатлевая новых вождей в славе и бессмертии.

МИЛИЦИОНЕРЫ:

– Какой-то старик через площадь шкандыба́ет, наискосок, по диагонали!

– Пугнуть его?

– Не связывайся, он старый большевик! Костылем огреет, а ты его не посмеешь тронуть – он то и дело в райком ходит на всех жалуется!

– Кого там трогать, скелет ходячий! Зато Ленина живым видел, за руку с ним здоровался! Когда я учился в школе, этот Пал Иваныч к нам в класс приходил, речугу толкал.

– Болтают, что старик бессмертный, никогда не болеет. Тысячу лет живет в образе российского революционного беса, сам хвастал, что целиком из железа сделан. У него даже прозвище имеется – Металлический!

– Пока он больше на мертвеца смахивает... Приближается! Сейчас начнет чирикать про «чичичу» лет беззакония...

– Ну, держись, сейчас воспитывать начнет. И комчванство кроет, и перестройку, и всю будущую буржуазию, как местную, так и зарубежную, власть которой он не хочет над собой признавать.

– Этот дедок – юродивый анархист! Был бы моложе, отведал бы «демократизаторов»! Не хочет признавать новых нэпманов, а сам на мертвеца похожий...

Народ и пиво

«Милиция или белогвардейцы? – вопрошает сам себя старик. – Целая шеренга впереди, идут на меня цепью. Но в руках у них не ружья, но дубинки – новая мода в запугивании граждан. Улыбаются... Дубинка, даже резиновая, даже с уходящей советской властью несовместима! Дубинка – это признак наступления капитализьма. В дубинках специальная резина – н а р о д н ы й с о р т ! Мандат не спрашивают, а сразу резиной по башке!.. А сейчас, когда в Москве переворот, милиция по-другому улыбается... Точно так же в 17-м году улыбались городовые – заискивающе и с ненавистью».

Старик шагает через площадь порывисто, ореховая палочка, на которую он опирается при ходьбе, вжикает острым концом по асфальту.

Микробы в жаре живут. В девятнадцатом от тифа без памяти лежал, больница размещалась в Воронежском университете. Единственный в жизни раз Пал Иваныча внесли в университет, а оттуда он через какое-то время на своих ногах вышел, наголо стриженый. И сразу же поехал на подавление мятежа в Землянский уезд. Ленин был неправ, когда думал, что с мужиком еще лет шесть придется возиться, перевоспитывать его на социалистический лад. Сельский народец не спешил кричать «ура». Пришлось пощелкать из винтовок, пострашать непокорных. Скучный мужик живет в здешних полынных краях. Вот уже тысяча лет прошла с тех пор, как его крестили, а распять всё никак не удается!

В новом третьем тысячелетии он, Пал Иваныч, будучи бессмертным, обязательно придумает какую-нибудь «идологическую» новинку.

Надо загнать народ обратно в избушки, под соломенные крыши, да чтоб дым выходил не через трубу, а через дверь – так было при Иване Грозном, при Петре, при Сталине. Топить избу по-черному, так это называется. Да чтобы скотина полудохлая вместе с хозяином в хате зимовала. Лишь в 60-х годах, когда человек в космос поднялся, в деревнях стали появляться кирпичные хаты, крытые шифером. А когда нищета в народе иссякает, значит, всяческой империи приходит конец! Таков закон. Скучного человека бьют дубинкой по нескучным местам.

Пал Иваныч спотыкается о выбоину, грозит кулаком в жаркое небо. Милиционеры смеются. Зеваки с бидончиками показывают пальцем на Пал Иваныча, громко говорят презрительные выражения.

Старик в ответ целится в них тростью, будто из ружья. Он им покажет, как показывать! Он не позволит насмехаться над умершей советской властью!

ГОЛОСА:
– Пиво сегодня будет?
– Будет – Леонид поехал за пивом. Он сказал, что привезет.
– Сегодня понедельник, должны отпускать со склада пиво. Скоро привезут.
– Говорят, на складе пива нету. Вот это беда!
– Как пива нету? Почему нету?

Пал Иваныч с глубокомысленным видом приставляет тощий палец к удлиненной тыквообразной голове:

– Так вот почему не получился социализм – всего из-за двух слов: «пива нету»!.. Простейший ответ на примитивный вопрос.

Милиционер преграждает старику путь к массивной райкомовской двери.

Бронзовая, отполированная до зеркального блеска ручка двери, за которую ветеран дергал, наверное, сто тысяч раз. В нос ударяет запах перегревшейся на солнце резиновой дубинки:

– Куда прёшь, дед?

– Никуда, весь мир мой! – хрипло восклицает старик

– Не велено тут ходить и собираться! – объясняет милиционер.

– Сколько вас тут, военных? Зачем пришли? – спрашивает, озираясь, Иваныч

– Не надо лишних вопросов. Пройдемте отсюда, гражданин!

– Я в райком захожу как к себе домой! – негодует ветеран. – Никто не смеет запретить мне ходить в райком! Если бы райком назывался адко́мом, он стоял бы вечно...

– Нам все равно, как называется ваша власть! – хмыкает милиционер. – Мы здесь служим порядку.

ГОЛОСА:

– Нашего старика милицией не испугаешь! Вон как палкой замахивается...

– Против милицейской дубинки старческий костыль слабоват.

– Старика не тронут: он самого Ленина уму-разуму учил!

– Врёт небось. Я бы на его месте врал безбожно.

– Был бы Ленин жив, не допустил бы такого безобразия. При ленинском НЭПе мы бы сейчас вволю пиво пили!

– Тебе бы только пиво, а стремление жизни вперед ты не чувствуешь!

– Сам дурак!

– Ничего, скоро придет Железная Рука, и всего будет навалом, а цены будут снижаться ежемесячно.

Путь из мрака

«Сам не знаю теперь, что взаправду было, а что померещилось. В годы гражданской войны жизнь затмевалась ясным видением будущего. О Ленине думаю так, будто он жив, каждый день беседую с ним, спорю, разоблачаю. С трудом выговариваю это слово, но все же скажу: чичичилетие такое разоблачительное наступило, истина валяется под каждым кустом. Как здорово звучит: чичичилетие! Это слово как заклятие. Следователь зубы вышиб в 37-м, как теперь и что ему говорить, если каждое слово ша́мкается само собой?» По торжественным дням пионеры подвязывают Пал Иванычу галстук. Дома у него полсундука забито этими дареными красными галстуками. Хорошее мероприятие, когда вдруг плеснет вокруг шеи нежно-кровавым шелком, закопошатся, защекочутся под лысой колодообразной головой торопливые детские пальчики, завязывающие узел. Да так туго завяжут, что пенсионер, очутившись к вечеру дома, и развязать-то этот узел не может, разрезает его тупым кухонным ножом... Общаться с детьми старик любит, чует эти пионерские прикосновения всеми дряблостями шеи. А когда девчонка нечаянно косой своей душистой поперек глаз махнет, дохнёт в ухо торопливым дыханием, так у него сразу слезы из глаз шрапнелями скачут. И чудится ветерану сабельных боев, будто склонилась над ним юная Богиня Революции.

И просят дети: расскажите, дорогой Пал Иваныч, о вашей славной боевой и трудовой биографии! Он встает, опираясь на палку, и само ртом выкрикивается: ужасное, товарищи дети, наступает чичичилетие! Я, Пал Иваныч, рассек этот мрак чичичилетнего дурмана своей блистающей саблей! Одиночество, товарищи учащиеся дети, главный микроб несчастья людей! Диалектика, едрит ее бабку!

Подлость урожая

– Какое сегодня число? – спрашивает Пал Иваныч у милиционера.

– Девятнадцатое августа! – бодро отвечает милиционер. – В Москве путч, танки вошли в город, по телику «Лебединое озеро» крутят. Все спокойно, старик. И ты тоже иди домой отдыхать.

Милиционер смотрит на часы, ворчит – сколько им еще здесь торчать?

Импортные часы оснащены английскими буквами, обозначающими дни и месяцы.

– Год какой? И каков? – не отстает Пал Иваныч.

– Девяносто первый. Протекает нормально. Газеты пишут о хорошем урожае.

– Знаем мы эти урожаи! – ворчит старик. – Того и гляди уродится буря. От исторического момента всегда надо ждать очередной подлости.

– А ты, дед, не жди, а просто живи на свою пенсию.

– Ты молодой, тебе легко давать советы. Ты тут время отдежурил, и домой, к молодой жене, щи хлебать. А я, товарищ, не простой дедок, но революционер, я должен всегда действовать!

– Этот старикашка приходил к нам в школу, на пионерский сбор, а я ему пластилиновым шариком в лоб залепил, он и не почувствовал! – раздается бойкий мальчишечий голос.

– Помню тебя, бесёнок! – Пал Иваныч грозит костылем подростку, идущему мимо райкома с бидончиком, – мать послала мальчишку за молоком. Начальство разрешило продавать населению молоко на розлив в магазине. Привозят флягами. Очереди большие, молока на всех покупателей не хватает. – Я в школу приходил на пионерский сбор, а ты, хулиган этакий, стрельнул в меня из трубочки, причем нагло пальнул, с близкого расстояния, как тот кулак после организационного колхозного собрания, на котором я присутствовал в качестве активиста...

Далее Пал Иваныч выкрикивает историю о том, что кулака тут же скрутил селькор, писавший в газету под псевдонимом Игнат Табуретка. В своей поэме Игнат воспел батальон Курземского полка, а заодно и китайскую воинскую часть, проходившую через наш поселок. Шли китайцы умирать во имя БР, то есть Богини Революции.

– Понимаешь ли ты, мальчик-хулиганчик, будущий российский бандит, что весь бедный мир нищих и рабов плачет, глядя на Россию: дескать, опять ничего у русских не получилось! Зато буржуи радуются нашему несчастью. Поделом нам всем, не справившимся с подлым чичичилетием! – Старик разволновался, изо рта брызжет слюна. – Что ты, мальчик, пьешь из железной заграничной баночки? Хлебаешь заграничную бурду и радуешься ощущениям своего развращенного молодого желудка? Вот подрастешь – будешь водку пить, которая и есть наши пролетарские слезы!..

Мальчишка испуганно озирается, прибавляет шаг, старик грозит ему вслед костылем.

– Вам, плохишам, не уцелеть, все вы рано или поздно попадёте под железную пяту буржуинов!

Милиционеры и пенсионеры с бидончиками слушают ветерана, вздыхают.

– Но, товарищи односельчане, сегодня не только для нас, но и для всего мира наступила черная полоса. Что же они там, в своих Америках, думают, что опять разжиреют возле несчастного обвалившегося Союза?

Милиционер берет старика под руку, ведет в тень стены, усаживает на бетонную ступеньку.

Ощущение себя, но собака

– Эй, Пал Иваныч, молоко сегодня привезут или нет? – доносится выкрик из толпы пенсионеров.

– Будет! Если народ пожелает. – Старик роется в нагрудном кармане, ищет удостоверение общественного контролера. Но в кармане лишь хрусткие желтые рубли. Он обращает внимание на собаку, бегущую за угол райкома. В пасти у нее кусок грязного мяса, обвалянного в пыли, как в золе. Пал Иваныч вскакивает со ступенек, бежит за собакой. – Стой, гадина! Брось! У тебя в пасти кусок меня! Кусок моего измученного пролетарского тела!.. Ах, чтоб вас всех... Шакалы вы оппортунистические!

Испуганная собака припускает бегом, мясо, однако, из пасти не выпускает.

Зеваки и милиционеры смеются. Пал Иванычу не до смеха: два месяца назад ему вырезали аппендикс, а бродячие собаки его утащили! Старик с больничной койки вскакивал, пытаясь догнать эту собаку. Убежала...

Остановился, обнял липу. Ветеран тяжело дышит, сползает вниз извивчато, обняв ствол, словно библейский змей. Белая щетина шуршит о неровности коры. Шероховатая кора слюнится – от древесной горечи жажда, к щеке прикосновение шероховатого. Сохнет, испаряется остаток жизни, которая ежесекундно ужасает его изнутри.

Молодой милиционер в лихо заломленной фуражке подходит к старику, одетому в забавную полувоенную форму. Страж порядка вытирает платком лоб:

– Вам плохо, дедуля? Может, скорую вызвать?

– Я сам скор на расправу. Ты зачем, дружок, взял дубинку?

– Перестройка... – пожимает плечами милиционер.

– Что такое перестройка? – хрипит старик. – Перегонка – это понятно – требуются змеевик и котел. Чтобы закипело. Перегонка соцбра́ги через прохудившийся «идологический» аппарат. Глупость надо ликвидировать. Знаешь, братец, что такое «ликвидком»?

Милиционер отрицательно качает головой. Он почти не слушает старика.

– Слова в двадцатых года сокращались, не хотели быть длинными: «крестко́м», «посевко́м».

– Что такое «крестко́м», дедушка? Это, наверное, что-то связанное с крестами?

– Да, это означает «крестьянский комитет по разделу земли». А знаешь, паренек, что такое «бешеные меры»?

Милиционер снова пожимает плечами.

– Такие меры я принимал по отношению к врагам советской власти. Гражданская война – это значит «пленных не бра́ть»!

Пенсионеры с бидончиками присели в тени кустов, некоторые закурили. Сизые дымки медленно растворяются в жарком воздухе над площадью.

Необходимость уничтожения

Старая залатанная гимнастерка. Ладонь дрожит. Расплющенные в пытках ногти растут уже много десятилетий криво, словно буравчики, царапают ветхую материю на груди. Ногти, хранящие следы клещей следователя 37 года, бугрятся стародавними фиолетовыми изломами первых пятилеток, и в данный момент похожи на грибы-сыроежки. Следователь прицельно бил молотком по каждому ногтю, но спьяну не всякий раз попадал. Пал Иваныч не назвал ни одного имени, и по его слову никого дополнительно не привлекли. Без зубов остался, без ногтей – без обычных принадлежностей человеко-зверя, духом воспарил над адской болью.

Пал Иваныч дергает воротник гимнастерки, отлетают со стуком маленькие латунные пуговицы – ветеран показывает милиционерам звездочку, вырезанную на его некогда молодой груди белобандитами. Во взгляде старика, смутно зависшем над сегодняшней действительностью, как в тумане сверкает месть, расширяющаяся лучом прожектора, свет которого заставляет померкнуть яркий солнечный день. В тощей утробе возникает нечеловеческий, застрявший с расстрельных, а затем и с допросных времен рык.

– Я! – рычит он, перекашивая морщинистое лицо. – Я!

– Он такой... – с робостью поглядывают на него пенсионеры. – Он и в очередях порядок всегда наводит!

– Еще бы! Мавзолей Ленину строил! Рядышком к нему собирался лечь – не дозволили!

– Я бы на его месте выбил себе персональную дачу взамен зубов, выбитых у него в тридцать седьмом. Он, бедняга, натерпелся на своем веку!

Воскресная ярость

Заплаты на гимнастерке и на штанах бахро́мятся, трещат, отпарываются, мотаются клочками на жарком ветру. Бедность – принцип истинного коммуниста, считает старик. Те, которые забывают об этом принципе, морально мертвы, хотя пока еще и не расстреляны, но всё равно пре-

датели, возмездие которым неотвратимо наступит, пусть даже они и ездят с огромной скоростью в бронированных автомобилях. Они думают, что в аду для них приготовлены в качестве спасения персональные комфортабельные сковородки с кондиционерами. Бог поступил очень мудро, послав в мир товарища по имени Смерть. Приходит рано или поздно товарищ (а для кого и госпожа) Смерть и говорит: а не пора ли вам пройти со мной?..

Сидит на прохладном райкомовском пороге. Через квадратную заплату чувствует тощим задом холод бетона. Смерть приходит не только в индивидуальном, но и в общественном порядке. Приходит конец как человеку, так и общественному строю. Бомбу атомную ученые не зря придумали – бамц! – и весь мир лопнет как графин с водой, выставленный на потертое зеленое сукно президиума. Множество графинов переколотил на своем веку Пал Иваныч, взывая присуствующих в те данные моменты людей к правде и справедливости.

– Достойны к уничтожению! – кричит он. – Все достойны! Сегодня 19 августа, понедельник. Сегодня произошло историческое событие. По таким дням история, словно чего-то устыдясь, замедляет свой бег. В такие часы она словно бы прислушивается сама к себе...

Сегодня привезут пиво. Пал Иваныч мечтает о том, чтобы история скорее окончилась, тогда люди поймут, что он, ветеран всех событий, был прав.

ГОЛОСА:

– Валентин поехал за молоком! Значит, молоко будет.

– А Леонид поехал за пивом?

– Да, тоже поехал.

– Если опять не привезут ни пива, ни молока, надо Пал Иваныча на торгашей натравить – пусть задаст им перцу!

– Не лезьте вы к Пал Иванычу, он и без того еле живой, раскрыле́тился, как старый петух.

– Как бы ненароком не помер.

– Такие не умирают. У него в груди вставлено железное сердце аглицкого производства! Вон ты куды гляди!

– Брехня.

– Ей богу! Я сам слышал. Приложился к стариковской груди: дзинь-дзинь!

– Откинет копыта рано или поздно, даже если он настоящий старый бес.

Походная песня

«Я убивал врагов революции, и в том была моя прогрессивная сущность. Была. А теперь я никто, все надо мной смеются. Жизнь идет мимо истинного смысла истории. Никто не в силах сдвинуть с места одиночество трудового народа».

– Я порядочно здешних мужиков перестрелял, однако Ильич все раздумывал – отменять или не отменять продразверстку? – бормочет старик. – Напрасно, товарищи, хихикаете! Дескать, выжил старик из ума. Народ факт существования истории не признает. Всё, что происходит вокруг них, наши сельские люди именуют простым словом – «жизня»! Что-то этакое существенное, но от них не зависящее, ни капельки им неинтересное. Уж деревенский-то люд научился уклоняться от исторической ответственности.

ГОЛОСА:

– За пивом Леонид поехал, слыхали?

– Не ври. К нему гости приехали, он на работу не пошел. А пиво – дефицит! Самогонку трудно достать, где уж там пиво! Сухой закон, мать его...

– Я точно знаю: утром Леонид поехал на пивзавод.

– Ладно, подождем, не в первый раз.

– Пал Иваныч хвастает, что разбил тысячу графинов и опередил в этом Володю Ульянова, который кокнул всего лишь один графин, а старик перебил сотню графинов в разборках различных партсобраний и расстрельных заседаниях троиц.

– Да! – кричит Пал Иваныч. – Хотя бы в этом вопросе я его обогнал! Если бы Ильич встал из своего хрустального гроба, он бы удивился агрессивной замкнутости нынешнего поколения людей, он увидел бы, что вопреки его кремлевским мечтаниям выросло молодое поколение, которое хочет бить. Кого угодно. И никто, никакая ООН их не остановит!

Милиционеры вздыхают. Поглядывают по сторонам, не появится ли фермер на тракторе – он и есть настоящий забастовщик.

Старик встает, подходит к закрытым изнутри дверям райкома, стучит сухими коричневыми кулаками:

– Там, где Я, там истинная идологиЯ! Ревбоетрудхрениция. Все опошлено чиновниками и головотяпами. Кто допустил их править страной, куда смотрел пролетариат?

Пал Иваныч затягивает песню боевых походов:

Кровь чудовища – медвяная роса,
Я смотрю в его безумные глаза...

ГОЛОСА:

– Генсек в отпуске, на даче отдыхает в Крыму.

– Пал Иваныч мечтает пробраться к нему на прием и отчитать генсека за упущения в текущей политике. Не пропустят к генсеку разных пал иванычей.

– Зато письма, небось, мешками к генсеку идут.

– Спецлюди сидят, читают.

– Кто бы из наших ему написал, что есть в райцентре свой пивзавод, а в продаже пива нет!

– Генсек с алкоголизмом борется, а ты ему про пиво...

– Пивзавод в начале сухого закона хотели разломать, но Пал Иваныч разрушителей своим костылем разогнал, отобрал у директора завода ключи, зашвырнул их в колодец. Директора вызывали в райком, ругали, а тот лишь руками разводит – дескать, Пал Иваныч виноват!

– Директор умный человек – выкрутился благодаря Пал Иванычу.

Ветеран рассказывает собравшимся, что в его золотые времена люди праздновали не именины, но октябри́ны. Один старый комбедовец переименовал себя в Эпохана Пятилетыча. А все его звали по-старому: Пахом Петрович...

За успешное проведение операции по отъему излишков хлеба Пал Иваныча наградили молотилкой, которая была ему не нужна.

Град на град – пушки палят,
Класс на класс – зубами клац!

– давнишний стих, сочиненный Пал Иванычем для стенгазеты.

Сельский клуб

ГОЛОСА:

– Пал Иваныч, прими меры насчет молока – не везут!

– Сталина бы сюда! Он бы показал, как оставлять население без молока!

– Валентин поехал на молзавод.

– А Леонид за пивом.

– Глухомань проклятая. Бардак всюду, и некому, кроме Пал Иваныча, пожаловаться!

Старик выходит навстречу пенсионерам, качается, костыль у него под мышкой:

– Я разберусь! Где телефон?

– В Доме культуры, если он не замке.

– Я не позволю общественному учреждению быть закрытым! – восклицает Пал Иваныч.

Старик, надвинув на глаза козырек массивного картуза, бредет в Дом культуры, дверь нараспашку. Дом культуры переделан его же стараниям бывшего активного безбожника в тридцатые годы из церкви. Говорят, это здание скоро возвратят верующим... Пусть берут! Наступает эпоха отрицания всего. Согласно Гегелю, как учили в партячейке, «отрицание отрицания». В гулком помещении странный для лета холод, словно в большой пещере. Высокие, уходящие в сумрак стены разрисованы цветами, балалайками, саксофонами. Местами штукатурка облупилась. В эту церковь матушка водила Павлика за руку. Над стенами, в закруглениях сводов, под слоями советской побелки вновь выступают фигуры, нарисованные древними красками.

Покосившаяся фанерная эстрада, на которой нагромождены какие-то бочки, порожние ящики из-под лимонада. Скоро здесь начнется ремонт. Церковь решили восстановить в кратчайший двухлетний срок!

Обшарпанные плакаты и стенды с надписями: «П..едовики соц..сор.....я», «Наша пят..етка». Грамотные хулиганы подправили заголовки, пластиковые буковки сколупнули.

– Вот я вас всех... – Старое недорасстрелянное эхо, живущее под потолком Дома культуры, отзывается на каждое неосторожное слово, запоминает его, словно эхо – агент специальной вечной службы, дразнится старинными голосами. Эхо намекает на свое бессмертие, и старик ужасно злится – нет конкурентов вечному стальному сердцу, вставленному в его грудь Богиней Революции!

Пал Иваныч в изнеможении прислоняется к стене необъятной толщины: от стены, знакомой с детства, веет неизбывным холодом. Забыл телефонный номер молзавода. На стене покосившийся телефон-автомат, мотается безмолвная трубка на гибком шнуре. Что надо говорить в трубку, старик не помнит, в голове злые молоточки тюкают. Схватил трубку, крикнул, отталкиваясь от стены: алё, девушка! Никто не отзывается...

«Молоко!» – простукивает через висок злопамятный молоточек.

«Молока!» – просил умирающий красноармеец, лежа посреди хаты на соломе.

«Найти!» – приказал Пал Иваныч. Обошли всю деревню – нет ни капли белого целебного вещества. Человек, умирая, иногда хочет именно молока.

«Пива!» – стукнул в лысой голове другой молоточек. – «Господи, пиво, куда ты делось? О таком дефиците умирающие не мечтают...»

Пал Иваныч плачет от жажды. Это позор, мечтать перед смертью о проклятом пиве, изобретенном варварами, однако ничего не может поделать со своим воображением, вводящим в соблазн пития, облизывает машинально стены бывшего сельского клуба, на которых скопились капли отпоте́лой влаги. Дыхание ветерана запаленно прерывается.

Бредет к выходу, держится за стену. Ноги в залатанных галифе переставляются как палки. Изуродованные фотографии активистов самодеятельности с выколотыми глазами. Кто их казнил?

В городе Ничтожске, который отбили у белых, Пал Иваныч приказал сыграть комедию. Кажется, спектакль назывался «Карман». О том, как симпатичная кокотка погубила молодого солдата. Нельзя поддаваться бабе, даже если она называет себя БР.

Вышел на паперть, которая сохранилась целиком, вся крепкая, гладкая, как блин из прошлого века.

Прошла будто облако

ГОЛОСА:

– Внимание, старик из клуба выходит. Не дозвонился, наверное, на молзавод.

– Не волнуйтесь, будет нам и молоко и пиво. Валентин поехал, пять порожних фляг погрузил в телегу.

– Вот если бы еще Леонид пива привез! Тогда совсем счастье!

– Товарищ Богиня! – Пал Иваныч, размахивая тростью, летит с крутых ступеней бывшей паперти, ноги в драных галошах шаркают по цементным ступеням. Но не падает старик, держит голову по-прежнему гордо! Всё вокруг как в старину – те же деревья, здания из красного кирпича. Двухэтажное здание бывшего райкома партии, редакция районной газеты – это наш центр мира!

Увидел старшеклассницу с книгой в руке, дернулся следом за ней, едва не упал с церковной паперти. Светлый сарафан с красными цветочками развевается в легком шагу. Старик семенит, спотыкается, взор его устремлен вперед, костыль мешается, он им размахивает как попало.

Зеваки смотрят, смеются: опять ветерану Богиня Революции примерещилась!

Старшеклассница оборачивается, смотрит на старого чудака. Она его помнит – дедок выступал на пионерском сборе, она повязывала ему красный галстук, в котором он был похож на дикого пирата. Шея корявая, словно чулок, набитый опилками. Бр-р!..

Пал Иваныч узнал ее: это не БР, а простая активистка, боевая девушка, служившая у него в политотделе. Рассказывала ему вечерами о греческой религии. Из ее рассказов Пал Иваныч узнал, что на свете существуют бо́ги и богини. Бо́гиня! – единственное буржуйское слово, которое нравится Пал Иванычу. «Трудо́ня», «фабрико́ня» звучат не очень торжественно.

Однажды таинственная женщина, одетая в белое, заявилась на заседание штаба армии. Присела на первую скамью, у Пал Иваныча сердце так и опустилось. Он понял – это она, Богиня!

Въедливый часовой потребовал у нее документы, и тогда БР предъявила мандат ЦК!

Поражение

– Докладываю о неудачной конной атаке! – Он вытягивается в струнку, как в тот день, когда докладывал БР результаты атаки. Она с иронической усмешкой смотрела на него...

Покачиваясь, останавливается возле группы пенсионеров.

– Почти весь полк положил – БР приказала бросить конницу против белогвардейских танков. Перекосили наших пулеметами. Я не смог воспротивиться этой фифе с мандатом, когда она приказала: вперёд! Курганы, стоявшие в степи, помешали, не позволили сделать обхват конницей по флангам... Наши в тот день удирали вместе с имуществом политотдела, то есть, проще говоря, драпали!..

ГОЛОСА:

– Как там насчет молока, Пал Иваныч? Привезут аль нет?

– Ждите, товарищи, свое молоко, не отчаивайтесь! Она посылала красную конницу против аглицких танков. И я же оказался виноват – БР наложила на меня за погубленный полк партвзыскание. Мы удирали, то есть отступали. А паровоз пить хотел. Люди в цепочку становились, поили его ведрами. Он пил, хлюпал, словно телёнок, а начальница политотдела сидела в своем штабном вагоне и диктовала машинистке новые приказы...

Пенсионеры не слушают старика, обсуждают новости из столицы. Горбачев скрылся в Крыму, выжидает. Такое ощущение, что на собственную власть ему наплевать.

Свояченица одного из местных людей работает в Москве, на продуктовом складе. Она сообщила, что накануне путча на склад завезли много колбасы. Обилие продуктов говорит о том, что готовится смена власти. Запас колбасы – это вам не «Лебединое озеро». Когда начальство желает переворот сделать, оно всегда продукты в магазины завозит, чтобы успокоить глупое население. А когда надо людей взбаламутить, то наоборот – продукты в магазины не завозят – очень простая политика!

– Я сочинял стихи в стенгазету под псевдонимом Могила! – размахивает костылем Пал Иваныч. – У меня дома есть бидончик – в него можно наливать молоко вперемежку с пивом. Тиму-

ровец, соседский мальчик, приносит мне в бидончике то молока, то пиво. Не забудьте, товарищи пенсионеры, что сегодня в пятнадцать ноль-ноль партсобрание ветеранов! Собрание проходит в здании сельсовета. Явка обязательна!

Очередь

Покачиваясь на выбоинах, к магазину движется телега, запряженная серой усталой лошадью. Это приехал Валентин, возчик молока. Лицо красное от жары, кепка сдвинулась набок, волосы на лбу слиплись от пота.

– Курцгалопом вперед! – командует Пал Иваныч, грозит лошади длинным карюзлым пальцем. – Вези нас, голубушка, в третье чичичилетие!

– Тпру-у! – Валентин останавливает телегу у дверей магазина, привязывает вожжи к перилам.

Милиционеры стоят в тени, некоторые присели на траву. Они потеряли надежду на появление забастовавшего фермера. Невнятно попискивает милицейская рация. Отбоя пока нет.

В помещении магазина галдеж, суета, очередь толкается, уплотняется и увеличивается, хвост ее из дверей вылез на улицу. Опять всем желающим молока не достанется!

– Почему только пять фляг привезли – этого мало!

– Сколько дали, столько и привёз! – ворчит Валентин. – Сами знаете, надои падают – откудова государство возьмет молоко?

– Продавец! Отпускайте по одной банке в одни руки! – раздаётся крик возмущенной покупательницы, очутившейся в хвосте очереди.

ГОЛОСА:

– Эй, старики, зачем вторую очередь организовали?

– Мы – инвалиды, нам полагается без очереди.

– Посмотрите на свои физиономии – чуть не лопаются от жиру. Какие же вы инвалиды?

– Это не жир, а болезнь, дура!

– Сам дурак!

– И за таких вредных старух мы на фронте кровь проливали...

– Неизвестно, где и как вы воевали.

– Как вам, женщина, не стыдно. Из-за банки молока совесть потеряли! Такая вы скандальная, просто хамка!

– Сам ты хам советский! Вот возьму сейчас и укушу...

Пал Иваныч прислонился лбом к фляге с ледяным молоком – емкость приятно студит голову. Старческие губы бормочут воспоминания: валялся в канаве расстрелянным. Зимой. Никто из деревенских не подходил, боялись смотреть на убитого большевика. Павел чувствовал, как на глаза кровяным слоем намерзает лед, смотрел через него, как через красное стекло.

Очередь с ненавистью глядит на старого активиста:

– Ишь, привалился к фляге, как к собственной старухе.

– Нет у него старухи. Разве с таким будет жить женщина?

– Облапил флягу, старый реквизитор.

– Большевики были нежадные, это они опосля зазналися.

– Никто лишний кусок от себя не оттолкнул. Дай ему сейчас пулемет, он и по нам шарахнет!

– Пусть лучше пристрелит, чем жизня такая. Люди разговаривать разучились. Только и слышно, гав-гав!

– Ух!.. В очереди совсем задушили. Пал Иваныч, застрели нас!

Старик, отлипнув от фляги, вскидывает ореховую тросточку, как ружье, кричит:
– Пу! вот вам, гадам неперестроившимся! Всех застрелю. Пу!..
– Смотри, взаправду не упукнись! – говорит какая-то тетка.
Очередь смеется.

Красный бал

Заходит за угол магазина, в тень. Зеленая трава, могучая стена из красного кирпича.
Проводит рукой по стене, кирпичи шероховато отзываются, сыплется пыль.
– Вот она, красная пыль! Я тоже красная бывшелагерная пыль...
И вновь угодил на солнцепек. Солнце проникает сквозь ветви, пронзает жаром до последних косточек. Пал Иваныч вскидывает костыль, прицеливается в солнце, как из ружья, сплевывает сухими губами: солнце, оказывается, тоже превратилось в классового врага, мучает ветерана безмолвно и беспощадно.
В юности работал у купца Крюкова водоносом. Спускался к прохладной реке, зачерпывал два ведра, нес вверх по склону на коромысле. Тяжело, но молодо – без отдышки! Купец покуривал травку – сам Крюков «бесивом» называл ее.

ГОЛОСА:
– Опять старик закачался, будто маятник.
– Отсчитывает последние минуты социализма, который сегодня кончился – демократы во власть идут!

Пал Иваныч движется по тропинке с приплясом, взвиваются под калошами змейки пыли. Старику примерещился бал-маскарад в красном клубе. Тогда он был совсем молод, почти юн.
– Кавалеристы танцуют с девушками, пехотинцы и повара с прочими! – объявляет он, обнимая свою ореховую палочку.

ГОЛОСА:
– Давай, старик, выкуде́ливай!
– Как молодой заплясал!
– Сумасходные легки́ на подъём!
– Пал Иваныч не совсем дурак, он на собраниях выступает.
– Говорит, новое «чичилетие» должно пойти на пользу «пролетариям» каким-то... Лучше бы насчет прибавки пензии похлопотал...

На том давнем балу Пал Иваныч нарядился Богиней Революции – снял с убитой молодой графини белое платье. Красивое платьице, с лирической голубизной. Парик оранжевый пушистых волос в ее шкафу нашел.
На ходу старик рассказывает-выкрикивает дальнее, полузабытое. Перед балом расстреляли выводок графинь-сестер в подвальном помещении усадьбы. С воем ворвались красноармейцы в помещение, где женщины схоронились под слабым замком. И кто сильнее выл, непонятно. То ли бойцы, приготовившиеся творить ужасное дело, то ли несчастные девушки. Подчиненные Пал Иванычу солдаты тащат графинь по углам. Одна из них, лет восемнадцати, дико завизжала, когда Павел приставил наган к ее груди, взбилось нежное платье.
Кругам крики, шум, солдаты тащат графинь и служанок по углам. Павел торопливо выстрелил в девушку, чтобы избавиться от соблазна обладать ею как женщиной. Опустилась на пол без крика, будто сломленная ветка прошуршала.

«Надо было ее шпокнуть сначала...» – сказал, запыхавшись, подбежавший помощник командира Упырь, с жадностью вглядываясь в лицо мертвой.

Павел разозлился и, без объявления гнева, врезал по мордасам Упыря рукояткой нагана. Помощник убежал дальше грабить, а Пал Иваныч взял девушку на руки, отнес в сарай, положил на охапку сена. Платье с нее с трудом снял – оно нужно было ему для бал-маскарада. Щеки натер половинками разрезанного бурака, чтобы красное лицо соответствовало духу времени. Голую графинюшку сеном прикрыл.

В женском наряде Павел заявился в красный клуб, где его встретили воплями восхищения. «Сжечь было велено всех мадамов! – приставал к нему на балу Упырь. – Где твоя графинюшка? Приказ был, чтоб никаких следов... Где твоя?..»

Сам Упырь нарядился Красным Мстителем, вид его был ужасен.

Другой Пал Иванычев помощник по прозвищу Сатана натянул поверх кудрей поварской колпак, изображая из себя Профессора, хотя до революции был сыном колбасника.

Упырь в соответствии с образом Мстителя, измазав руки красной краской, норовил облапить Пал Иваныча, испятнал кровавыми пятернями светло-сиреневое графинюшкино платье.

Пал Иваныч, брезгуя боевым товарищем, на полном серьёзе двинул ему разок в морду.

Упырю повезло, в тридцать седьмом он даже репрессирован не был, как-то выкрутился. Участвовал в хрущевское время в торжествах и юбилеях, посвященных Октябрьской революции, ему красный галстук пионеры повязывали, хотя он за свои деяния заслуживал петли. В лагерях гадина Упырь тоже не побывал, прожил восемьдесят два года, хоронили бандюгу с воинскими почестями и салютом, даже бюст над могилой установили, улицу города Ничтожска в его честь назвали.

А вот Сатане не повезло – в конце 30-х его вызвали в ЧК. Оттуда он каким-то образом сбежал за границу, его квартира была на той же улице, где жил Нестор Махно... Товарищ Сатана увлекался коллекционированием золотых вещичек, и однажды «коллекционера» нашли в петле с подделанной предсмертной запиской: «Берите, господа-товарищи, мое золото, а мне такая жизнь надоела!..»

...Вернувшись после бала в сарай, Пал Иваныч обнаружил мертвую девушку на глиняном полу – она лежала с открытыми глазами. Как же она ухитрилась отползти от копны сена?.. Снял платье, оставшись в одних кальсонах. Положил девушку на сено, прилёг в изнеможении рядом, положил на нее свою руку, ощущая бархатистость бледной кожи. Ее тело показалось ему еще теплым.

Сенная глыба сползла сверху, накрыла, обоих. Даже в темноте глаза расстрелянной горели обидой, застывшей болью, и он поцеловал ее в ранку на груди, отпил капельку ненавистной крови классовой врагини. Кровь сладко осолонила язык потомка крепостных, сечённых на графских конюшнях. Забавно было чувствовать, как руки девушки обнимают его, гораздо труднее было бороться с ее девственностью и покойницкой расслабленностью. Но и в моменте неестественного соития молодой командир успешно победил. Прошло некоторое время, он отлип от нее, весь в поту, укрыл труп сеном, чтобы не видеть заплаканного обиженного лица мертвой.

Чиркнул зажигалкой, поджег сеновал... Спустя неделю по делу уничтожения ценного корма по недоразумению было расстреляно три мужика, признанных «контрой» в срочном порядке во время допросов, проведенных Упырем.

Пивное блаженство

ГОЛОСА:
– Мужики, пиво привезли!
– Брешешь!
– Ей богу, Леонид приехал!

– Пал Иваныч, бежим, а то не достанется... Деньги есть? Давай их сюда, возьму на твою долю пару кружек.

Возле желтой бочки с пивом, прицепленной к грузовику, тотчас выстраивается очередь. Продавец Леонид, еще не старый рыжий мужичок, надевает резиновый фартук, выставляет рядом с краном несколько пивных кружек, пустые поллитровые банки.

Первая желтая струя с пеной ударила в бокал, Леонид дает пене отстояться. Продавец невозмутим, несмотря на шум и гвалт, не обращает внимания на деньги, которые ему протягивают со всех сторон, уворачивается от бумажных купюр, которые тычут в уши и нос.

– Эй, впереди, возьмите Пал Иванычу пиво без очереди – пусть охолонет революционная душа!

«Все погибли! – думает старик. – Я не сумел никого спасти. Жители буржуйских стран смотрят на нас и плачут по ночам от страха. Мы покончили с миром «добрых» господ. Они, господа, под конец своего правления очень хотели поладить с нами, которых по привычке считали рабами, чтобы мы работали не только на ихних полях, но и на своих – землю крестьянам вроде бы дали... Барышни, умиляясь, примеряли крестьянские платья. Лев Толстой самолично взялся пахать землю, но было уже поздно... Я многих после семнадцатого сагитировал – кого словом, кого пулей. Почему угасание духа в данный августовский момент происходит контрреволюционным способом? Где нынешние сонные парторги, куда разбежались при слове "путч"? Где журналы "Агитатор" и "Коммунист"? О чем пишет нынешняя "Комсомольская правда"? Эти журналы и газеты вмиг перестроились... Откуда берется стихия предательства? У меня ежедневные партгаллюцинации, потому что я – знаток ра́бчелове́кове́дения. Первый слог "раб" – не от слова "раб", но от слова "рабочий". Необходимо срочно провести партсобрание...»

– Вот пиво, дед! Пей досыта, я обещал взять без очереди, и взял – скоро мы этих ларёчников к ногтю прижмем... Сдача, говоришь? Какая сдача? Пей, и говори мне спасибо!..

– Богиня Революции требует вернуть ей дворянское платье! – бормочет старик. – А платья нет – сгорело в огне, на сеновале. Какого-то подкулачника за это расстреляли, а сено запалил я – аглицкой зажигалкой...

Старик делает два жадных глотка, видит прояснившимся взглядом райком, сидящих в холодке милиционеров, с завистью поглядывающих на любителей пива. Неужели с крахом СССР наступает долгожданный пивной коммунизм, когда пива будет много и за ним не надо будет томиться в очереди?.. Партия поступила глупо, лишая массы рабочих пива! Он, Пал Иваныч, презирает «сухую» партию, запретившую людям их любимые напитки! Сухим законом Горбачев обрубил последнюю ветку, на которой держался социализм!

Неподалеку от пивной бочки старушка торгует ведром слив, предлагает его за три рубля, никто не берет. Этих слив на ветках в палисаднике полно. Но в течение века Пал Иваныч против частной торговли, и данная старушка для него враг номер один. Нет сил встать с бревна и прогнать бабку домой. Языком и горлом он ощущает льющийся, чуть пощипывающий жидкий холодок. Пивная, пахнущая дубовой бочкой, прохлада! Напрасно окружающие думают, что он, Пал Иваныч, сбрендил с ума. Он – стихийный идеолог! А идеология – фактор бессмертный, она проявит себя в дальнейших ответвления русской истории.

Старик помнит, что в три часа надо явиться в сельсовет, на партийное собрание. Дело святое. Давным-давно, во время гражданской, раненого Пал Иваныча приносили в президиум собрания на носилках. Сегодня на повестке дня вопрос о перестройке – продолжать ее или отказаться ввиду бесполезности данного мероприятия?

Собрание

Добрел до прохладной комнаты сельсовета. На стульях вдоль стены уже сидят другие старики.

ГОЛОСА:

– А вот и незаменимый Пал Иваныч!.. Пьяный, что ли опять? Успел, старикашка, где-то вмазать.

– Леонид пиво привозил!

– Почему мне не никто не сказал?

– Жизнь такая советская – успел значит купил, радуйся.

– Перестройка, мать ее так, сухой закон ввела, давят людей в очередях!

Появляется пожилая женщина-парторг. Уговорили в райкоме стать парторгом, сама не хотела. У нее и без того много дел по дому, внука надо воспитывать. Партийная организация стариков и пенсионеров. Старики ленивые, никто не хочет быть парторгом и оформлять протоколы. Пал Иваныч требовал, чтобы его назначили парторгом, но райком забраковал его кандидатуру: слишком дед горяч, скор на расправу, да и умом изрядно тронулся, а партия по законам перестройки сделалась тихая, добрая, слушает голоса народа; партия против того, чтобы народ страдал от притеснений больших и мелких вождей. Нет, нельзя Пал Иваныча назначать парторгом – он потеряет документы вместе с остатками ума.

Парторгесса открывает собрание, Седые волосы забраны гребешком по моде тридцатых годов. Блузка синяя, в белый горошек.

– Членов КПСС присутствует... Отсутствует... – Тихий усталый уставно́й голос. Старики слушают, лица у них серьезные. Короткий доклад. Парторгесса запинается, не разбирает собственного почерка в докладе. Начинаются прения. Старики смело критикуют, знают, что за критику теперь не сажают: за молоком очереди, привозят молока мало, всем не хватает... Какая к черту перестройка? Пивзавод производит мало пива, на продажу в райцентр привозят всего одну бочку, мужики за пивом, так же как и за молоком, давятся всей толпой. Торговые проблемы – они для нашей страны вечные, но конкретно мы не знаем, как правильно говорить: «развито́й» социализм или «ра́звитый».

– Какая теперь разница... Говорите как хотите! – огрызается парторгесса. – Навязали мне вас на мою голову!

Пал Иваныч требует вновь зачитать повестку дня, он не всё понял.

Парторгесса с ненавистью смотрит на вредного старика, который всё никак не помирает, таскается по собраниям со своими глупыми вопросами. Критикует всё и всех подряд, мало ему башку в Чадлаге отбили...

Женщина, кашляя в кулак, с нехотой заново зачитывает вслух повестку дня: первое – «О постройке новой церкви на территории сельсовета по улице Социалистическая». Второе – «Разное».

ГОЛОСА:

– Улица Социалистическая до революции называлась Глупцовкой. Разве это не самоунижение народа?

– При чем здесь унижение? Глупцовка она и есть Глупцовка, все привыкли к этому названию.

– А ты откуда знаешь?

– Я сам живу на этой улице, отец мой состоял в комиссии по переименованию улиц. Мы, глупцовцы, всегда дрались стенкой против ваших загуменцев. И всегда побивали вас.

– Причем здесь ваша дурацкая «стенка на стенку». А вот кто кого поколачивал – вопрос. Я помню, мы гнали ваших через овраг.

– Долой «стенка на стенку»! – кричит Пал Иваныч. – «Стенка на стенку» – это гражданская война в отдельно взятой деревне.

Партийная руководительница стучит ладонью по столу:

– Давайте, товарищи, реагировать на повестку дня.

– Нам все равно, по торговле надо резолюцию принимать.

Пал Иваныч задремал на скамейке, очнулся:

– Долой алчных спекулянтов! Да здравствует честная советская торговля! – визжит старик. – Знаете мое прозвище? Я – Пал Иваныч Металлический! Или просто дядя Паша Социализм! Причем я – Социализм настоящий, а не какой-то там «недоразвитый»!

Ветеран вспоминает как его, молодого рабочего завода имени буржуя Мартенса, выпороли за то, что он участвовал в маёвке.

– Мало тебя, дурака, пороли! – раздается шепот из угла.

Пал Иваныч не слышит. Собрание идет своим чередом. Снова проснулся, по-пивному икнул:

– Партия, товарищи должна окончательно развалиться, потому что доклады по бумажке читали без всякого смысла, а также напрасно спорили о том, как называть социализм – «развитой» или «развитый». Никто ничего не хотел делать, потому и провалилось наше второе чичичилетие...

Старик встает, выходит из сельсовета, хотя партсобрание еще не закончилось, и, почти не открывая глаз, идет во сне по тропинке домой. Он забыл про собрание и похож в данный момент на лунатика.

Неожиданно сталкивается с давешней старушкой, которая торговала на базаре сливами, которые никто у нее не купил.

При виде Пал Иваныча старушка пугается, рука вздрагивает, часть слив рассыпается по тропинке. Старик давит их подошвами, скользит, едва не падает, открывает глаза. Взмахивает палкой, словно саблей, грозит кулаком частной корове, пасущейся на лугу:

– По флангу го-о-ним!.. А ты, старушенция, – вековечная подкулачница! Я на твоем товаре чуть не убился.

Старушка всплескивает руками, сдержанно смеется.

– Куды спешишь, старый идол? – ругается она в свою очередь. – Аль заснул на ходу? Вот, несу сливы назад. Никто не взял даже за три рубля. Может, ты, Пал Иваныч, купишь хоть за полтинничек. Я тебе слив в картуз насыплю.

– Не нужны мне продажные фруктовые ценности. Ты зачем, бабка, идешь на партсобрание? Я только что ушел с него навсегда!

– На кой кляп мне нужна твоя собрания? Сливы с веток падают, зря пропадают.

– Перестань, бабка, разговаривать с деревенским кулацким акцентом, а то прикажу расстрелять.

– Ты усю жизню расстреливаешь, а я усю жизню таковски балакаю. Никто меня не корил за простецкай разговор.

– С тобой бесполезно говорить политически, потому что ты вековечная дура! Отныне запрещаю тебе заниматься частной торговлей!

– Ты, басурман, усю жизню усё запрещаешь, а сливы знай себе пропадают!

– Государство пропадает, а ты со своими сливами.

– Слух идёть среди народа, что вашу партию совсем распушшают, а другую партию назначают? Верно люди балакают, аль нет?

– Ты, оказывается, анархическая бабка!

– Нет, старый пень, я не психическая! По хозяйству сама управляюсь!

– Ступай, и не попадайся мне на глаза, оппортунистка. Глупость народных масс во все времена выводит меня из терпения. Когда я был наркомом в этих краях, я издал свод законов, и в нем была отдельная строка, набранная жирным шрифтом. Статья под названием «глупость». За нее, за голубушку, полагался расстрел!

Покорение города Ничтожска

Побежал прочь от старухи, застрял в кустах. Глядь, а это кладбище! Как видения встают перед взором различные кресты, надгробные плиты, отжившие собственный прямоугольный смысл.

Вот чей-то деревянный крест. Обнимает его:

– Здравствуй, незнакомый товарищ! Я пришел! Славно ты руки раскинул, словно генсек, встречающий зарубежного товарища... Рад видеть тебя, крепкий деревянный парень! Я доволен, что ты к моей могилке охранником приставлен.

Присел, погладил бугорок, заросший высокой травой. Огляделся по сторонам: кладбищенская трава в августе высохла, тоже, наверное, пива хочет. Трава росла при социализме, а при социализме всегда пива не хватало. А не погубил ли пивной вопрос принципы будущего, теперь уже нескорого, коммунизма? Пал Иваныч уверен, что оглаживает собственную могилу. Прищуривается, поглядывает весело по сторонам.

Крест деревянный, в трещинах. Старик уверен, что через крест, как через подземный «антиперископ», можно заглянуть в глубины земли. Пал Иваныч наблюдает самого себя, лежащего в псевдоисторической могиле.

– Здравствуй, Я! Я пришел к тебе. Это Я здесь лежит! Ты настоящий Пал Иваныч?

– Я – самый настоящий! – отвечает Некто веселым голосом из могилы. – Ты принес мне пива?

– Я потерял бидончик с пивом... Мой старый алюминиевый бидончик... Так жалко!

На кресте ни фамилии, ни таблички. Ну и пусть. Все равно старик забыл свою настоящую фамилию. Да и нужна ли фамилия всемирному человеку? Правдов, Идеалов, Справедливцев! Или просто Пал Иваныч Чичичилетний. Зачем иметь фамилию, если сам всё знаешь про себя? И под крестом лежит не Я-«Я», но такое же смертельное существо в слезах.

Пал Иваныч закрыл две буржуазные газеты в городе Ничтожске. Была у него тогда власть, а теперь не хватает силы, чтобы свалить могильный крест. Трухлявая деревяшка хрястнет, падает.

Вспоминает: зимней ночью вывели некормленых лошадей из вагонов. Конница затаилась на кладбище, голодные лошади грызли вот эти самые кресты. Пал Иваныч скомандовал – вперед! Только так можно было обмануть антоновцев – неожиданным прорывом через кладбище. Окружили бандитов, порубали. Да и кого было побеждать – сплошь мужики, почти все без оружия. Сельские партизаны с кольями да вилами.

– Зачем же вы, глупые, ура кричали?

– На испуг хотели взять. Антонов велел добывать оружие своими силами...

Городу Ничтожску Пал Иваныч присвоил другое название – Революционск. А что такое революционер? Это человек, отказывающийся от смысла действительного живого человека, будто он вовсе и не человек, но идеальное существо.

Когда встал вопрос о сносе памятника Петру I под лозунгом «Отныне без царей», Пал Иваныч, сам не понимая почему, воспротивился: пусть остаётся!

Недавно город Ничтожск под лозунгами перестройки вернул свое прежнее название. Забыты сражения гражданской войны, растерялись слова о правде и свободе, зато смешное название крохотного городка восстановилось – Ничтожск. Нет больше Революционска. Осталась жара, скука, очереди за молоком и пивом.

Расстрелян неокончательно

В ту зиму белые расстреляли Пал Иваныча в третий, в предпоследний раз. Но, возможно, его схватили свои, заподозрившие измену. Видимо, Пал Иваныч помешал делать карьеру другому, более молодому командиру, теперь не припомнить. Но факт очередного расстрела имел место. Лежал с пробитой грудью лицом вниз, чувствуя, как горячая кровь выбулькивает из него в снег, образуя теплую лужу.

Конвоир стащил с ног расстрелянного новые хромовые сапоги, ушел вслед за другими расстрельщиками. О чем-то поговорил с ними, вернулся и проткнул на всякий случай лежащего Павла штыком.

Стемнело. Пал Иваныч кое-как поднялся, пошел босиком по снегу. На его удачу пурга завихрилась, ничего не видать, кроме редких деревенских огней. Глядь, патруль! Ихний или не ихний? Остановили: куда идешь? кто таков?

Отвечает: иду домой, к бабе. Я здешний, выпил маленько, заплутал... Он и в самом деле качался, держался за плетень, чтобы не упасть.

Патрульные тоже были пьяные, отпустили.

Зато после гражданской войны в родной деревне Пал Иванычем детей пугали, показывали на него пальцами. Ребятишки швыряли в бывшего красного командира сухими конскими и коровьими котяха́ми, при попадании которых в скулу или глаз было не столько больно, сколько обидно.

Деревенский «мир» даже пастухом не взял его работать, особенно когда местный народ узнал, что Пал Иваныч был красным командиром, да еще награжденным орденом Красного Знамени. Обнэпились, сволочи! Завели снова скотину, которую теперь не мог реквизировать продотряд.

Пал Иваныч до сих пор стоит на учёте у психиатра, ещё в старом областном центре, в Орле, карточка на него заведена, хотя теперь область другая – Металлоградская, на очередное обследование психического состояния девяностолетнего старика никто не приглашает. Думают, небось, помер.

А впервые его поставили на психучёт еще в годы НЭПа, отобрав именной наган и саблю с вытисненными ревзнаками. Очень уж часто тогдашний командир, оставшись не у дел, хватался за оружие, грозя на корню истребить возрождавшуюся российскую буржуазию.

Окружающие гады думали, что жизнь вернулась на прежние спокойные круги, заводили личную скотину, которую уже не мог съесть посторонний вооруженный человек.

Никакой писчей или просто руководящей должности деревенская община Пал Иванычу не предоставила. Даже в пастухи определиться не позволила: нельзя, дескать, тебе даже стадом командовать, охальник, нехристь!

Жил в удрученном идейном смысле, перебиваясь случайным харчем, вырыл себе в лесном склоне землянку и там озлобленно существовал, бродил по чащам и дубравам, прилавливая отбившуюся от стада скотинку. Часть мяса солил себе на прокорм, остатки туши относил в Ничтожск, к лавочнику, которого когда-то спас от расстрела.

И поклялся Пал Иваныч отомстить своим землякам, ушел в город на канцелярскую должность. А в двадцать девятом году весь поселок взвыл, когда увидел Пал Иваныча в новой шинели и опять с наганом – приехал проводить коллективизацию.

Последний вечер

Грустное возвращение к тихому домику. Покосившееся крыльцо качнулось, едва старик ступил на него, поехало под его тяжестью, словно платформа с орудиями, будто бронепоезд, уходящий в ночь.

– Полный ход! Поможем американским трудящимся! Мировой пролетариат должен быть освобожден! – Из вялых губ по привычке вылетают лозунги.

Хватается за перильце, чтобы не упасть. В канун очередного юбилея Октября приезжала комиссия – фотографировать ветерана в газету, знакомиться с его житьём-бытьём. Осматривали хату, зажимали потихоньку носы. Предлагали переселиться в престижный дом престарелых.

«Не хочу в сумасходный дом!» – Старик хватался за воображаемую кобуру.

Перильце скрипит. Пал Иваныч свешивается с него, словно с балкона, произносит речь, обращенную к лопухам, имеющим го́ловы и лица трудящихся.

Толкнул дверь обеими руками – никогда не запирает ее, часто у него живут бродяги, алкаши и прочий пролетариат, которому негде притулиться. Обычно эти «товарищи» появляются в день выплаты пенсии. Сегодня никого...

На земляном полу заколянелое тряпье, дырявые валенки, плетеная кошелка с разодранным боком. Воняет в углу керосинка-кормилица. Часто предметы домашние начинают ходить и разговаривать сами с собой и с хозяином, без всякого на то разрешения.

Бедность, несовместимая с движущейся мыслью вселенной. В голове Пал Иваныча от напряжения что-то щелкает, из глаз летят воспоминательные искры. Было. Остается лишь смешное перед ним, одетую в дырявую гимнастерку. Не получилось! История рыдает. Смейтесь, умники! И оставайтесь рабами. Я не освободил вас, но ведь и вы сами не хотели освобождаться. Теперь вам ничего не остается, кроме как жить в своем новом необозначенном чичичилетии – никак не выговаривается это длинное слово, мать его растак!..

Кто это появился в чулане? Кастрюля замаскировалась на закопчённой плите, подмигивает. Белыми червячками скорчились на столе засохшие лапшинки. Старые глаза будто мутные лужицы – пора Пал Иванычу на боковую.

Тимуровец

Утро. Тонкая, но очень серьёзная рука толкает спящего старика в плечо. Юрик! Тимуровец! Пришел!

Обрадованный старик почти бодро вскакивает, сбрасывает на пол шинель, служащую вместо одеяла.

– Горбачева сняли! – сообщает Юрик равнодушным детским голосом. – По телику передали, будто ГКЧП начинается.

– Опять революция? – удивляется Пал Иваныч.

– Да никакая не революция. – Подросток вздыхает. Новые желтые сандалии на его ногах будто светятся на грязном полу. На круглой макушке топорщится хохолок. – Я говорю вам, дедушка, ГКЧП вводится, а Горбачев уехал отдыхать на море.

Пал Иваныч шлепает босиком к телевизору, надув губы, неуклюже, с третьей попытки, втыкает вилку в розетку. Старенький аппарат, купленный у здешнего алкаша за литр водки, гудит. Деревянный корпус телевизора ободран, в царапинах – вечно гневный ветеран во время просмотра новостей швыряет в аппарат чем попало, особенно когда на экране возникают лица бывших врагов из рассекреченной кинохроники.

Новости в телевизоре хриплым голосом репродуктора подтверждают: ГКЧП!

– Но где же революция? – недоумевает старик. Где белые, а где красные?

– В магазин колбасу трех сортов завезли! – сообщает Юрик. – Вам, дедушка, купить колбасы?

– Безобразие! – Старик возмущен до предела. – Новое чичичилетие скоро будет, а они нам вчера балет по телевизору, сегодня колбасу в зубы!

Юрик берет с лавки помятый бидончик, собирается за молоком для старика.

– Рабы! – кричит Пал Иваныч, уставившись на экран. – Никого не буду освобождать. Я – одинокий рыцарь в полынной стране! – Лицо ветерана то бледнеет, то чернеет от встречных вспышек кинескопа. – Почему со мной не посоветовались?.. Декрет о снятия продразверстки в Тамбовской губернии был принят на десятом съезде РКП(б), но было – я предупреждал! – уже поздно... А эти, которые балет включили и колбасу завезли, тоже опаздывают. История им не дозволит развернуться. Всегда всё поздно в матушке-России. Дело, товарищ тимуровец, не в продразверстке, а в ненависти.

– Пойду очередь за молоком занимать, – говорит Юрик. Он уже возле двери. – Дают три литра в одни руки. Деньги ваши, которые вы на прошлой неделе мне давали, целы. Я хлеба тоже куплю. Вам, наверное, полбуханки хватит... Мать щей наварит к обеду, я вам, Пал Иваныч, в отдельной кастрюльке принесу!

Старик выдергивает шнур из розетки, телевизор умолкает, и сразу со всех сторон наваливается деревенская тишина. Где-то на огороде, в бурьяне, кудахчут куры. Пал Иваныч рассказывает

Юрику о музее Голода, организованном в годы гражданской войны в деревне Вешаловка. Каинова помощь буржуазии не доходила до голодающих. Буржуи вместо тушёнки закатывали в банки «идологический» яд. А съедобные консервы оказывались на рынке у спекулянтов.

Выборочные расстрелы не предотвращали регулярных хищений продуктов.

– Если вы так ненавидите заграничную жизнь и продукты ихние, и вообще всегда за справедливость, то почему подверглись репрессиям в тридцать седьмом? – Тимуровец вопросительно смотрит на полусумасшедшего старика.

– Меня пытали как внутреннего врага. Бить молотком по ногтям – технология Запада, разработана инквизицией... – Пал Иваныч потрясает изуродованными в пытках пальцами. Ногти из них с тридцать седьмого года растут смешными буравчиками. – Я подписывал все протоколы, в которых утверждалось, что я вредитель и шпион, однако вместо настоящей своей фамилии ставил единственное слово: ЛОЖЬ! Следователь не сообразил про мою уловку, а в суде – тогда еще суды были открытыми! – на мои слова не обратили внимания, хотя я при всех троекратно повторил! – ЛОЖЬ! ЛОЖЬ! ЛОЖЬ!

– Какая у вас настоящая фамилия? – Юрик уже совсем собрался уходить, но любопытство берет верх.

– Всегда одинаковая – Ложь! Другой мне не требуется, чтобы погибнуть и спастись... Погоди... – Старик выдвигает ящик тумбочки, достает грязный гипсовый бюст. – Видишь, это я! Нос, сволочь, сам отбился! Такие бюсты продавались когда-то во всех магазинах нашего края!

Нечаянно роняет бюст, откалывается голова. Старик хватает остатки бюста, выбрасывает в сени.

– Долой меня!.. Иди, мальчик за молоком! Мне Родина должна выдавать молочный паек за все мои страдальческие подвиги!..

Юрик уходит. Остановившись на крылечке, тимуровец слышит, как в хате беснуется старый боец, нанося удары подвернувшимся по руку предметам.

На площади райцентра ветер взвихрил пыль, заиграл обрывками бумаг, конфетными фантиками. Нижние ветки кленов вздыбились выше верхних, словно деревья обрели крылья. Затем ветви пружинисто распрямились, с шорохом ударили вниз, нервно шевеля прохладный воздух новой страны.

Люба МАКАРЕВСКАЯ

ПРИЗНАНИЕ В СЛАБОСТИ

***

Признание в слабости
в своей вине
как в цветении
несколько слов
о смерти
о ее неизбежности
и они сочатся
как может
только тело.
И я увидела
точно перед
ртом
пистолета
как ты развенчал
камни кровь
из носа
весь летний
избыток.
И стремление
к ножевому ранению
как соединению
с собой
с зачеркнутой армией
слов
с потребностью
в насилии
превращающей тело
в документ.

***

Ответвленная сеть
предательства
так дурное

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Публиковалась на сайтах «Новая литературная карта России», «Полутона» и «Сноб», в альманахе «Транслит» и журнале «Воздух». Главный редактор литературного журнала «След» (первый номер готовится к выходу). Книга стихов «Любовь» готовится к публикации в издательстве «АРГО-РИСК».

входит в кровь
точно нож
в масло
и заражение материи
происходит как
любовное действие
и меня больше нет
есть только знание
о пространстве
и времени
о желании обратится
в знамя
разорванное на части
целого
о вступлении слов
в тело смерти
как языка
в разомкнутый рот
и повторении имен
не чтобы стереть
границы
а чтобы установить
их заново
словно болевой
порог.

***

Обнажение шеи
ключевых позвонков
ребер и мышц
словно возобновление
участия в судьбе
давно больного
и поцелуй
как форма
траура
что бы я сказала
тебе сейчас
когда ты усвоен
кожей
как ранение
и твой взгляд
движется
сквозь воспаленное
электричество

сквозь таблицу
знаков очерченную
мелом
сквозь голосовые
связки других
и расцветает
у меня
на языке
под языком
как новость
о чужой
смерти.

***

Повредить язык
слюну
и сам способ
добычи слов
из уязвленного
горла.
И после
я не могла
дотронуться
до себя
несколько
дней.
Чтобы затем
раскрошить стекло
утвержденный
в позвоночнике
новый навык
самоуничтожения.
И посмотреть
на другого
как на рану
на собственной
коже
Пока коллективное
движение вокруг
длится как
война.

***

Я только
тонкая рама

в центре
саморазрушения
чтобы тебе
было проще
снимать липкие
следы
с выгоревших
с прошлого
лета
очертаний меня
где каждая
развилка уходила
в кровь
оберегая дыхания
для дальнейшей
растраты
чтобы я могла
положить
его тебя
на ладонь
без твоего
или моего
собственного
сопротивления
положить словно
всю
тактильную память
о цветах
весь спектр
и еще несколько
гласных
как в начале
желания
или крика.

***

Как после
сна
рассказать
тебе
о том каково
это
быть с тобой
и не быть
уничтоженные поля
текста
кровь поставленная

в кавычки
как бы из любви?

И это не слова
а только их
предчувствие
и предчувствие
столкновения
растущее под
языком.

И обесточенный
навык
в поломке
зубных нервов
в делении
новых и зараженных
клеток.

И ожог
который я
не смогу показать
ни тебе
ни другим свидетелям
прикасавшемся
к....
и вся его глубина
на вспененной
поверхности
расщепления.

***

Вступить
в контакт
с тобой
как с детским
теплом
или смертью.

Я вписала себе
в это полотно
как диагноз
в медицинскую карту
как первую боль
всегда новую.

И мне не страшно
так

послушай нужно
разве не ты
кожу вывернул
по незнанию.

Чтобы потом
мы посмотрели
друг на друга
как случайные
свидетели
на допросе.

И это
пожалуйста
ранило воздух
совершенно
безвинно.

Как поцелуй
само это
слово поцелуй
солдатские
губы.

***

Любовь как система
отсутствия
а не зеркал
и видеть тебя
вырывающим
кровь
из прерванной
коммуникации
и свое желание
в других
развешанное
как алые тряпки
и попытка обещания
как казнь
несколько расчлененных
звуков
и потом мой голос
все еще мой
сообщающий
о замене веществ
об изменении
вмешательства
как о просьбе
к умирающему.

***

Отдаленность сюжета
его неизбежное убывание
из венозной ткани
его отсечение
от себя
от всех известных ранее
сегментов языка.

И когда ты сказал
– Это про вас потому
что...

Мел на рукавах
и короткое знание
о твоем тепле.

Прерванное знание.

Девочка только
свечка только
речка снова
свечка.
Нежное мясо
расставания раны
новообразование
в пролете лестницы
и желание желания.

И какие у тебя
будут губы
когда ты будешь
сплевывать табак
словно первую кровь
после драки.

И еще свет свет
и нервный смешок
и попытка игнорировать
собственный обморок
как движение
внутри вен
и движение солнца
по раздетым
до крика
зрачкам.

***

Принеси меня
в жертву
по умолчанию
несколько слов
о коре деревьев
о повреждении
их структуры.
Влага открытая
не ножом
но солнцем
как знания
о температуре
кожи.
Так язык
касается
век
узнавая холод
словно течение
ломки
и ты застываешь
вынесенная(ой)
на руках
В пространство
оголяющее войну
как кожу.

Виталий ЗИМАКОВ

УТОПЛЕННИЦА

***

волна растворённая настежь
схлопывается и ты с ней
с береговым шумом из музыки и огней
зарываясь всё глубже гаснешь

всё дальше от берега позже
научился приступы распознавать заранее
когда даже слабый шорох одеяла по коже
оглушал даже звук на большом расстоянии

в детстве ты понимал насколько крепко с миром связан
вспыхивающим для тебя не жалея голосовых связок

находишь себя в доме забитом памятью
из пустых бутылок и явно лишний
приглушённые звуки под наледью
давно ничего не слышно

вслушиваешься раскладываешь снасти
сам себе пруд и утопленница
волна растворённая настежь
схлопывается

***

таким же прохожим но оставшимся за кадром
речкой замёрзшей речью в гипсокартоне
от деревьев к деревьям разметкою шва
головой о свет то ли дело
снежной горкой осталось подобие амфитеатра
за ветками город сбивается и сначала тонет
тем и жив если жив чем река подо льдом жива
темнеющей фигуркой на заветренно-белом

Виталий Зимаков родился в Москве в 1983 году. Публикации в бумажных и сетевых литературных журналах «Волга», «Двоеточие», «Дети Ра», «Литературa», «Новый берег», «Цирк „Олимп" + TV», TextOnly, на сайте проекта «Полутона» и др.

***

лес зазубренным лезвием глухим ограждены лесом
городки вслепую нагромождённых прорезей-песен

анатомический атлас рек и притоков на всех экранах
пояском меандровым затянувшаяся рана

лепестком-бритвочкой червеют холодом вплавь
песком сплавляются плеском каменной реки

***

никем не собранные отзвуки сугробы
мифологем снегопыли за поездом снегокопоти
не разделяя форму и содержание по-гречески
распиздяя вакансия певца наркологических клиник
общих вагонов певца общих мест пользования
сборщик звуков не задаёт лишних вопросов
волоком осколки-оскомины что разбрызгивает
колокол мокрым животным отряхиваясь

***

разрешается подавать сигналы тревоги
перевернитесь на спину машите руками
чтобы вас заметили кричите как можно
громче смиренно принимая замечания
простите не следует допускать бесчинных
воплей использовать аварийно-спасательное
оборудование без соответствующих указаний
экипажа текст содержит прямые цитаты про-
глянет кострище пустите детей и не препятствуй-
те им играть вблизи высоковольтных линий
недостроенных и заброшенных направление
можно определить по компасу звездам
ориентирам на берегу невольных ошибок
тихим голосом подальше от
незамерзшей реки
или полыньи

***

пройдите тест и узнайте кем бы вы были
стриженые деревья побелённые смесью глины
молока и гашёной солнцем морской пыли

сквозящие сквозь ящики с хламом из сердцевины
зазоры жили-были просветы монтажной пеной
посторонился без вести по старой дружбе впредь
тающий свет по колено гераклиум обыкновенный
борщевик за городом на снежном пустыре

***

прибрежной полосой засвета
всё чем было для тебя чем будет
будит утром с наветренной стороны
ещё отражающей новогодней ночи
звуки и цвета размытые простудой
лёгкий жар и габаритный фонарик
её велосипеда по растаявшему снегу
вдоль вскипающих окон
всхлипывающих флейт корни-свёрла
поперёк горла полых деревьев
украшенных засвеченными плёнками
с самыми удачными фотографиями

***

камеры видеонаблюдения фиксируют снег
снег с дождём гавриил григорьевич
спасибо за пруды некогда ваша
усадьба всегда закрыта для посещений
собаки и те кто их кормит её обитатели
охраняют парк с врастающими в землю
домами от целого мира снаружи
бытовок и прудов загаженных настолько
насколько спрятать зиме не хватает снега
кто хватится их зимы какие спрячут
куда приходишь там и покалывает
возвращением

***

ряженый по случаю годовщины цирковой цербер
дрессированная гидра даром что чудища жаль их
из других душеполезных историй запомнил о церкви
запертой чтоб святые не вырвались и не сожрали
к слову о церкви возле той что рядом с домом
где остатки деревенского кладбища давно на задворки
осенью после земляных работ насыпь буквально комом
снежным к зиме точнее ледяным дети катаются с горки
сохранившиеся оградки домики холмик афиши

бродячего цирка голоса детей отзвуки службы неподалёку
со всех сторон хвойные безлиственные смешанные и выше
выше загорающихся под вечер окон

***

светом подтопленный бригантинок
в лужах витрин и в витринах луж
сфотографировав побережье
следом вязанка ветрил разгораясь гаснет
пеплум декоративным заносит пеплом
книжек зачем-то без разговоров и картинок
молчат телефоны всех коммунальных служб
кружат волчишки над городом снов медвежьих
светом подтопленный город вязнет
вспыхивает и гаснет февральским ветром

***

там они подкармливают
переживших зиму кошек
хорошо что в этих домах
не перекрыли подвалы
высохший местами асфальт
местами грязные сугробы
просто нечего повторять
ни дней каким бы теплом
ни девяностых-нулевых
птичьей кормушкой на карте
с названием звёзд и созвездий
по растаявшему снегу облака
окурки и прошлогодние листья

Кусчуй НЕПОМА

ИМПРЕССИОНИЗМ

Рассказ

Маме

Вторник

Вторник был синонимом счастья. Несмотря на его будничность, в этот день не было суеты, а это уже счастье. Вторник торчал между шумным понедельником с его ангельским настроем и мелодичной, но все-таки шумной средой, торчал будто островок среди яростных стремнин. К тому же во вторник не нужно рано вставать и можно спать хоть до одиннадцати или даже до полдвенадцатого. Разве это не счастье? Говорили, что вторник – день неприемный. Что это значит, никто не мог толком объяснить. И слава богу, потому что всякое объяснение разрушает ощущение счастья. Ведь счастье величина необъяснимая, иррациональная, как говорил Сева. А потому после неспешного подъема и утреннего туалета можно было неторопливо попивать заваренный собственноручно цветочный чай с маленькими, похожими на котиков, печеньками и смотреть в окно. А печеньки были волшебными. Потому в окне во вторник показывали всегда удивительное.

Например, показывали дворничиху тетю Таню, которая метлой – вжих-вжих, вжих-вжих – сгоняла пыль с асфальта в газон. А рядом на скамеечке дядя Толя с бутылкой кефира в руке. И тетя Таня то и дело поглядывала на дядю Толю, который ей приходился мужем, а по совместительству отцом семейства, и удовлетворенно качала головой по мере того, как дядя Толя принимал свой естественный цвет. Картина, выведенная легкой сепией, настолько была теплой и радостной, что хотелось, чтобы пыль на асфальте не заканчивалась, равно как и кефир в бутылке, а цвета побежалости бежали по дяде Толе чуть помедленнее.

В другой раз, то есть в другой вторник в окне показывали Ленина. И не в виде книги или памятника. Он, живой, шел с вытянутой вперед рукой и что-то энергично, но совершенно неслышно артикулировал. И оттого казалось, что воздуха за окном совсем не было, и птички попадали на землю, и листья на ветках окаменели, и соседский кобель-боксер выпучил глаза, удивляясь сучьей коварности воздуха. Ленин, впрочем, начинал говорить, только по радио, голосом актера Каюрова, и тогда улица наполнялась воздухом и неподвижный витраж оживал: птички, взмахнув крылами, взрезали воздух отчаянным полетом, листья начинали трепетать про первые артритные признаки осени в своих череночках, кобель-боксер наконец отдавал земле должное и, вкатив обратно глаза, драл задними лапами траву...

А бывало, в окне покажут сухую оренбургскую степь, где-то недалеко от полустанка Акбулак, прорывающийся через пыльную бурю «зилок» с десятью девчонками в открытом кузове. Из-за пыли машина едва угадывается, и хочется сдуть песок, чтобы разглядеть лицо шоферюги, бывшем слегка подшофе, его небритые щеки, красные от недосыпа глаза. Разглядеть тех, кто тря-

---

Кусчуй Непома (Михаил Петров) родился в 1966 году в Рыбинске. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, аспирантуру. Переводчик испаноязычной литературы. Переводы выходили в издательствах «Амфора», «Азбука», «Симпозиум», «Наука». Автор сборников «Иоахим Воль, передвигатель шахматных фигур» (Луганск: Шико, 2011) и «Треугольник случайных неизбежностей» (Луганск: Шико, 2013). В «Волге» публиковалась повесть «Там-машин» (2014, №11-12) и «Фантастические истории, записанные во время своих странствий Йозефом Краалем, алхимиком из Праги» (2016, № 7-8). Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

сется, сжавшись в комок, в кузове. Но тут дуй не дуй – окно, словно граница между мыслимым и немыслимым. И оно смешивает, смазывая тетю Таню, Ленина и оренбургскую степь с картинкой, что висит на стене напротив, – репродукцией полотна Тициана. И вдруг в несдуваемой пыли проступают загадочные взоры Моны Лизы, жившей на цветных вкладках учебников. Всегда казалось, что Леонардо Да Винчи именно там ее и нарисовал, вместе с рамой, и больше ее, Моны Лизы, нет нигде, ни в каком другом месте. А если где и есть, то непременно перерисованная другими художниками, имен которых она никогда не могла запомнить. Вот один такой – смех да и только! – пририсовал Моне Лизе усы. Когда сын вешал эту изуродованную красавицу над своим письменным столом, она, чуть ли не крестясь, хотя была неверующая, сказала: «Свят-свят... Импрессионизм какой-то!» – «Мама, импрессионизм – это совсем другое», – ответил сын, втыкая булавку в уголок репродукции. А ну тебя ко псам, Сева! Не слово, а морок какой-то...

А случалось, что в окне целый день бежали стихотворные строчки – то сверху вниз, то справа налево, то по диагонали, и буквы так весело подмигивали, что стихи казались совсем не грустными... И, кажется, среди них в первый раз пролетело это незнакомое слово – импрессионизм, – ставшее в итоге словом ругательным. Все, что было не так, неправильно – все было для нее импрессионизмом...

Импрессионизмом были разводы от оттепельных протечек на стенах лестничных пролетов. Импрессионизмом была рассыпавшаяся по полу крупа. И сумбур вместо музыки тоже был импрессионизмом, и жизнь навозных жуков, и кузькина мать были им.

Импрессионизмом были телевизионные помехи – столь густые, что из них впору было вязать носки. Телевизор «Рекорд», который кое-как показывал одну-единственную программу, похоже, таким образом мстил за обидный кредит. За этим черно-белым окном в мир пришлось ехать на улицу Плаунскую. И улица эта пылила под автобусом номер три, и домишки с каждой остановкой все мельчали. Там на конечной был магазинчик, в котором напротив друг друга продавались и водка, и телевизоры. Лиза, соседка и она же – продавщица в том самом магазине на конечной, – накануне вечером позвонила в дверь. «Мона? – почему-то шепотом спросила она, по привычке зажёвывая «ж», тут же протиснулась в коридорчик и, тщательно прикрыв за собой дверь, сказала: – К нам сегодня под закрытие привезли телевизоры – целых два... Тока никому!»

Это был второй телевизор в жизни. Первый – с именем сибирской реки Енисей – купили у Маши. Маша вышла замуж и потому легко рассталась с уже показавшим много каких видов окошком в мир. Как-то она, приложив палец к губам, поманила за собой. А у загса открылась: ты – свидетельница, а вот мой жених Юра. Родители были против: за нежильца не пойдешь! Потому-то они с Юрой записались тихо, а после записи купили торт и съели его вчетвером, молодожены и свидетели. Через шесть лет Юра, нежилец, умер. В нем сидела болезнь – словно черная дыра, она втягивала его в себя же. И оттого костюмчик на нем вечно был в складку, как он ни старался его утюжить, как ни старался выжить. И до сих пор крик в ушах: «Спасите, я хочу жить!» И в руках – Машины каменные слезы. Нежилец для всех иных простудился и умер. А для нее – растворился и перестал быть. Вот и «Енисей» исчез, через шесть лет растворился во времени, распылив свои внутренности среди военных военного городка в Выползово. А Маша уехала в Витебск. И вот второй год от нее нет писем, нет звонков...

Нынешнее окно помехи не ловило. И возле него можно было сидеть без носков, через него не сквозило. Во вторник совершенно не хотелось отходить от окна – что бы в нем ни показывали. Для не окна были другие дни – среда, четверг, пятница, даже понедельник, но скорее всего воскресенье – тут, кажется, так заведено. Да, вторник лучше проводить у окна, с чашкой чая.

Понедельник

В понедельник прилетали ангелы. Они были белые: белые крылья, белые хламиды, белые волосы из-под белых шапочек... Разве что щеки и руки краснелись, как у поварих или прачек. Ангелы пели высокими голосами, иногда срываясь на клекот и скрипучие баритоны. Однако разобрать небесные рулады, разложить их на слоги и слова не получалось. Может, они пели на

латыни. Или еще на каком мертвом языке. Мертвые языки, они здесь мертвые, а там, где живут ангелы, они живые.

С песнями ангелы кружили по комнате, и это походило на картину Матисса. Только там танцевали оранжевые или красные ангелы, все зависело от качества репродукции. Эта оранжево-красность была раздражительна, и хотелось, чтобы матиссовы ангелы были белыми, и потому белая титановая таяла, репродукции теряли свой неангельский оттенок, плясуны покрывались белыми балахонами. Настоящий Матисс висел в Зимнем. Впрочем, Зимнего из окна не видать, разве что во вторник. И дорога до Зимнего-Матисса эфемерна, и никаким эфиром эту эфемерность не осилить и Веласкесом не измерить. Так что вряд ли когда Зимний теперь будет взят. Даже во вторник.

Он был взят в далеком сорок седьмом. В тот год девчонок, учащихся в ремесленном – тех, кто захотел сухой паек променять на впечатления, – отправили проветриться подальше от дома. Впереди маячил Ленинград, однако пристанищем оказался лагерь на Карельском перешейке, неподалеку от линии Маннергейма. Землянки, где они жили, вмещали в себя не только темноту, но и шорох посторонних лапок, наполнявших ужасом девичьи сердца. Впрочем, главным в этой поездке были, конечно, не землянки и не земляника с брусникой в лесах, напичканных – через два года после окончания войны – металлом, умершим или притаившимся в ожидании новых жертв. Главным был поезд, с летящими за окном станционными надписями – Териоки, Келломяки, Куоккала, – везущий девчушек в форменных ремесленных шинельках, подпоясанных ремнем, в беретиках и кирзовых ботинках в Эрмитаж. Вот такая линия Маннергейма, связывающая землянку и Эрмитаж. И кирзовые ботинки скрипели по царским паркетам, и матиссовы странные ангелы, голые и оранжевые, взирали на бледные лица и худые тела, прикрытые одинаковыми кашемировыми платьицами. А потом, после Эрмитажа, были вазы и скульптуры Летнего сада, и морковка, такая же оранжевая, что и ангелы со странных картин. Морковку грызли счастливые рты, а потом была беготня по аллеям и угловатые танцевальные па среди серых подслеповатых скульптур. И тот день тоже был понедельником...

А в понедельник, отстоящий на почти шестьдесят или семьдесят лет от того понедельника, прозванного понедельником Териоки, ангелы танцевали, шли кругом, меняя фигуры, ритм, темп, переходя с вальса на польку или менуэт. И в руках у них позвякивали и поблескивали какие-то металлические предметы. А потом случался фокстрот, чарльстон, которыми когда-то взрывался джазовой оркестр в городском парке Рыбинска. А иногда случалось даже танго, но выглядело оно совсем нелепо. Ангелы, танцующие танго... Там-там-там, та-та-та-та, там-там-там. Крылья мешались, а длинные хламиды путались в ногах. Когда придумывали вальс, менуэт или контрданс, ангелы камнем сидели на стенах и крышах церквей. А на рождение танго глядели мерзкие рептилии, а джаз был вообще изобретением дьявола. И потому нематиссовы ангелы, дергающие коленями и локтями, выглядели жутковато. Но нужно было искать в себе силы радоваться всему, что видишь. Ничего не поделаешь, ты уже просто наблюдатель. И это пока не так и плохо. И лучше ангелы, танцующие танго или фокстрот, звенящие разными металлическими штуковинами, чем пятничная тряпичная тишина-пустота.

Понедельник истекал, ангелы прыскали на крылья ароматизированным антиобледенителем и исчезали, рассеивая в эфире воздушные поцелуи. Танцами и песнями за день они утомляли так, что оранжево-красные матиссовы человечки казались избавлением – пусть и не настоящим, а всего лишь воображаемым. Но и на них больше не было сил. Только бы провалиться в спасительный сон с надеждой, что в нем, во сне, ангелов не будет, не будет этих голосов, не будет казенного оптимизма и великодушия, не будет ослепительной белизны и розового оттенка прачек и поварих.

Четверг

Четверг был как творог. Такой же белый и нежно-рыхлый. Его нужно было брать из миски чайной ложкой, понемногу и осторожно – в ложке он не держался. Так и четверг – все норовил

вывалиться то в гремящую застеночными ариями среду, то в густо покрытую ватными облаками пятницу. В том, что после понедельника шел вторник, а за вторником – среда, во всей этой программно-газетной последовательности маячила обреченность времени. Эта регулярность придумана нарочно, чтобы справиться с хаосом, и вот вам обязанность двигаться в одном направлении: от понедельника к пятнице, а затем к субботе и воскресенью. Эх, если бы можно было перемешать карты, чтобы после вторника шел снова вторник или суббота, а потом три среды подряд и на закуску воскресенье – тогда время было бы игрушкой. Наигравшись, можно было забросить ее в коробку и взяться за другую. Например, за обжившийся в кармане пальто шурупчик, за застрявший между томами красивый конфеточный фантик. За булочку с заварным кремом.

Да, в четверг всегда хорошо думалось о еде. Не о той, что готовили в соседней стране и доставляли на тележках едва теплой. О той, что пробивалась воспоминанием из других, опутанных временем, эпох. Вот, как например, эти булочки с заварным кремом, которые из печки доставала мама. Небольшие, с черным донышком, подрумянившиеся по бокам, с верхом, походившем на бутон. Казалось, он вот-вот распустится, выпустит из себя кремовых человечков, которые ловко соскочат с противня, разбегутся по кухне, а ты потом лови их, выманивай из половых щелей, из-за сковородок или томов Ленина-Сталина. На самом деле булочки были всего раз. А потом мама как будто забыла волшебное слово, по которому они заводятся в печи.

Или вдруг выплывает откуда-то трудяга сифон, раздутый важностью углекислого газа, напоминающий, как сказал сын, целебесского слона анемичного арийца (из этих четырех слов она понимала только одно). Однажды в него залили клюквенный морс. И пунцовый пузан оторопело отплевывался пеной, газированной, розовой, удивительно вкусной, которая не оседала и не давала себя пить. Газовые баллончики, когда их откручивали от слона, со свистом выдыхали остатки углекислоты, и становилось немного жаль недорасходованной углекислой магии, ведь морсовой пеной можно было покрыть весь объем комнаты и прятаться в ней от любого ловца.

Или вспоминалась яичница, которую жарила Зина своему похожему на омлет мужу, капитану интендантской службы. Сидя у окна, жуя суховатый бутерброд, интересно было наблюдать за выверенной манипуляцией, за кулинарным фокусом: чугунная глубокая сковородка, лужа подсолнечного масла, сырная крошка, мелкие брусочки колбасы, крошево лука, растертый в пасту чеснок, выскальзывающие из скорлупы яйца, снова сыр, укроп и кинза, а поверх этого многослойного пирога – крышка. А потом крышку снимали, и сковородка оказывалась пустой. И лишь капитан интендантской службы загадочно колыхался, удаляясь от стола, стоявшего во дворе под раскидистой яблоней. Фокус удавался каждый раз, словно фокусник выворачивал время наизнанку, отматывал его назад, когда яичница была намерением, либо перематывал вперед, когда намерение переставало измеряться временем. Время перестало быть и для капитана-интенданта, когда во двор съемного дома на окраине Курска, который их семья делила в неравных пропорциях с интендантом и его женой Зиной, вошли четверо. Они вывели капитана-интенданта из дома, в форме, без ремня и головного убора, тот зыркал по сторонам, и в его испуганном взгляде была бездна, уже съевшая-поглотившая капитана-интенданта целиком, как он до сих пор съедал-поглощал яичницу – одним махом, будто фокусник. Отец, тоже капитан, но кавалерии, сказал тогда матери, почему-то взяв с полки томик Ленина-Сталина: «Лучше в бедности, но в спокойствии». А потом, глянув на детей в саду, добавил: «Взбей-ка лучше, мать, детям гоголь-моголь». За стенкой, одна в двух комнатах, скулила над борщом жена интенданта Зина.

Вот и четверг – творог и взбитый гоголь-моголь – мотался между средой и пятницей, как часовой маятник, и оставляя тем надежду обойти препятствие стороной, проскочить мимо неизбежного тоннеля.

Среда

В среду всегда была осень. Даже если во вторник была зима или весна, а в четверг – лето или весна.

Осень. С моросью, вечной, как телевизионные помехи. С листопадом, когда падали с ветвей не листья и календарные листочки, а медные листы – сагаты, караталы, кимвалы, прочие тарелки, и звук их длился пусть едва слышно, но весь день, существуя как часть пения.

В среду за стенкой кто-то пел, выводя своим сопрано истерическую вязь из арий Ярославны, Татьяны и Шамаханской царицы. В конце концов срывающуюся на кашель, так срывается иголка патефона с последней дорожки, еще полной волшебных звуков, на немое шеллачное поле, а с него – на черную или синюю этикетку. И скобление иглы – хоть и не пальцем по мокрому стеклу, однако не менее отвратительное – вызывало мурашки. А с мурашками, как слюна у собачки Павлова, появлялся городской сад в Рыбинске, сентябрьский, теплый, желтеющий и краснеющий кленами, с джаз-бандом Лозинского. Туда, в сторону выгородки с ракушкой, стремилась по асфальту радостная дробь каблучков, а с нею – надежда и предвкушение.

Но однажды дробь каблучков была прервана – кто-то звал, и имя свое слышать было неожиданно и странно. Нет, это были не медные, вдруг грянувшие фокстрот, и не аккордеон, подхвативший вальс. Имя летело повторяющимся речитативом с другой стороны, где за кленами был забор. И вдруг медные захлебнулись, превратившись в бесхвостых земноводных, а аккордеон стал раздавленной гусеницей, и осталось только имя, а потому не подойти к забору было невозможным.

– Погоди... погоди не уходи, я сейчас... сейчас напишу письмо, – синкопы, синкопы, синкопы, – ты... ты передашь ему, только... только не уходи, погоди, письмо, сейчас...

Пики металлического забора отделяли городской сад от лечебницы для душевнобольных. А над пиками словно насаженная на одну из них – голова Тамары. Тамара – старшая из соседских детей, переживших благодаря отцу-инвалиду, шоферюге, войну. Черные большие глаза, черные же в смоль волосы, заплетенные в толстые косы. Казалось, красивей Тамары нет никого, и все моны лизы и незнакомки, бывшие в виде репродукций в книжках, ей в подметки не годятся.

Но на границе совершеннолетия первая любовь в приступе пьяной злобы топором срубила одну из кос, топориное лезвие прошло на толщину волоса от головы. И крик, и скулеж, и яростное сопротивление не помогло – коса минус, приплод плюс. К девятерым мал мала меньше сестрам и братьям еще один – ее. От позора убыток в голове, песни тихие, переходящее в визг сопрано. И возвращаясь раз за разом из блаженного дома, завидев мальца, она бледнела, руки сами прирастали к ножу, чтобы изничтожить свой позор.

И в этот раз синкопы:

– ...только не уходи, погоди... погоди, письмо, сейчас, дождись...

И она исчезла – писать, писать матюги, адресованные матери и своей первой и последней любви... Но пока ждешь, кончатся танцы, и голоса подружек из темнеющих аллей растворили наваждение. Медные вернулись в себя из земноводных, а гусеница снова собралась в аккордеон. И она побежала, стремглав, на танцевальную площадку. Там, где Маша уже кружилась в вальсе с Юрой.

За стенкой прекратился кашель. До следующей среды больше не будет слышно «Окуну в реку Каялу мой рукав бобровый».

Воскресенье

В воскресенье случались путешествия. Сразу после утренней фарфорово-алюминиевой увертюры подгоняли карету с визгливыми рессорами. И после крахмальной церемонии ангел с бензиновыми крыльями правил карету по анфиладе. Колеса стучали на неровностях каменных рядов, повизгивали рессоры, а в ушах свою противную песню выл ветер. С обеих сторон мелькали торговые лавки, словно дни недели: вот понедельник, вот вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... Лавки, лавки, лавки...

Была и та, в которой торговали грампластинками, имевшими на каждой стороне по песне. Сдавленные, законсервированные в канавке голоса тромбонов, труб, скрипок, фортепиано, аккордеонов стремились выскочить наружу, не дожидаясь иголки и граммофонной трубы. И оттого в лавке стояла особая духота, будто каждая частичка воздуха колебалась, и не в силу броуновского движения, а тактом неслышимой музыки.

Тут же продавались ноты, плотные сероватые листы, полные загадочных значков. Они приводили в трепет, и трепет этот однажды породил воровство. Утащенные под шумок ноты с незнакомым названием будоражили воображение. Ведь придуманное одним обязательно должно быть понято другим. И маленькие значки, разбросанные по пяти нитям, завитушки, торчащие во все стороны, точки и галочки нарисовали в конце концов историю, в которой фея обратила из цветочка принцессу и вернула принца из заколдованного леса, и был там долгий, словно последняя осень, поцелуй. Однако радость увяла, как срезанная роза, когда эти таинственные значки сыграл одним пальцем на фортепиано заезжий гастролер-артист, мусоля в уголке рта папироску и нагло срывая похотливым взглядом совсем иные ноты. Увяла, потому что в мелодии, вышедшей из-под его пальца, не было ни феи, ни принца с заколдованным лесом, ни поцелуя долгого, как последняя осень. И не поверив ни единому звуку, она потащила ноты другому музыканту, самому известному в городе, и откуда взялась наглость пробиться на пятый этаж и выпросить пять минут... И тот, внемля просьбам, манерно отбросил фалды, выставив напоказ мятые брюки, и отбрящал, вскидывая над собой руки, словно коршун крылья, мелодию, впихнув в нее все, что было на тот момент в нем: и зудеж жены, и талоны на водку, и прожженное утюгом пальто, и колечко на пальце любовницы. И его воплощение опять не имело ничего общего с феями, принцессами и поцелуем. И бессмысленные ноты вернулись в магазин тем же образом, каким они оттуда исчезли.

Была и мясная лавка. В ней над свежим, парным мясом зудели мухи, и в зудении этом, без сомнения, угадывались те значки, что прятались в соседней лавке на нитях и шеллачных канавках. А продавец, небритый суровый грузин в когда-то белом халате, словно дирижер оркестра, отмахивался от зудящих нот многократно сложенной газеткой. Мясо покупали и, наскоро попрощавшись с дирижером, покидали лавку. Дома мясо уже не звучало, лишь однообразно скворчало на сковородке. А бумагу, в которую оно было завернуто, использовали для гадания, рисуя на ней простым карандашом затейливые знаки.

Еще была лавка, в которой на полках были расставлены мужчины, воображаемые в долгом течении девичества мужьями. Среди них офицеры с пахнущей кожей портупеей и кобурой и скрипучими сапогами. Инженеры в очках и с тубусами под мышками. Были и простые парни, которые попадались на танцах, на улицах, в коридорах школы рабочей молодежи. Особой статьей проходили красавцы, чьи лица лепились на обложки журналов: иностранные актеры, бывшие настолько далекими и настолько недостижимыми, что мечтать о них совсем не считалось крамолой. Все эти не случившиеся мужья, начищенные словно сапоги до блеска, стояли на полках с ценниками и датами.

В самой дали стояла потрескавшаяся карточка: капитан, с ромбиками на петлицах, узколицый, с небольшими, по моде, усиками. Он оставил после себя помимо аттестата запись под номером 89 в реестре Ярославского облвоенкомата: «...состоявший в распоряжении Военного Совета Западного фронта. Пропал без вести в октябре 1941 г.» Или это был отец? Но разве отец – он не единственный? Разве он не муж? В тот день отец, внутренне дрожа, однако не подавая виду, козырнул вестовому и, как-то странно взглянув на них, на детей, ушел. Хлопнула калитка, зашумела ветками яблоня... Он ни разу не оглянулся, пока шел, пыля дорогой, вслед за вестовым вверх на курский холм. И как будто сам превратился в пыль.

Была и фотокарточка мужа, вымоченная слезами. На свадьбе – чин чинарем гости, перед ними – чин чинарем угощения, стол на отпускные... Мать вдруг ни с того ни с сего завыла, и тут же завыла и она, так и вся жизнь потом пошла через слезы. Говорят, сумеешь расстаться с богатством девичества без слез – и жизнь без слез проживешь. И слезы лились и в то утро, когда она проснулась от шороха, долгого и прилипчивого, как всякое сновидение. Было пять утра, светало. Она увидела мужа. Тот одевался, трудно, с каким-то отстраненным сосредоточением пытался застегнуть рубашку. «Ты куда?» – спросила она его. Он давно никуда не выходил. Раздавленный инсультом, медленным и тягучим, он едва ли мог понимать, что делает. «Мне надо», – ответил он, и только она могла сложить звуки, слетевшие со скованных губ, в слова. Он надел и пиджак, и пальто, и зимнюю меховую шапку, которую так любил, непослушными пальцами запихал шнурки

в ботинки. «Куда тебе надо, Коля?» – пыталась она остановить его. Но сама понимала, что его не остановить. Была в его упрямстве какая-то необъяснимая сила, железная уверенность необходимости. Пять утра, лето на улице – лишь неразумные доводы, неразумные – потому что логика этого летнего утра была иная. Он открыл дверь, спустился, опираясь на палочку, на три этажа. Через десять минут вернулся. Сел на стул и промычал: «Все. Теперь все. Вызывай скорую». Это были его последние слова. Он умер в больнице через несколько дней. И только потом, когда рана немного затянулась, она поняла, что все это значило: он выходил прощаться с миром, который принес ему больше боли, нежели радости.

Были и другие лавки...

Лавка паровозная. В ней словно бусинки на веревочке висели поездные составы. Все до одного, которые видели ее внутри себя. И тот, что вез их из Курска в эвакуацию, застрявший на две недели во Всполье, словно ожидавший, когда они с братцем отойдут подальше, и тогда паровозный свисток, пар клубами, грохот буферов – все то, что заставляет сходить с ума мать. Тут же гирляндой висел и другой состав, теплушечный, который вез ее с такими же наивными девицами на целину, оказавшейся голой оренбургской степью, неподъемной геометрической плоскостью... За ним другой, неспешный местный поезд, шедший из Тихвина, где они тогда жили, с готовностью спотыкавшийся возле каждого пенька. В нем – стоя всю дорогу, все четыре с половиной часа. Но сначала было ожидание под упавшим на плечи Млечным Путем. Потом гудок и битком набитые вагоны. А там, четыре с половиной часа спустя, Ленинград, метро, конечная Кировско-Выборгской линии, проводы сына в армию. Едва удавалось сдерживать слезы и всякую нехорошую мысль, закрыв сердце бронированным щитом от ощущения почему-то неизбежного Афганистана и цинковых гробов. А ведь тогда не будет никаких мона лиз с пририсованными усами и тицианов, не услышит она всех этих словечек – «сюрреализм», «абстракционизм», а ну их ко псам. Да, пожалуй, самый страшный импрессионизм – это вот этот поезд, еле-еле-душа-в-теле ползущий в колыбель трех революций.

Лавка урожайная. С горами слив, лопающихся мякотью. В каждом саду на окраине Курска в саду росли сливы. Они свисали, полные, переевшие солнца, но почему-то не падали, и за ними нужно было лезть на дерево. Впрочем, мальчишки мальчишками – у них руки что ветви и ноги что сучья. А у нее лишь азарт не отставать: куда все, туда и я. Потянулась за иссиня-черной и свалилась вниз. Ветви и сучья не перехватили, не поймали. Лететь-то пару метров, но угодила в омшаник. Еще метр с лишком. Грудью оземь. Так что дух вон. И стало вдруг легко, потому что дышать было больше не нужно. И она взлетела, прямо из омшаника, как и лежала, распластавшись на дне, взлетела, глупо улыбаясь и озираясь на дебиловатые лица зависших на ветках пацанов. И сколько длилось это парение, сколько сот мыслей, кроме одной – «я лечу!» – пронеслось в ее голове за эту секунду, она не могла потом вспомнить. Дух вернулся обратно, она резко вздохнула, словно вырвала кусок воздуха. И тут же заболела грудь, загудело в ушах, и пацаны посыпались с дерева, как переспелые сливы. А через два года они с братцем сидели в этом же омшанике, а на них сыпались августовские сливы и яблоки, срезаемые осколками бомб. И почему-то было не страшно, а просто непривычно. А сливы хлюпали под ногами, и яблоки били по плечам и головам, словно издеваясь над Ньютоном. Омшаник, едва в прошлый раз не ставший могилой, спас их обоих. И яблоки, эти крупные, гладкие, крепкие плоды, так и не сумевшие сгнить за эти десятилетия, сейчас лежали в лавке рядом со сливами, горкой, ровной, словно тетраэдр из шаров трехмерного бильярда. За яблоками – фотографией таился другой плод, который она притащила в тринадцатиметровую комнату в коммуналке на Пушкина за несколько часов до Нового года. Плод болезненный, слабый, но любимый...

Последняя лавка зазывала табличкой: «Озокеритотерапия».

Суббота

В субботу был родительский день.

Когда-то Авраам родил Исаака, и Исаак поселился прямо над Авраамом – на втором этаже.

А потом Исаак родил Иакова, и Иаков поселился на третьем этаже. Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром... Иуда с братьями занял четвертый этаж, Фарес и Зара – пятый, Есром – шестой, Арам – седьмой... Дом рос и рос, словно на дрожжах.

В родительский день все спускались с верхних этажей и высот на первый, цокольный. Сыновья и дочери, внуки и внучки с приставкой «пра» и без, племянники и племянницы, внучатые и нет. И весь этот шум-гам, как убежавшая из кастрюли каша, расползался по коридорам, лез сквозь окна, втягивался в дверные проемы и простенки. Но все это происходило там, за пределами. Сюда же он не проникал: не касался занавесок в зеленую полоску, не щелкал прикроватными механизмами, не катил по мебельным поверхностям оранжевые ядра.

Поначалу казалось, что этажи сложились как-то не так, вследствие неверно заложенных подрывных зарядов, и исааки, иаковы, иуды и прочие есромы разлетелись в стороны и расползлись по всей площади цокольного этажа, и лишь сюда по явной ошибке не попал никто. Но потом эта мысль стала привычной, ошибка – закономерностью. И память собой заменяла живое.

Взять старшего братца – тощего, выжатого и скрученного войной подростка, вьющегося по стулу словно плющ по решетке. Однажды он задушил цыпленка и спрятал комочек в печке. Что в нем, в этом цыпленке, есть? Выщипать пух – так и останется лишь дух, заключенный в нелепицу костей. Или как-то он сел обедать в старой отцовской пилотке, натянутой на брови и уши. А под ней – сплошной кровавый колтун, готовый вот-вот выпустить из себя темно-красные щупальца. В яростной мальчишеской драке у кого-то в руке вдруг оказался камень...

Или она, младшая, которой война вместо игрушки подбросила дистрофию и после всунула то, что осталось от девчонки, в ремесленную шинельку, кирзовые боты и синие шерстяные носки. А потом время, словно оправдываясь за украденное детство, за срезанные осколками яблоневые ветки, за грохот зениток на ипподроме по соседству, за невесомость овсяной пыли, время потекло мимо нее, и она так и выглядела до тридцати ребенком...

А те две, что были-не были между братцем и ею? Розу не донесли из родильной залы даже до палаты, она спрыгнула с рук, сказав, что дальше сама, что за эти двадцать шагов по коридору она выпила жизнь, которую иные растягивают на десятки лет, и теперь ей осталось два шага, и ее, Розы, через два шага не стало, как не стало и плаценты с пуповиной, не стало записей в медкарте и регистрационных книгах. Как будто и не было нескольмесячного биения сердца...

А Люда? Она жила неспешней Розы, и смогла ощутить ласку не только акушерских рук, но и рук всех домашних: старшего брата, отца и бабки, соседей. И будто руки эти истерли и истончили ее за один только месяц. И через месяц жизнь ее порвалась, как перетертый шнурок...

И сын, так нелепо, нелепо... Он пришел как-то и сказал, что набедокурил. Вот так и сказал: набедокурил. Нынешние-то этого слова не знают. А он именно так и сказал, как говорила она: набедокурил. И ему надо... на время скрыться. И он скрылся в картину. Ей, конечно, – а то как же – сказал, в каком зале Эрмитажа – 221-м – она висит. Много раз она ходила и смотрела на сына. Иные ходят на кладбище, а она в Эрмитаж. Потому что в том Святом Себастьяне, проткнутом стрелами и пиками, был ее сын. Он так и остался картиной, но она верит – не навсегда. А если и навсегда – то навсегда живой. Когда захочет – вернется, соскочит с картины, вытащит из тела обломки стрел и пик и зашлепает голыми ногами по начищенному чьими-то ботами паркету, не простудится... На кладбище появилась могилка. На могильном камне – Святой Себастьян, Тицианов. Но она-то знает, что в той могиле нет ее Севы. Угрюмый следователь сказал, что под Новый год Сева перебирался с балкона на крышу в чьем-то загородном доме. Он убегал от кого-то. Поехала нога... А внизу был забор, с металлическими пиками, и они – две в живот, одна под ребра – так и вошли в него. Совсем как на картине итальянца. Так нелепо... Набедокурил.

И теперь все они здесь, в тишине, рядком на сером с золотым узором покрывале. В солнечном луче, ловят плывущие частички пыли. Как и другие фаресы и есромы. И за каждым тянулся длинный шлейф лет без них. Как пластырь, как облегчающая боль повязка. И, как капля за каплей стучится в дно кухонной раковины, бьет в височную кость вопрос: «И откуда берутся годы? И от-

куда берутся годы? И откуда берутся... Импрессионизм их забери». И где-то шумит еще волнами ковчег и находит свой Арарат. И выпускает из себя всякой твари по паре...

Пятница

В пятницу была математика. Пальцы сами собой начинали перебирать палочки для счета. Вычитать, прибавлять, снова вычитать, снова прибавлять. Занятие бессмысленное, но успокаивающее. Не дающее случиться пустоте. Ведь пятница – это пустота. Вся неделя, наполненная чем-то, вдруг в пятницу сходила словно снежная лавина и оголяла вершину. А голая вершина как голая правда – неприглядна, ущербна, некрасива. В пятницу заканчивалась эпоха, сумевшая с понедельника состариться, и пока не началась новая – и кто знает, начнется ли, – была пустота. Белые ангелы выпархивали в окна – у них завтра выходные, суббота и воскресенье. И с их отлетом все пустело. Звуки оставляли вместо себя эхо. Краски – тени. Оранжевые апельсины – кожуру. Слова, слышимые и осязаемые – превращались в буквы, плохо видимые, на стенных плакатах про артрит и остеопороз.

И потому пальцы перебирали упаковки с таблетками, маленькими и большими, разноцветными, карандаш в тетрадке выписывал, сколько их было-стало – желтых или красных, в пять по два или в три по пять. И в этой строгой математической сущности – бессмысленной, но упорядочивающей хаос – была жизнь. Как в тех палочках для счета, сложенных в синюю продолговатую коробочку с дырочками. Они извлекались на уроке арифметики, и пальцы вот так же перекладывали их из одной кучки в другую. И учительница сердилась: ну что за бестолковое дитя, не может понять, что три – это три палочки, а два – это две. Велика сложность понять, не неперовы же, в конце концов, палочки! А она все понимала. Просто палочки были такие красивые, и никак было невозможно остановиться, хотя два – это два, а три – это три. И непременно в одной кучке оказывались все – десять красных и десять белых, – а потом они же убывали из кучки... А учительница, сердито сопя, выхватывала палочки у нее из рук и раскладывала их правильно, согласно законам арифметики, по которым дважды два четыре, а четырежды три двенадцать. И старший брат – братец, как она его всегда называла, – худой как травинка, длинный, со впалыми щеками и боками, видя, как мучается с математикой сестра, предлагал, с непременным голодным блеском в глазах, но напуская на себя туман безразличия: мол, если хочешь, то помогу. И она, не видя даже, а чувствуя этот голодный блеск, будто был он материален и царапал, как сломанный ноготь, она отдавала ему половину хлебного пайка. Хотя решить-то могла, если бы посидела подольше, и сама. Видимо, голод ее не брал так крепко за горло, как брата. Или просто потому что согласно женской доле она лучше могла терпеть, сносить, пережидать, сжавшись в комок... И брат щелкал задачи как орешки, а сам грыз хлебную горбушку. Четырежды три – двенадцать. Четырежды три – сорок третий год. А были еще – четырежды восемь и четырежды девять, когда закончилось ремесленное училище и начался завод. Были пятью три, когда что-то изменилось в стране. Было и пятью четыре, когда брат вернулся из армии, из далекого Салехарда, где после зимы и зеков начинались снова зима и зеки. Были и другие «пятью» и «шестью». Но были потом. И в шестью шесть была свадьба и рождение сына. А в семью два – переезд сначала в Выползово, а затем в Тихвин в поисках лучшей доли: квартиры, работы... Было и восемью восемь, когда муж растворился на больничной койке, а сын уехал учиться в большой город. Будет потом и девятью девять, и что там за ним – это тоже будет. С неизбежностью времени, которое создано из материи прошлого, из бумажных волокон отрывного календаря, продававшегося в воскресной лавке с вывеской «Календари». С продавщицей, напоминавшей учительницу арифметики.

«У нас всякие есть, – будто отчитывая нерадивую ученицу, говорила она. – Отрывные листочки календарей. Более тридцати тысяч. Всякие: на вкус и цвет, красные и черные, с коротким и длинным световым днем, с советами по домоводству и майяведению, с анекдотами про капиталистический мир и шахматными задачами».

Какой из них взять – тут разве угадаешь, они ведь, календарные листочки, как лотерейные билеты, какой из них выигрышный, какой счастливый, разве поймешь. И не жди подсказки. Арифметическая продавщица отводит взгляд в потолок: какой же бестолковый ребенок!

Вот так кинешь копеечку и, закрыв глаза, вытащишь наугад из вороха, думаешь – обязательно счастливый! А день окажется 22 июня, воскресеньем. А другой за ту же копеечку – принесет на порог свидетелей Иеговы с вечным вопросом «Хотите узнать, как достичь жизни вечной?» – «Я эту-то не знаю, как дожить, пошто мне ваша вечная? Идите ко псам!» А иной – звонок в заводоуправление: сын вернулся из армии. И тут и радость, и разбитая коленка, потому что побежала, выскочила из цеха прямо со штангенциркулем в руках, споткнулась на бетонке и полетела. И летела – ведь не думала, что летит, а уж тем более не думала о разбитой коленке – лишь бы поскорее домой, обнять, прижать... А другой листок – по счету между четвертой сотней и шестой – принес менингит, но обошлось, и прежде всего обошлось для доктора, который, сняв чеховское пенсне и устало потерев глаза, сказал: «Идите, мамаша, домой. Нежилец. Ее уже не выходишь». Однако мамаша выходила, ваннами с морской солью и материнской любовью, и скорее последним, нежели первым, и докторское пенсне упало с носа, а фонендоскоп затрепыхался на груди от удара кулака по столу: «Вы мне, мамаша, другого ребенка принесли, как вам не стыдно обманывать!» Или еще один календарный листок, из десятой тысячи, принес майский вечер, двор дома на улице Пушкина, и она уже различала в потемках прямоугольник двери подъезда, как с детской площадки на нее налетел какой-то парень. И там, где в темноте лезла в небеса горка, а к земле жалась песочница, он и повалил ее. Помощи ждать было неоткуда, а она почему-то думала: жаль плащ, белый, только что выстиранный, извазюкается. И, может, плащ этот придал уверенности, а может, что иное, но вдруг она, когда плащ скинул пуговицы, спокойно сказала: «Дурак ты, дурак. У меня отец прокурор». – «Да и черт с ним», – буркнул парень, запал у него пропал. – «Сразу бы сказала», – добавил, вытирая рукавом ее плаща брюки. Кажется, это потом использовали в каком-то фильме...

В конце концов не останется цифр, готовых перемножиться друг на друге... Листы падали, выстилая днями пол. И арифметичка таяла, и вывеска лавки блекла. Цифры сложенные в бесконечные числа редели. Откуда берутся годы? Откуда берутся годы?.. Импрессионизм их забери. И он забирал. Забирал время. Сначала пропали годы, они смазались в один, едва различимый, как мост Ватерлоо на полотне Клода Моне. Потом пропали-смазались дни-числа и остались только времена года: зима, лето, весна, осень. Да и то, говоря «позавчера была весна и вчера весна», не всегда можно было быть уверенным в том, что это одна и та же весна. Смазались и минуты с часами, секунды и их доли, превратившись в тесто бессонья. И пока оставались только – впрочем, отчаянно путаясь, – пятницы-пустоты, понедельники-ангелы, среды-осени, субботы-есромы, четверги-как-твороги, воскресенья-путешественники, вторники-телевизоры. Но когда-нибудь и они смажутся. Сольются в одно – и скорее всего это будет пятница. С пустой коробочкой из-под таблеток. Пятница-пустота...

Юрий ГУДУМАК

ГРАНИЦА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Граница Центральной Азии

Центральная Азия – величина, обратно
пропорциональная степени децентрализации
стремившихся проникнуть в нее империй.
Потому-то, в тысячу первый раз, как в первый,
не то чтобы расстояния были здесь бесконечны –
бесконечна их трата.

Это может выглядеть: *a*)
как полуразрушенная под действием
пространственного врага
(в каком-то смысле, он же – враг временной)
китайская фа́нза;
b) монгольский глаз;
c) европейский, заменивший рессору на жердь,
грохочущий тарантас.

В таком Чихачев спустился с осенне-зимних
предгорий Алтая на юг, к Иртышу.
И увидел (это как) рдеющий ягодами кизильник,
цветки астрагала, похожие на застывший взмах
мотыльковых крыльев... – подобно тому как осень
бывает похожа на голостебельный мак,
сугробы снега – на массы чистого кварца.

Юрий Гудумак родился в 1964 году в селе Яблона Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор поэтических книг «Метафизические гимны» (1995), «Принцип пейзажа. Пролегомены» (1997), «Почтамтская кругосветка вспугнутой бабочки» (1999), «Дельфиниумы, анемоны и т. д.» (2004), «Песнь чибиса» (2008), «Разновидность солнца» (2012), «Дифирамб весне (bis)» (2017). Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи переводились на английский и румынский языки. Публикации: TextOnly, «Литературa», «Новая реальность», «Воздух», «Зинзивер», «Дети Ра», «Новая юность», «Новый берег» и др. В «Волге» публиковался поэтический цикл «Камчатская геральдика» (2015, № 9-10).

Очерк антропологии

Современный уровень наших знаний в этой области
прекрасно
суммирован уже путешественниками позапрошлого века.
Тем же Потаниным, описывавшим пространства
Центральной Азии.
И действительно: имея в виду предшествующий фон
истории, *Сухое море* китайцев,
песок, окатанный древним прибоем волн,
с тех пор, по сути, мало что изменилось –
как третичная, стареющая на сутки,
раковина беззубки.
И с планктонной сеткой в руках можно ловить репейниц.

Какое на этом фоне претерпел изменение европеец,
потом – его тлетворная эманация, если угодно –
отношенье бумажной кредитки к серебряному рублю?
Вероятно, то же.
В первую очередь изменяется цвет, или оттенок, кожи,
затем стираются характерные признаки черт лица
и лишь под конец затрагивается язык.
Наибольшей инерцией обладает,
подобно немым графемам тибетской орфографии,
нечитаемое «люблю».

Harpyia Przewalskii: сон лепидоптеролога Алфераки

Кульджа́
есть рай лепидоптеролога.
Но и здесь настоящая коллекция бабочек
начинается с комнатной моли.
Лишь после этого можно думать
об *аполлоне* или о *дискоболе*,
оба – из рода *Parnassius*.
Последний, однако, наводит на мысль
о конической пуле, пущенной из ружья.

В долине реки Или́
еще слишком много касаток
и других насекомоядных птиц,
но чем дальше в горы, где врагами бабочек
являются разве что мухи – сравнимые с хищниками ктыри́,
разнообразие форм и количество неделимых чешуекрылых
возрастает настолько, что лепидоптеролог – если не лирик,
то, судя по их названиям, эллинист.
Обреченный на неуспех
последователь Александра.

Большая восточная форма европейского вида
все более и более принимает характер
удивительного уклонения от североиндийского,
парящего, как сильфида,
и не дающего ближе с ней ознакомиться.
И, чтобы не ошибиться, предположив
в ней новую *гарпию*, Алфераки, сам, разумеется, полужив-
полумертв от увиденного, наполовину грек,
посвящает ее покойному Пржевальскому.
Но будет это не ранее послезавтра.

Осенние виды Тянь-Шаня

Окаменевшие зерна
пыльцы… В которых, поди, и скрыта
ботаническая физиономия осенних видов Тянь-Шаня,
его высокого сырта.
Возможно – просто суглинок, песок, дресва,
на которых злаки росли рассеянными пучками,
а другие – былинками, не образуя сплошного дерна.
Солнце-пятиалтынник.
Плюс чрезвычайная сухость воздуха. И они же делают так,
что выпавший за ночь снег, при чувствительных холодах,
не тает, а испаряется –
точно краски, ложащиеся на бумагу
цветными льдинками, которые тотчас сохнут.

Северцову, самому-то себе,
удалось объяснить это с помощью кисти –
с одного, по пословице, маху.
Собрать на огонь из местных полынок,
растопить в чашке снег,
приблизиться качеством к акварелям.
А потом… оттаивать краски одним лишь своим дыханьем –
равносильным процессу, открытому Лавуазье,
согласно которому, в общем, все мы так ведь и догораем,
посредством соединения с кислородом, вернее – тлеем.

Alpenglühen: Мерцанье Альп

Да,
в числе прочих заслуг Семенова новооткрытый им
тянь-шаньский ледник. Точнее сказать – цвет льда.
Лед его трещин не голубой, как в европейских ледниках,
не такой, как в Альпах,
а зеленый,
уподобляющийся цвету лучших забайкальских бериллов.
Настолько – насколько оттенки льда бесспорный вопрос,
как его же запах.

При всем при том, что некоторые арабские географы
Голубой Нил называли Зеленым Нилом
и что персидские поэты нередко называли небо зеленым,
а берилл – голубым,
неоднократно описываемый эффект
Семеновым в особенности любим:
пылающее рубиновыми цветами
настоящее *Alpenglühen** [*Мерцанье Альп],
в каковое превращается этот полу-
зеленый или зеленый лед в лучах
не видного уже из долины солнца –
еще недавно казавшегося пониклым
золотым цветком горицвета! И каковым
(*Alpenglühen*) его мы поныне видим
с пастбищ баранов Марко Поло.

Осенний маршрут Певцова

Расстоянье туда,
преувеличивавшееся старинными китайскими картами,
теоретически могла бы сократить астрономическая труба,
если бы не частые пыльные бури.
Барометрический максимум, совпадающий там зимой,
собственно, с центром Азии, представлял бы уже собой
относительное затишье. Но потом еще несколько суток
сверху сыпятся мелкие, точно мак,
земляные шарики, сквозь густую мглу едва пробивается –
предположительно в виде луча Куньлуня –
Золотой хребет Алтынтаг.
Но сложнейший его рисунок,
всю орографию, приходится лишь домысливать.
Как Певцову – в роли аэронавта.

Больше того, это невероятно:
параллельно солнце кажется неким тусклым,
на который можно смотреть без ощущения боли,
бледно-фиолетовым диском,
астрономическим захолустьем.

Обратная сторона Луны

Местность, почти лишенная жизни.
Исключительная оригинальность коей заключается в том,
что и здесь, несмотря на ее совершенно лунную
физиономию, осень – лучшее время года.
Труп богомольца-монгола,
не успев превратиться в мумию,

чему должны бы благоприятствовать разреженность
воздуха, засушливая погода,
назавтра уже объеден грифами и волками.
Дресва и песок, песок и камни.
Гнезда каменных голубей.
Ничего, естественно, хоть убей,
не слышно. И, сдается, цикады – единственные певуны
этой, считай, луны.

Абсолютного отсутствия человека
в этой части Тибета нет – несмотря на отсутствие
примет человеческого жилья.
Но и это не меньшей редкости экземпляр,
чем стрела-змея.
Позади уже были пыльные бури Джунгарии,
Восточное Притяньшанье,
страшная пустыня Хамийская, Наньшаньские осыпи
и ледник, беспрерывные беды и беды
и тягости перехода через Цайдам...
за которым – полнейшая *terra incognita*;
как будет позднее понято –
в подробностях топографии менее известная,
чем видимая поверхность спутника нашей планеты.
Сколько кажется, спутником Пржевальского
было счастье.

Kozlowia roborowskii

Систему
путешествия, благодаря которой
достигается не линейное исследование страны,
а площадно́е,
неслучайно с успехом применили именно здесь.
Разделившись, двое
зачастую, однако, видят одно и то же:
горизонт, расстилающийся каменисто-песчаной степью.
Козлов, вероятно, видит то же, что Роборовский:
метаморфический, подтощавший к осени,
бурый с розовым, хрящеватый остов,
безлиственные, прирастающие на кубик, сростки
соли на мертвом пучке полыни,
участки спекшейся глины.

В совершенном согласии с тем,
на что каждый себя обрек, –
нечто настолько бесконечно-однообразное,
что на мгновение кажется:
маршрутные глазомерные съемки
обоих сомкнулись: *Kozlowia roborowskii* –
красный отибетившийся вьюрок.

Лимологическое уравнение

Хорошая естественная граница,
каковая в Европе давно стала бы политической,
представляется совершенно негодной для этой цели
в Центральной Азии.
Во всяком случае – не больше, чем степь для монгола,
горы – для дикокаменного киргиза.

Не говоря уже о таком явлении, как мираж:
стрела-змея будто плывет по воздуху, не касаясь
брюшком песка, и Федченко видит вдали оазис.

Но кумыс
прогорк. Муравьиный лев,
крышевидно сложивший крылья, не обнаруживает
ничего общего с британской геральдической фауной.
И золоченая, оброненная кем-то
пуговица –
не самим ли Федченко? – он не может поверить в это, –
похожа на выпуклый, силящийся одолеть рельеф,
двуглавый смысл.

География дали

Пространства обширных низменностей, маловыпуклых
плоскогорий, окруженных рядами нагих хребтов,
утесистых гребней и диких расщелин...
Многоразличное распределение поверхности,
над которой возвышается один лишь полярный череп.
Изгибаясь, позвоночный столб
образует побочную ветвь материка,
переходящую в островные четки:
очертания их еще очень расплывчаты и нечетки.
Для этого Риттеру предстояло придвинуть Азию
к европейскому горизонту. Ближе,
чем это сделал Ермак, перейдя Урал.

...В окне берлинской квартиры медленно догорал
закат. На столе – крепко сваренный кофе. Рядом с ним –
дорогой *Berghaus*
Atlas – знаменитое дополнение к *Космосу* Гумбольдта,
на которое Риттер, естественно, не мог не ответить,
создав еще один анти-хаос:
огромной малоизученной Азии – свою географию «дали»,
в которую ему не суждено было прийти.
Гора, завидев человека за сутки пути, глотает его
за полсуток пути.

Валерия МАКАРОВА

ВЗБРЫК

Рассказ

Поля, заросшие люцерной, скоро останутся позади. Мы решили так по верной примете цивилизаций: покой здесь стерегут высоченные бетонные столбы, по линиям которых бежит электричество к далёким деревням. К деревням, которых – как сказал Арсений, – слава богатым, не видно пока на горизонте.

Он присвистнул и закрыл лицо исцарапанными руками – руки пахнут пылью и тимьяном, он же чабрец, он же богородская травка.

– Какого чёрта Богородице до травки, она что, курила? – спрашивает он с досадой.

– Чуяла, дурак, и тебя тоже, – сажусь рядом с ним на землю: сел и потерялся. – Что это там у тебя?

– Приёмник.

– Радио стащил?

– Он сам отдал, говорит, не работает. Вы молодые, может, подкрутите чего.

– Это тебе подкрутить чего. Опять, что ли, захотелось?

– Иди ты к чёрту, заколебал уже тебе повторять: условно!..

И тут я тоже распалился: срок – условно, преступление – условно, и жизнь, может, тоже условная?.. пунктиром, вот прямо посреди этих полей.

– Иди ты к чёрту, говорю.

– Сам иди, тебе ближе.

– Иди же, говорю, к чо...

– А это дальше Зареченского? – не устоял я и ткнул его локтем в рёбра.

Около двух часов назад мы убежали из Зареченского под лай собак, которых на нас (радио резко взвизгивает – включилось) натравил один доброжелатель. Шкркр шкрррр шкр шкркр кр кр – слушай, выключи, ничего не разобрать – шкр кр шкркр кр кр – выключи же, одни помехи!..

– А ты случайно... – вдруг догадываюсь, – мой навигатор на это радио идиотское не выменял?

– Какая, брат, разница?

Арсений достаёт из кармана самокрутку, старикову, из последнего дома. Только он закуривает, как радио начинает говорить чудесным голосом.

таким образом обстоят дела
развитые страны не помогут
им подняться с колен

Диктор – о прекрасной далёкой Бирме, заполненной ароматным цветом... Вокруг томно покачиваются жёлтые цветы люцерны, сочно пахнет богородской травкой. Арсений успел нарвать цветов и скрутить из них венок. В показном экстазе он заваливается на бок и подставляет полу-

---

Валерия Макарова родилась в г. Саранске в 1993 году. Закончила Литинститут им. А. М. Горького. В «Волге» публиковался рассказ «Мишенька» (2015, № 11-12).

денному солнцу некрасивую щёку: «Ян, полечу-ка я в Бирму... Представь, построил бы там шалаш, стал буддийским монахом... и в следующий раз не переродился».

– Ты закончишь свои дни в психушке из листьев гуавы. Вот скажи мне, как мы без навигатора, бестолочь? Куда идти?

– Бес-толочь – а хорошо! Куда идти? Да наобум.

На том свете

Нас довёз до Ивановки мой троюродный брат Сашка, которого я ненавидела и ненавижу всей душой. <...>

Когда мы проезжали мимо ивановского кладбища, моя крёстная мать, старше меня на десять лет, попросила Сашку:

– Посигналь ему, пусть знает, что мы едем.

– Вижу его, – сказала бабушка.

За голубыми деревянными крестами я еле разглядела каменную плиту и живой венок из разросшегося можжевельника.

Мы проехали кладбище за пару секунд, а он всё сигналил.

<сигналил, сигналил и сигналил>

И в эту минуту не было мне ближе и любимее человека, чем Сашка.

В стеклянных наростах льда был наш старый ивановский дом. Его занесло снегом до самых окон, и тонкие стёкла в них дрожали, как слюдяные. Мы загребали снег, пытаясь откопать дверь, и всё не находили её – дом был огромным: после войны здесь жили все бабушкины сёстры и братья – восемь человек, а теперь – одна сестра, четырежды вдова за свой век.

– Дедая где вы своего оставили, аль в больнице лежит? – спросила заждавшаяся нас Баба Ада.

Я захожу в комнату и натыкаюсь на трюмо: оно разрезает комнату на части – троит меня, троит строгие лики красного угла, подушки на кроватях, насаженные друг на друга, – только потом, в глубине зеркала, троится и лицо Бабы Ады, – поворачиваю голову – она у двери, в кресле сидит, а я её и не заметила.

– В морге оставили, – отмахнулась крёстная и бросила на кровать свёрток свежевыстиранного белья, завёрнутого в простыню; глаженое, проветренное, крепко пахнущее улицей. Бабушка развязывает узел, достаёт стопку наволочек и подносит её к Аде, та нюхает простыни и мурлычет:

– Вкусно... вкус-но... но... вкус...

Ничем вкусным, кроме мороза, старые истёртые наволочки давно не пахнут.

– Долго полоскала в холодной воде, чтобы свежие были.

Глаза Ады кажутся довольными, они начинают таять; какие же они у неё – бесцветные, недвигающиеся. Она и сама почти полгода не двигается, встаёт редко: умыться или натопить снега и из талой воды сварить жидкой похлёбки. До Ивановки дошло электричество, но не вода; наш колодец давно прибрал к рукам сосед, преподаватель философии в городском университете, – его не переспорить.

...Я медленно иду по главной комнате, как бы здороваясь с ней, заново привыкая к тоскливому скрипу половиц и похоронным фотокарточкам родственников, висящих на стенах. Спугиваю диких кошек, они ныряют под кровати, выглядывают оттуда недоверчиво. Родились на чердаке в зиму и, не зная человеческой ласки, шипят на всех, из укрытий выбегают редко, только чтобы своровать со стола килечку. Мне всё хочется поймать их и приручить, но не могу, очень уж шустрые, и у всех на личиках какая-то удивительная обаятельность. Это потому что с людьми дел не имеют, как-то сказала Баба Ада.

– Пододеяльник с покрывалом сняла, махоркой больно уж пропахли, – говорит бабушка, сворачивая зелёный кусок материи. – К тебе особе, значит, приезжали выбирать? И за кого голосовала?

– За Сталина.

– Че-го?.. Да-а, сиди уж, помалкивай! За Сталина, смешно прям.

*

Сашка уехал в город и пообещал вернуться через три часа. Когда шёл второй – мыли полы, в окно постучался какой-то старик и жестами стал показывать, чтоб его впустили.

– Заходи, Байгуш Иваныч, – крикнула бабушка в форточку, – открыто у нас. Голосовал?

– Работал я, – отвечал старик уже из сеней, оббивая валенки от снега. – Там за меня и так проголосовали, поставили галочку.

Старик заходит на кухню, принося с собой студёный воздух, и сразу садится за стол, но даже глазами порыскать не на что особо. В голубом свете стоит на столе вазочка с красными голландскими яблоками – из города привезли, и никто не ест, потому что невкусные.

– Вина тебе, Байгуш Иваныч, – беспокоится бабушка, – в честь праздника налить?

– Это в честь какого?

– Как это – выборы прошли, и то хорошо. Чем не праздник?

Старик молчит. Бабушка идёт к серванту, где пылится какая-то давняя бутылка, пустая.

– Кагор вот... закончился... и как... как ему угораздило кончиться... э, чёрт... Кто мог выпить? А я вот недавно подглядела, что священник в алтаре делал. После этого и кагор пить не захочется. Он жадно ел просвирки и запивал вином из кубка, из которого потом на причастии дают.

– Давно я в них не верю, в попов этих, – шепчет Ада, она незаметно вошла на кухню, – и никому не верю больше.

– Может, в магазин сходишь? – обращается бабушка ко мне. – Старику налить нечего.

– Никто ей не продаст здесь, – это уже крёстная, – слишком молодо выглядит.

– Идите обе тогда, да-да, идите, а мы тут поговорим. И молока тогда купите, – просит Ада.

Живёт в деревне, а молоко в магазине покупает, городское, из порошка.

Я собираюсь по-деревенски: надеваю старое драное пальто, некогда принадлежащее одному из мужей Ады, валенки натягиваю на шерстяной носок и заматываюсь пуховым платком. Крёстная смеётся надо мной: ну ты и пугало, моя хорошая; подцепляет меня за руку и выводит на белую улицу, от белизны которой начинает резать в глазах.

Такая тишь в Ивановке, что снег под ногой хрустит неприлично громко. Такая тишь, что и не веришь, что люди есть на свете, – только далеко гудит что-то, далеко и так гулко, что кажется, это сама тишина сгустилась и громадными бусинами лениво скатывается со склонов.

На сугробах рыбьими рёбрышками лежат отпечатки автомобильных шин и мелкие галочки птичьих следов. Мы идём, своими шагами стирая эту клинопись. Мы сами как птицы, дурачимся беззаботно и смеёмся, кидая друг в друга снежки. Когда же доходим до отшиба, где стоит ивановский магазинчик, то замолкаем – обед, – и я спрашиваю:

– Пойдём тогда к нему, пойдём?..

Солнце ярко освещает снега и кладбище, горящее голубым огнём: у нас так принято – выкрашивать кресты ярко-голубой краской, под цвет неба в солнечные дни; в такие дни кладбище с небом сливается.

– Давай я закрою глаза, – прошу, – а ты веди меня, хорошо?

Крёстная берёт меня за руку, как в нашем детстве, и я иду по нетронутому снегу, под веками и закрытыми всё равно бело́; крепче сжимаю руку её, словно на пути может попасться яма, и я упаду в черноту, исчезну из холодной солнечной Ивановки. Идти бы так всю жизнь: зная, что вокруг солнце, идти и идти, и чтобы конец тоже *так* наступил.

– Мне сон про тебя ведь приснился, – говорит крёстная. – Хочешь, расскажу?.. Много маленьких кошек. Запрыгивают мне на руки, усаживаются. Их шерсть цвета твоих волос. Я уношу их из пустого дома. Ах да, это здесь, в Ивановке, где больше никого нет. Привези сюда, говорю тебе, своего жениха, мужа – кто там у тебя... Живите, отстройте дом, почини́те крышу. Несу кошек, иду по пустырю к часовенке. Там идёт служба и стоит горячий церковный дух. Кошки прыгают на пол и переворачиваются в людей, они становятся на колени и молятся. Все, кто есть, в изумлении смотрят на них. А потом достают из-за пазухи мясо и бросают людям-кошкам. Те с вожделением смотрели на мясо, еле сдерживались. Молитвы их становятся отчаяннее. И я тогда кричу людям: так же нельзя, нельзя же так! И всё, проснулась. Вот это да... И как же здесь пройти? – вдруг останавливается она.

Я открываю глаза: впереди ледяная дорожка ручья, а подо льдом пузырится вода. Крёстная решается первая, смеясь над моими тяжёлыми валенками:

– Смотри – провалишься, утонешь! – а потом оборачивается испуганно... – А давай не пойдём?

Она смотрит туда, где два могильщика ширят квадратик могилы.

– Что, хоронят?

– Нет, пока только выкапывают могилу. Просто пройдём мимо, да?

Я иду за Крёстной, и когда доходим до них, боюсь посмотреть, словно они могут заразить нас одним только взглядом. Замечаю, что оба они молоды и какие-то неправильные: слишком задорно, неистово разрывают они железную мартовскую землю. Мы идём дальше, туда, где снега столько, что кресты не полностью видны – перекладины и макушки, да поблёскивают стеклом горлышки бутылок и рюмочек на поминальных столиках.

– А теперь я одна пойду, – говорит крёстная, – ты утонешь, не достану ведь.

– А в твоём сне, где я там была?

– Ты... Ты была в кошечках, в людях – во всём.

Я останавливаюсь, снег подо мной проминается, уходит вниз, где ещё глубоко до земли и, может, стоит остриём прут какой-нибудь ограды. Крёстная же легко идёт к каменной плите, к можжевельнику. Слышу, как она здоровается с братом. Расчищает плиту от снега – и на нас смотрит его молодое лицо. Я хочу идти следом, но проваливаюсь и купаюсь в снегу, пытаясь вылезти. Снег забивается в валенки и жжёт, кусает сквозь носки.

На обратном пути, как только мы подходим к могильщикам, они нагло, по-городскому улыбаясь, просят:

– Помогите хоть, девчонки, неужели опять мимо?

Смеются и переглядываются, наверное, давние друзья.

– Чем помочь? – нечаянно срывается у меня, я оглядываюсь на них, впиваюсь в их лица, внутренне раскаиваясь – заразят... Какие они, с ума сойти, таких на кладбище обычно приносят. Разбитых на мотоцикле. На что сдалась им эта несчастная Ивановка, где ещё десятерых стариков перехоронить – и нет деревни? Улыбаются.

– Где у вас тут магазин? Замёрзли!

Крёстная показывает в сторону отшиба:

– Вон за тем домом, но было закрыто на обед, мы оттуда. Сейчас, может, открыли. А кто умер?

– Не знаем, не наше дело.

На большой дороге слышим, как нас кто-то догоняет. Кричит один из могильщиков:

– Эй, погодите, который дом?

– Вон тот, зелёный, и крыльцо молнией пополам разбито. Так кто умер, наверняка ведь слышали?

– Из Юсуповки кто-то. Мы здесь впервые, из города, от «Чёрного ангела».

– Хотя бы женщина или мужчина?

– Мужчина вроде бы.

*

– Федяка юсуповский умер, – говорит нам Ада. – Таисия забегала, сказала, что два дня как.

– А где Байгуш Иваныч?

– Не дождался вас, не знай, где ходите. На том свете, небось, были.

Пока нас не было, приехал и Сашка. Бабушка заставила его дойти до чужого колодца на краю Ивановки и попросить воды, теперь вот тащит флягу: это только потому, что ты больна, а так бы не понёс, сучья ты дочь, не понёс бы ни за что.

Уже в машине бабушка говорит:

– Этот Федяка, когда Ада молодой была, всё в женихи к ней набивался, а она прочь его гнала. Теперь вот сам ушёл.

Проезжаем кладбище, дядя смотрит на нас издали, бабушка отворачивается:

– Я вот больше не верю... и Ада не верит.

– Ты чего, мать? – пытается улыбнуться крёстная.

– Верю-верю, куда ж деваться. Молчу.

Бабушка берёт меня за руку и прикладывает её к своей влажной щеке.

Родство

Были мы двоюродными братьями или, как понеслось с той минуты, когда Арсений запнулся, представляя меня местной хулиганье, – два юродивых брата. Школа № 38, задний двор. Выменниваем краденные у деда сигареты – вот уж точно юродивые – на трёпаные открытки, которые эти мальчишки так же воровали у своих. Однажды они принесли обломок лошадиной челюсти и, божась, что это человеческая, сплавили нам её за целый блок.

Дед вечерами стрекотал на стеклорежущем станке, и после школы для нас этот звук был чем-то вроде спасительного горна. Быть с дедом, играть с ним в карты, ужинать вместе, не делать уроков и остаться заночевать. Уляжемся вдвоём с братом на одну кровать – и рады... правда, потом Арсений всё-таки вытребовал себе отдельную раскладушку; не спим до утра, всё перешёптываем – найденные археологами берестяные грамоты, а потом и всех школьных девиц, по очереди.

Но постсоветская депрессия родителей Арсения закончилась, они разбогатели, и всё реже ссылали его к деду. Отдали его в языковой лицей, вскоре – в Москву, в лингвистический институт... а там он сам занялся баловством и распространением конфеток, а это уже не очень-то весело. «Хэлло, Китти», «супермены», «тюльпаны» – он их хранил в банке из-под мармеладок. Время по его часам 4/20. С утра до вечера 4/20. Когда он вернулся, дедушки уже не стало. На полках, на столе – всюду стояли его крохотные стеклянные фигурки, особенно много солдатиков, целый полк, который был разбит, мало чего тогда уцелело.

В тот год я окончил истфак и собирался ехать руководителем археологической группы на раскопки древнего дославянского города. Помню день, месяц спустя после выпускного, как в тот день звонили трижды. Первый раз кто-то ошибся. Второй раз кто-то ошибся фатальнее. Нам жаль, но проект финансироваться не будет, неактуально. Тех, кто звонил в третий раз, я уже не

слышал. Увлеки его, пусть хоть землю копает, пусть наяривает, вытяни его, Ян, вытяни. И я отвечал, и я был согласен, и я был.

Я открыл глаза и увидел перед собой ослепительно чёрного араба. Не сразу я признал в нём Арсения: он сидел против полуденного солнца, оно дышало ему в затылок и очерчивало сиянием голову в венке, как святых очерчивают нимбом. Я онемел, впечатлённый и всё ещё не признающий его. А потом Арсений заметил, что я не сплю, нарушил освещение, повернулся, щёлкнул радио.

– Уснул, что ли?

– Задремал. Я не разговаривал?

– Молчал как партизан.

– Мне дедушка виделся. А почему мы не идём?

– Так ты же спишь, – и тихо, с особенным отчаянием... – одни помехи.

– Я не сплю. Хватит греться, пошли давай.

до Кувейта – шкр шкр –
улететь самолётами
авиалиний...
шкррр

– Слышал, Ян? До Кувейта!.. Нам бы хотя бы до Арзамаса.

– Вставай, говорю. По памяти, через это поле должна появиться какая-то деревня. Пойдём наискосок, идти вдоль линий выйдет дольше.

Арсений встаёт покорно, но нехотя. Я оглядываюсь на жёлтое поле и бетонный столб, на нём – появилась или не заметил? – выцарапанная надпись. Мы здесь были.

Были... Электрические столбы, а даже дороги никакой рядом нет, словно давно всё заброшено и забыто людьми.

Мы шли молча, как бы одурманенные непрекращающимся жёлтым цветом и широтой горизонтов, только шум радио не смолкал – и я был не против, – не хотелось остаться в полной тишине. Чем дальше мы отходили от бетонного столба, тем больше простора нам открывалось, и это поначалу было прекрасным.

Кеды натёрли ноги до крови, руки обгорели, а солнце всё не переставало, хотелось пить. Поля люцерны – вот что странно – тоже не переставали, не заканчивались, даже не уминались; там, где мы проходили, люцерна поднималась вновь, не оставляя нашего следа.

Я всё думал: мне привиделась Ольга, но зачем ей приходить ко мне, смотреть на всё моими глазами, говорить моим голосом. Полтора года не видел её, Арсений – совсем недавно...

– Аррр, – шум радио сливается с моим голосом, я начинаю громче, – помнишь, как мы в первый раз ходили – шкр шкр – копать?

– Если честно, как в тумане. Здорово мы тогда на... – шкр шкр – а вот второй – гораздо лучше помню.

– Ну ещё бы, все остатки в том магазине скупили, – и тут я вовремя заткнулся, увёл его первым, что в голову пришло... – А помнишь, как яблоню сажали с дедом?

Он посмотрел на меня недоуменно, а потом ответил, конечно, он это помнил.

...Второе копание, ровно через год, который Арсений отбывал условно, люди осудили его. На раскопки мне не давали добро: неактуально, финансирования не будет, ищите остатки древнерусских городов, зачем дославянских, зачем так глубоко. После срока Арсению только разнорабочим дорога была. И он сам предложил мне вернуться в агентство к «Чёрному ангелу». Снова начало

марта и... как там её... Александровка, Юсуповка, Голицыно? Не помню уже, все они там рядом. Вся земля российская поделена между этими Юсуповыми, Голицыными... Хотя кого я обманываю, самая обычная Ивановка это была – разве забудешь.

– Я дурачился, – вспоминал Арсений яблоню. – Не со зла, понимаешь. Я так никогда и не спросил: сильно больно было? Ты сидел весь такой красный и молчал. Дед хотел меня отпороть. Ну, так как, сильно больно было?

Я засмеялся – вот так дуралей, лопатой меня тогда – и не больно?

– Нет, не очень.

– Мне смешно было, я дурачился... – твердил он, – я не со зла. Понимаешь, не со зла.

...На похоронах нам встретилась Ольга. Я её сначала не узнал, а Арсений – сразу же. Там, в том марте, она всё так же и стоит: некрасивая, в чёрном. Раскосая она чуть-чуть, где-то глубоко в неё вплетена татарва, а она и не знает. Должно быть, – почему-то подумалось мне тогда, – у неё тонкие щиколотки, у такой наверняка маленькие хрупенькие ножки. Когда она взяла горсть земли, я нарочно пригляделся к её руке и увидел ободок кольца на безымянном. Мы с Арсением переглянулись, и уже тогда я по глазам его понял: плохо дело.

– Тогда было смешно, а теперь страшно, Ян.

Арсений посмотрел на меня мутными глазами, отвернулся и быстрым шагом – я почувствовал: сквозь боль в ноге – пошёл вперёд.

– Скоро дойдём. Тебе идти тяжело... ты это... прости и меня, что я тебя так...

– Ты же понимаешь, я не про то совсем.

...В конце марта его вызвали в Москву по делу о конфетках, а оттуда он поехал куда-то ещё, к ней, конечно.

Пять месяцев назад, в конце апреля, мы перестали быть служителями «Чёрного ангела», мы верили, что это так. Арсений был на взводе. Что, хватит, да? А как же тогда тебе дело с землёй иметь? А давай снова её на ать? – пахать. А что?.. За это хотя бы дать могут, это не могильные метр на полтора, участки большие!

По виртуальным картам мы прошерстили ближайшие области и поехали по деревням, где ещё верили в человеческий труд. Нет, бабушка, не за бутылку. Нет, тётенька, нам не нужно самогону. Нет, дедушка, не наливай сто грамм.

Сначала всё шло, нам платили, да ещё и кормили. Я собирал артефакты не столь давней, но истории – документы, открытки, письма, которые готовы были пойти в утиль. Арсений понял, ради чего мы здесь и, кажется, даже обиделся на меня тогда.

А потом нас невзлюбили, как не любят проповедников. В каждую деревню, куда мы шли, весть об этом доходила вперёд нас, и местная алкашня начинала против нас бунт, потому что земля – это их промысел. За бутылку они копали до остервенения. Арсений передразнивал их... Мы пшеницу пьём и мы для пшеницы землю вспахиваем – пошли вон. Ярость овладевала им, и он норовил кого-нибудь изукрасить: и хотя был всегда худ и на вид даже слаб, такая сила вливалась в него в эти минуты, что я еле останавливал его. Всё-таки нас было двое, а их – не счесть.

*

Мы оказались не там, куда шли изначально. Арсений достал из кармана самокрутки, их осталось три.

– Я думал, что больше, – процедил он. – И что теперь делать?

– Будем люцерну идти и рвать.

Я сделал к нему шаг, чтобы отобрать самокрутки – хватит уже. Он дёрнулся от меня, завертел головой во все стороны и вдруг закричал:

– Ээ-э-эй, люди!..

Я вдруг тоже остановился и захотел так же закричать, чтоб горло засаднило: Э-эй!.. Эээээээээээй! – но не стал.

Арсений, опустошённый криком, упал на колени и запрокинул голову так, что венок с его головы упал в траву.

– Вот и Бирма, приплыли!.. Я никуда больше не пойду, надоело! Сил больше нет, Ян. Идите-ка вы все... Я остаюсь.

– Ар... – я старался не горячиться, поднял венок и зачем-то снова надел на него, – это временное бессилие. Как с конфетками... Кажется, закинешься – и будет Бирма. И да, может, Бирма и будет, но только там не слаще нашего.

– Отвяжись. Как того старика звали, последнего...

– Что-то красивое... расшифровывается как... революция мировая, что ли. Ре... ми... А, да – Рем.

– Спасибо ему, – он повертел в руке самокрутки и убрал их в карман. – Знаешь, он какой-то настоящий был, не то что все эти...

К Рему нас привели накануне; и хотя нас сразу предупредили, что старик уже сговорился с соседом, с Воронцовым, мы безоговорочно ответили местному мальчишке: веди.

Рем был старше своего дряхлого дома в Заречном. Рядом новый деревянный особняк Воронцова на три этажа, спутниковые тарелки, вольер для сторожевых собак. А у Рема лачужка; его ремзавод, рempентхаус.

Старик сидел на крыльце, в тени, и первое, что я заметил в нём – выцветшая слабо-синяя татуировка на руке – морская сеть и хвост рыбины или русалки. Мы подошли ближе, и я понял: он совсем не видит, он и нас слабо различает, улыбается настороженно.

В его рempентхаусе, куда он позвал нас напиться с дороги, было тесно и жарко, как будто он и летом топил. Вся мебель, видно, самодельная. В углу удочки – всё ещё ходит на рыбалку. Двигается он тихо и бесшумно, да и не скажешь, что почти век на свете живёт, – дотрагивается до всего и улыбается, как будто первый раз.

– Садитесь – пейте, ешьте. Сегодня начинать поздно. Ночевать останетесь? Если не побрезгуете – в сенях есть диван.

Мы согласились, разделили со стариком его ужин и долго сидели за столом. Арсений был расстроен, потому что и ему это что-то напоминало.

– Мамка с папкой, – говорил Рем, – сделали меня в гражданскую. Для следующей.

– А у нас...– мне стало как-то невесело, – до сих пор гражданская, разве нет? Только невидимая.

– Гражданская – не гражданская, – вклинивался Арсений, – какая разница? Тебе не всё ли равно? Главное – уж как-нибудь самому выплыть.

– А мне – брат, – как можно сильнее я ударил это слово, – не всё равно, представляешь?

Теперь мне кажется, что в тот момент Рем нарочно потянулся к полке рядом с удочками, – чтобы мы оба заткнулись, – и достал хитро спрятанную бархатную коробочку, открыл. Конечно, мы сразу же замолчали. На дне её лежало что-то железное и блестящее за отвагу.

*

– Ни капли не осталось, Пиявица, – сказал Рем, сидящий к двери спиной. В дверях, куда свет от лампы не доходил, стоял большой мужик, чёрный, потому что неосвещённый или, может, потому что сам весь сам тёмный, спитый. – Иди к себе.

– Дай хоть переночевать, – просит этот гренадёр и, не дожидаясь ответа, шлёпается на табуретку; вскоре так и засыпает.

Старик накрывает Пиявицу тужуркой, берёт с полки радио. Романс нежно заливается в тягучей мгле ремпентхауса.

– А вы как думаете, – пристаёт Арсений к Рему, – когда конец света наступит? Всегда ведь его ждали, вы это у Яна спросите, он же у нас историк. И мы его ждали, вот недавно, в двенадцатом году. Шуткой и немного даже надеясь. Но всё же – не наступил.

Арсений щиплет хлеб и скатывает его в шарики, перед ним на столе уже много хлебных бусинок.

Пиявица проснулся, прислушался к Арсению и заявил:

– Это как я... Просыпаюсь на следующий день после конца света и думаю: а чем бы опохмелиться?

Сказал и снова уснул, такой счастливый и несчастный человек.

– И я спать пойду... – говорит Рем и заводит молитву перед сном: отче наш... Пиявица во сне смеётся – интересно, что он там видит? Моя мать вообще снам разучилась. Она спит днём, а ночью работает, такие у неё смены, с двадцати лет она так. Во имя отца и сына, и...

Ночью кто-то уронил удочки, и они звонко попадали на пол. Пиявица проснулся, – подумал я, перевернулся на бок и не увидел рядом Арсения. Сволочь!.. Мы налетели друг на друга в сенях, он упал, и у него из-за пазухи на пол посыпались стариковские звёзды, все до одной.

– Ты куда их, сволочь, потащил их куда? – схватил я его за шиворот и принялся трясти, а он ещё и оправдывался.

*

В невидящие стариковские глаза я не мог смотреть, когда он спрашивал нас, кто это ворочался в сенях, собаки, что ли, забегали? Собаки тут бешеные, запросто могут. И счастье, что он не слышал, как мы с Арсением украшали друг друга. Когда закончили, я дал ему лопату: проснулся? Идём копать картошку!

К рассвету были готовы пять мешков. Часов в восемь утра к соседскому дому легко и красиво подкатила зелёная иномарка с московскими номерами. Из автомобиля выпорхнула тоненькая блондинка, следом за ней показался – отец ли, любовник – и сразу недоволен тем, что увидел из окна: ровные полосы вскопанного ремовского участка. Не сводя глаз с Арсения, он прошёл к особняку и позвал: Ладочка, будь добра, скорее.

Я помог Арсению втащить на кухню мешок картошки, и он принялся мыть её и чистить; он бы всю картошку, весь мешок, если бы я вовремя не отобрал у него нож. Когда он очнулся и увидел перед собой высокую горку картофельного мундира, то поразился: что это я, в самом деле? Кто-то, наверное, голодный сейчас.

– Это ты вечно голодный, вечно молодой, вечно... – и я засмеялся: разукрашенного Арсения Рем не видит, а вот Ладочка!

– Я картошки с мясом сварил, – позвал нас Рем, – идите обедать.

– С мясом, с каким? – оживились мы.

– Да бог весть, какое было.

– Ну, царствие небесное ему тогда, приятного аппетита. Есть-то как хочется!

*

Я собирал рюкзак в дорогу и смотрел в окно, как на границе ремовского и воронцовского участков стоят мой брат и *их* Ладочка. Арсений вернулся раздражённый: ты знаешь, что этот про нас сказал? Ян, ты редкостный дурак, ты вчера ночью в запале разбил окно его веранды. Он теперь говорит, что мы либо и ему копаем, либо... А знаешь, сколько у него земли?

*

Если по-хорошему, – думал я, – то, конечно, ему как можно скорее нужно сделать укол от бешенства, хотя бы на всякий случай. Его чуть-чуть, слегка, но всё-таки цапанули. Рана давно запеклась, но собачья слюна проникает всё глубже, собачьей слюне, разве есть ей границы, она только и знает, что...

Когда Арсений закричал: город! смотри, город! – я ему не поверил.

Бойня

Огни очередного города удалялись и становились похожими на россыпь звёзд. Простучали колёса сумок, и я снова закрыла глаза, чтобы не видеть, как расстилают бельё. Через два часа проснулась на станции с названием Красный узел. Белый старинный вокзал и – неожиданно – искусственные пальмы из мартовских сугробов. Рядом с ними то ли люди, то ли скульптуры, не разберёшь, – слишком короткая стоянка, и вот уже всё поплыло.

На станции Арзамас мне захотелось бросить всё и сойти. Эти бронзовые женщины по периметру, грозно смотрящие прямо вовнутрь вагона... Я кивнула одной: ну что, сестра? – и увидела своё отражение в стекле, – одумался он, сдал билет, не приедет? Обе молчали – и я, и она, и он тоже молчал, конечно. Мы ехали из разных городов в древнюю столицу эрзянского царства, чтобы там, на чужой земле, быть вместе.

Весь день меня всё раздражает: его слова при встрече – опять в чёрном, зачем так траурно?.. незнание города, холодные волжские ветры, ворсинки на пальто, соляные разводы на сапогах, взгляды официанток в кафе – они словно всё знают. Он хвастает тем, сколько могил выкопал. Он счастлив и поделился бы счастьем – лишь бы я не замечала эти взгляды, ворсинки, разводы. О разводе не думать... не получалось.

Нижний Новгород – портовый город с лодками, припорошенными снегом, со сторожевыми собаками. На одной из волжских набережных увозят утопленника – был рыбаком, и река его поймала, – мы подходим к обрыву и долго смотрим на рваную полынью. Потом так же долго, зачарованно – на ряды стеклянных банок в чайной лавке, соседняя с набережной улица, нечаянно зашли, уходя от сторожевых собак, которые принялись лаять на нас, прогонять с берега. В чайной лавке начинаем игру с продавщицей, молодой и угодливой. Она рассказывает, я слушаю её вполуха, только когда: а вот этот, он вызывает особое опьянение, – оживляюсь: это как?

– Вы когда-нибудь пробовали травку? – улыбается она.

Два пакетика, везём их на окраину города, где в квартале горчично-жёлтых сумасшедших домов, некогда построенных для заводских рабочих, мы сняли на два дня комнату. Тонкие картонные стены, как японские, большой обжитой коридор с разномастными дверями, кухня общая – большая, без стола, с табуретками, с видом на задний двор и на всё те же жёлтые дома.

Только запершись и оставшись вдвоём, долго в темноте, чтоб пока не видеть, что нам досталось, – что на подоконнике лежат засушенные цветы, что в шкафу два фужера и что три освещения преображают комнату в три разных пространства, – только тогда я почувствовала себя спокойно.

Позже, потягивая древесную горечь чая, мы договорились быть этой ночью братом и сестрой. Как бы почувствовав, что его родство притесняют, позвонил его могильщик. Не отвечай, попросила я. Не отвечу, согласился он; сейчас так хорошо, давай чокнемся?

И мы чокнулись, окончательно, кажется, за мир. Иначе незачем. Жить в этом мире и не сойти с ума – я не понимаю, как это. Я, казалось, заново проживала своё рождение и детство, мать с отцом передо мной метались в постели, именно метались, с тех пор я возненавидела влажный шёпот. Тянулась к мальчикам, таинственно желая быть рядом; любовалась игрой стёклышек в зеркале воспитательницы, а потом строила чёткий, но не омрачённый взрослыми присказками

план воровства этого зеркала. Просто желала обладать: зеркалами, мальчиками, тайной. Вскоре у меня появился воображаемый возлюбленный, вдвоём нам было не страшно перед этим миром, где всё уже придумано и названо. И даже самому главному имя нашлось, и это самое главное перестало быть нужным.

Но каждый раз всё по-новому: жить по разные стороны баррикад и встречаться под одним одеялом – а после – лежать с мужчиной в воде, как два однояйцевых близнеца в утробе, отмокать; стоять босыми ногами на раздолбанном паркете, мёрзнуть и отогреваться чаем.

Кольцо с моей руки закатилось под плинтус, я и не заметила как. Мы посмеялись и легли спать под одним одеялом, как брат и сестра, готовые к инцесту.

*

Первая, оставив росчерк, закончилась на полуслове. Тщетно было расписывать её, чертя круги, на листке оставались лишь царапины. Во второй паста застыла. Как же, чем же написать, что ухожу на час-два-три, проветриться, унять этот звон внутри; когда чувствуешь себя звонче, значит истончаешься. Не будить его, пусть. В его сумке, должно быть, есть хотя бы одна ручка. Зажигалка, чеки, записанная книжка: на обложке чайка. Я прочитала всё.

*

За завтраком снова звонил его брат, сильно хотелось ответить. Днём в городе я всё смотрела по сторонам: сбежать, сбежать ли?.. Только бутылка непочатая в квартале жёлтых домов смущала – напьётся. Мы спускались к самой кромке заледенелой воды и ходили, пока не замёрзли, а потом – по склонам подниматься вверх и ловить машину.

В комнате открыли злосчастное вино, заварили чай. Я резала хлеб, и нож из моей руки полетел в стену, отрикошетил и упал у его ног. Я закрыла лицо руками, чтоб ничего не видеть – ни капли света. Кажется, я плакала.

[...]

Мы выбивали друг из друга жизнь, сцепившись как звери. Где она там у него притаилась? – я хотела её вытащить и посмотреть. Душа моя почувствовала, что скоро асфиксия и смерть. И хорошо, что нож под кроватью, иначе я бы себя не простила. Три разных освещения в комнате и какая-то необычайная чернота коридора, куда он выпал.

Я проснулась от болящего сердца. Бежала в аптеку и боялась потерять сумасшедше жёлтый дом среди десятков ровно таких же, одинаковых, поэтому как мальчик-с-пальчик надрала веток и втыкала их в сугробы на своём пути. Возвращаюсь – он пьёт уже ненавистный мне чай. Звонит Ян, я не выдерживаю и беру... Алло! Алло? Но дальше – алло – у меня не получается.

*

Поезд, промелькивающий рядом, кажется полупрозрачным, как будто состоит из одного шума и света. Кажется, можешь пройти сквозь него.

Мы проезжали мимо длинных цепочек цистерн – куда же их? – и на них написано – срочно вернуть, но куда же – они заляпаны кровоподтёками нефти и стоят чёрт знает где.

Успело присниться, что дом наш ивановский сотрясает ветер, что голые пятки сударушек стучат по крыше, а рты у них зёмлей вымазаны. Просила у всех: читайте какую-нибудь молитву, живые помощи читайте. Но они отвечали – не помним слов. Тогда стала сама, по памяти, там, где слов не помнила, – придумывала. На том и проснулась: а это в окошко вагона дуло, завывало, вот откуда взялось. Горьковская дорога пела – сладко, протяжно – провода ли это, рельсы ли, сам локомотив – горькая моя дорога пела.

Арзамас. На половинку часа, что кажется прекрасно долгой, схожу на платформу. Идёт снег. Локомотив совокупляется с вагоном, нас прикрепляют к другому поезду. Женщины с вяленой ры-

бой донимают меня. Женщины вереницей, что же нас – тоже прикрепляют к мужчинам? Грозные бронзовые статуи, хожу рядом с ними. Но мы же все разные женщины, и нигде, кроме как на игле пениса, больше не сходимся.

А потом – Красный узел. И я прозрела: вокзал Арзамаса – это точь-в-точь он, только белый. И под пальмами – скульптуры мужчин. Женщины хранят Арзамас, а мужчины – Красный узел. Стоит только за ниточку потянуть... и распустится узелочек.

Конец

Радио валяется в траве, хрипя предсмертной агонией – больше не фурычит. Арсений, прихрамывая, скачет по полю.

Концерт в Большом театре – вот что вдруг вспомнилось мне. Чествовали покойного юбиляра, на сцену выходили его именитые дети, внуки и правнуки и по очереди читали строки из его стихотворения – дело было вечером, делать было нечего, – и вот...

один: а из нашего окна площадь Красная видна! –

второй: а из *вашего* окошка только улица немножко, –

и по залу полусмех грустный, потому что никто в этом не сомневается, что из нашего окошка только улицы немножко, а из их... Только вот сейчас не сходится – нам вообще не нужно никакого окошка, у нас глаза бегут к горизонту и всё добежать не могут. Видишь, Арсений, брат мой, как мы богаты стали.

– Где город? – не верю ему я, – где ты видишь?

– Вон, – показывает он мне пальцем, – и вон! – в другую сторону, – и вон... – он вертит головой, не смолкая в хохоте, – а вон речка видна, искупаемся?

– Нет здесь рядом никакой, название только одно.

– Я курить хочу, – он достаёт самокрутки, я пытаюсь их вырвать, но он отбивается, пытается найти зажигалку, которую выронил где-то. Не находит и разрывает самокрутки на части, засовывает их в рот и начинает жевать и давиться. У меня нет сил его успокаивать, у меня остались силы только на то, чтобы спросить и услышать...

– Скажи мне, что было в марте, куда ты ездил, с кем?

Арсений молчит.

– С кем ты был, я тебя спрашиваю, в конце концов!

– Ты знаешь.

Я промолчал.

– Осуждаешь? – спросил он.

Я промолчал.

– А давай устроим прощёное воскресение?

– Ты что, умирать собрался?

– Погоди ты... Не о том речь. Навигатор... Я отдал навигатор Пиявице. Может, он его продаст и пусть купит водки. Просто я подумал... Он же совсем не старый, он даже младше наших отцов.

Я молчал.

– Хочешь ещё правды? Хорошо. Я ведь тебе завидовал всегда... Ты – старший, ты с дедушкой, ты с ним до конца.

Я молчал.

– Ян, пожалуйста...

– Вставай и пойдём.

Арсений встал, улыбаясь сквозь боль:

– Может, я закрою глаза, а ты веди меня? Я на это солнце смотреть больше не могу. Вот честно, не могу. Достало – слепит и слепит.

Елизавета ШЕРШНЕВА

***

что в горле у дома комок, как заслонка в печи
(с) Е. П.

грех закадычный гнездится по углам
колокол отбивает: *«шабат шалом»*
сердце – ушиб да вывих – с ножом в сенях
сводный жених, укокошенный в лагерях
станет под утро, загородит проем

«как бы чего не вышло» – живи на слух
ибо и боль – забвение за глаза
«что тебе, ורובעג?»[1]

смерть загибает пальчики на руке
Ева, Адам, Иосиф, Цефас, Назар

«кто не спрятался – я не виновата»

***

Егане Джаббаровой

проводы прачки: припорошенных уст
не отогреть – ни окриком, ни перстом
наст отсырел, отверст – а ковчежец пуст
вот и ступай себе, вот и сошлись на том
-
сретенье
лепет млечных кариатид
простын *и зги ба р*ельеф, тетива ключиц

[1] ветка на сквозняке

Елизавета Шершнева родилась в Удмуртии. Студентка филологического факультета Уральского федерального университета. Публикации на портале «Мегалит», в электронном журнале «Litterratura», в поэтической газете «Метромост» (Нижний Новгород), в альманахе «Графит» (Тольятти), в журнале «Здесь» (Екатеринбург), в антологии молодой поэзии Урала «Шепчутся и кричат» (Челябинск, 2016). Работает редактором издательства «Полифем», (совместно с Русланом Комадеем и Кириллом Азерным), курирует поэтический проект «Стихи О». Живет в Екатеринбурге.

-
руку отнять и видеть, как воск течет
взгляд отвести и помнить
наперечет
окоченевших плотников на пруду
-
дети не в счет,
сны облекают стыд
первых утрат в беглое ремесло:
не приставать ко взрослым, ставшим спиной,
– что содрогается и горит

***

памяти Евгения Туренко

изгородь рук, оторопь их – сродни
тутовой каллиграфии мотылька
часты ли, жено, вести издалека?
присно ли прясло? как они там одни?

ласковый лепет припорошенных уст
не отогреть ни окриком, ни перстом
наст отсырел, отверст, а ковчежец пуст
вот и ступай себе. вот и сошлись на том.

все что касается мельничных звонниц во снах
болью слывет на приученном к нам языке
тень простывает теплом на земельных парах
голоден долг опустевшего налегке...

но проступает звезда не от мира сего
да у порога, как прежде, судачат волхвы
смирна ли скверна: безмолвие горше молвы
осатанелое – Слово ли тело Его?

***

Haust du meinen Juden, hau ich deinen Jude

глинобитный цикорий в петлицах укромных швей
отзывается кротостью висельника, жнивьем, целомудрием сада,
где сторож и тот, еврей
на все го – вдвоём

обжигая слух о глиняную свирель
подымая подшивки Торы с потешных плах

днем с огнем, а то – с рядовым быльем
говорят во снах

дети, лекари в яблоках: белый налив рубах
собиратели хвороста, увязающие в рожде-
ственской хвое
входят по одному
в золотушный храм и четыре его утра

«ты теперь сгоняешь меня с обласка' земли,
от тебя я сокроюсь, странником буду, скопцом соляной пыли
и всякий, кто встретится со мною – убьет меня»

смуглое племя – сотканное дотла
кость Авраама – ставшая поперек
бог с тобой бережёный, себя-то не уберег
се: ребро и слово, что всуе обронено

– никому из них не зачтется

Сергей ЗЕЛЬДИН

Из цикла «Маленькие рассказики»

КРИЗИС СТАРОГО ВОЗРАСТА

Повалился старый дурак в ноги жене: «Отпусти ты меня жить с молодой красивой телкой, мочи моей нет, а потом вернусь к тебе умирать!.. Ну что тут – и плакали, и прощались – ушел старый пень с чемоданом. А он был хоть и не богатый, но писатель, и где-то такая телка нашлась.

А вернулся однажды осенью, ранней, солнечной. Падали листья, а он стоял в дверях, седенький, с чемоданом, и дождавшаяся его старуха жена плакала от счастья, и он плакал от счастья, что вернулся домой.

А потом они умерли от старости, но в мире, в покое, с душой, так сказать, на месте.

История эта не выдуманная, а увидена во сне. Когда в рассказе описывается какой-нибудь сон, сразу видно, что это брехня. А этот сон настоящий, зуб даю.

P.S. Только что вспомнил, что молодую телочку с круглой вздернутой попкой, как на эротических календарях, старый писатель повстречал на реке Волге. Что он делал на Волге, как вообще попал в страну, с которой у нас война, неизвестно. Волга была неширокая и неглубокая, а местами напоминала речку Тетерев в Житомире.

СТОРОЖА

Сторожка сделана из старого военного кунга и стоит на кирпичных столбиках, как курятник. Внутри сторожка носит отпечатки ярких личностей сторожей. Стены для красоты обклеены фальшивыми долларами и гривнами. Под фотографией уссурийского тигра с голубыми глазами надпись, сделанная на принтере: «Ахтунг! Злюкен собакен! Яйца клац-клац!». Снаружи окна разукрасил мороз, а внутри они усеяны прихлопнутыми летом комарами и мошками. Напротив двери висит самое прекрасное, что есть у сторожей, – плакат, вернее, постер, вырванный из мужского журнала: белокурая девушка, совершенно обнаженная, поднесла к ротику и зажала в зубках дужку очков для чтения и задумчиво смотрит вдаль, как будто решает сложную арифметическую задачу с дробями. У нее большие груди, а свободной рукой она прикрывает себя спереди. Сквозь растопыренные пальчики видно, что лобок ее гладко выбрит. Над топчаном календарь с котиком за 1992 год. К календарю пришпилена записка: «Паша, ты мудак! Директор все знает!».

Сергей Зельдин родился в 1962 году в станице Ярославская Краснодарского края. Жил в г. Волжском, с 1974 года в Житомире (Украина). Окончил школу, служил в армии, работал стеклодувом, инкассатором, бизнесменом, политиком; «наконец понял, что лучше всего на свете быть сторожем». Публикуется впервые.

ЧАЕПИТИЕ

«Камин догорал. Дальние углы роскошной великосветской гостиной в графстве Уэттингемпшир погрузились во мрак.

– О, Гарри!.. – пролепетала Сьюзен.

И не успела она долепетать, *как уже была опрокинута на софу неведомой силой, а Гарри громоздился на ее груди, как боец без правил, и дрожащими руками расстегивал молнию ширинки перед ее лицом. Сюзи* шокированно прикрыла глаза и машинально облизнулась...»

Эротический писатель Витя Голуб машинально облизнул пересохшие губы, отложил шариковую ручку и пошел на кухню ставить чайник.

На кухне сын Сашок делал алгебру.

Витя поставил чайник, закурил и сел под форточку.

– Ну, как успехи, двоечник? – спросил он.

– Сам двоечник! – бойко сказал Сашок.

– А по сопатке?! – вскричал отец.

– Отлезь, гнида... – процедил Сашок, и оба рассмеялись.

Отец и сын Голубы с симпатией поглядели друг на друга.

– По чайковскому?

– Лучше кофе.

– Нет кофе.

– Ты мне задачу решишь?

– А ты в каком классе?

– В третьем.

– Решу.

– Ну, тогда давай. По палочке чая...

Сели пить чай.

СТАРИК И МУХИ

Петр Ильич сердечно раскланялся со своим коллегой Казимиром Эдмундовичем, которого он сменил на посту.

Он вошел в сторожку, положил «тормозок» и огляделся.

Стены, окна и фанерный потолок были сплошь усеяны мухами.

Он прошелся взад и вперед. Мухи притихли и настороженно поглядели на него.

– Я с вами цацкаться не буду! – сказал Петр Ильич и достал из кармана свернутый в трубочку «Гламур-тужур».

Мухи беспокойно зажужжали. Несомненно, вид глянцевого журнала, покрытого запекшейся кровью, произвел на них удручающее впечатление.

Петр Ильич тигром прошелся по будочке и раздул ноздри. Им овладел охотничий азарт. Он сверкнул очками и взмахнул рукой.

«Хык!» – сказал он, и сраженная муха упала на пол. – «Хык!» – от второй осталось мокрое место.

– Ага! – вскричал Петр Ильич, и через мгновение началась бойня.

Свернутый в трубочку «Гламур-тужур» захлестал по стенам, как будто в русской бане клиента ублажали веником.

«Хык!» – раздавалось среди отчаянного жужжания. – «Хык!»

Мухи в панике метались в тесном пространстве, бились лбом о стекло, самые сообразительные кинулись в открытую дверь.

Солнце встало. Было очень жарко, а в будке сторожей еще жарче.

Воздух со свистом вырывался из груди Петра Ильича, на губах закипела пена, с носа летели капли.

Уже десятки мух корчились в агонии у его ног или были недвижимы.

Наконец осталась одна, последняя, синяя и огромная, настоящая мушиная матка.

В полете она закладывала виражи, жужжала басом и не присаживалась ни на минуту. Один раз она пошла на таран и ударила Петра Ильича в лоб.

Долго тянулась их дуэль.

Петр Ильич устал, как старый Сантьяго в повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», за которую Эрнест получил Нобелевскую премию.

Но и муха устала, как рыба из той же повести.

Наконец человек стал одолевать.

Муха скинула скорость, сузила круги, потом села на стену и обреченно закрыла глаза. Если бы она была покрупнее, то можно было бы увидеть, как вздымаются и опадают ее бока и дрожат лапы.

Петр Ильич поправил запотевшие очки.

– Ну-с, – сказал он, – снимайте бурнус! – и нанес мухе страшный удар «Гламур-тужуром».

Из мухи брызнуло мясо.

Все было кончено.

Петр Ильич сел на стул и оглядел поле битвы.

Одна муха, подранок, еще позуживала, боком прыгая по столу.

– Вуаля! Се белль морт! – воскликнул Петр Ильич, как Наполеон в «Войне и мире», и прикончил муху пальцем.

Оставшиеся в живых кружили на улице, оживленно обсуждая случившееся.

«Чуют ли мухи запах смерти?» – спросил себя Петр Ильич.

«Идеализм», – сказал он сам себе.

Но факт оставался фактом – сторожка с выбитыми мухами еще долго стоит пустая. Мухи заглядывают в дверь и летят дальше, а те, что залетели, сгоряча или по-рассеянности, – тут же вылетают прочь.

Собственно, Петр Ильич ничего не имел против этих насекомых, если бы они не жужжали.

«А двум львам тяжело в одной берлоге...» – вспомнил он фразу телеведущего.

Он зажмурил один глаз, а к другому поднес невесомое хрупкое тельце дохлой мухи.

«Боже мой! – подумал Петр Ильич. – Какое чудное созданье! Совершенный летающий аппарат! Как вертолет Леонардо да Винчи! Пищеварительная, выделительная, мочеполовая системы, сочлененные Творцом в изумительном равновесии всех частей! А какой быстрый мозг!»

Он оглядел в окно пустынный двор, положил муху в рот, растер между верхним небом и языком и проглотил.

«Кисленькая», – подумал Петр Ильич.

Арсений ЛИ

Бутафория

Тополя не подрезали много лет
– здравствуй, готика запущенного парка.
Две аллеи – главный неф и левый неф.
Вот теперь действительно не жалко
ничего, а более – себя,
просто улыбнёшься глуповато, –
снег идёт, а в свете фонаря –
будто вата.

Остров

Внезапно привыкаешь к обстановке
И начинаешь мыслить – «мой», «моя»
Про то, что недоступно присвоенью.

Идешь и собираешь все вокруг –
подземный ежедневный ветер, наспех
бездумный труд и тягостный досуг,
и жизнь саму, что вовсе курам на смех.

А было, – прикорнёшь на остановке,
Очнёшься робинзоном, – глядь – земля
свободна и готова к освоенью.

Экватор

Собаки перекидываются словцом
одним и тем же на разные голоса.
Летучая мышь окидывает моё лицо
ультразвуковым зрением и растворяется.

Верно, тебе говорю, – уголь, кокс, антрацит, –
тьма египетская, – и бог знает, что ещё

Арсений Ли родился в 1977 году в Ленинграде. Поэт, дизайнер, один из основателей российского поэтического товарищества «Сибирский тракт». Стихи публиковались в журналах «Арион», «Урал», «Волга». Автор книги «Сад земных наслаждений» (2016). Арт-директор издательства «СТиХИ».

водится в ней... аэробус во мгле кружит,
или ангел лампаду над головой несёт.

Мармарис, 2010 – Тенерифе, 2016

Куриный бог

Навеки вечные забронзоветь в загаре,
в мускулатуре юношеской, в
волне понтийской эдаким утёсом
с младенцем-дочерью, допустим на плечах
следить закат
над островом Гомера.
И только ропот вод да вопли чаек
пусть отвлекают.

А если все закончится – мгновенно
переродиться вновь на этом берегу,
где птица полупьяная дугу
неверную закладывает. Камнем
продырявленным среди
камней лежать,
а девочка-подросток пускай поднимет
и посмотрит на
закат через отверстие, и вспомнит
этот берег,
и плечи бронзовые,
и опустит в
смешную торбочку у пояса...

Тенерифе, 2016

***

...Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.
W. Shakespeare. Sonnet 73

На ангельском наречии свистит
и щёлкает, душа-девица
как стрекоза легка, скора, как птица, –
её-то прыти мне недостаёт.

Пожар бушующий? мерцающий костёр –
не согревает, где уж там, – сжигает...
И неба звонок свод, и глаз востёр,
Да что-то пропускает.

Rus

М. Картузову

1.
Здесь всё, о чём ни скажешь,
Всё молчит.
Тщедушный сад и ветхая ограда,
И карандаш часовни в гуще сада
Без грифеля торчит.

2.
Однажды в краеведческом музее –
когда-то церкви, церкви и сейчас –
я сковырнул со стенда о героях
родного края

Нерезкий желто-серый фотоснимок
немного всё же странный для музея –
товарищеский групповой портрет.

3.
Как охотники над трофеем
над *обломками самовластья*
принимали картинные позы
четыре тени.

4.
Графит на обороте полустёрся –
не разобрать ни даты ни фамилий…
А впрочем – даже лиц не разобрать.

5.
Дай – думал – сохраню.
Не сохранил.

Владимир ОРЛОВ

АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ: РУССКИЙ РОМАН

Три главы из книги[1]

Александр Даниэль*[2]*, из предисловия:

Эта книга – об одном из самых удивительных людей своего времени. Всматриваясь в ключевые события, образующие историю становления в Советском Союзе «второй культуры» и порожденного ею движения открытого общественного протеста против политических преследований, – того самого движения, которое в начале 1970-х, с легкой руки западных журналистов, стали называть «диссидентским» и «правозащитным», – в самом центре этих событий мы неизменно обнаруживаем Александра Гинзбурга.

<...>

В последний раз я видел Александра Ильича Гинзбурга весной 2000 года, за два с лишним года до его смерти. Это было в Берлине, куда мы приехали – он из Парижа, я из Москвы – на открытие выставки «Самиздат», подготовленной бременским Исследовательским центром Восточной Европы. Мы сидели на веранде кафе, недалеко от здания Академии художеств, где проходила выставка, и пили пиво.

– Знаете, Алик, – сказал я вдруг, – я понял, кто Вы такой.

– Кто же я такой? – спросил Гинзбург без особого интереса.

– Вы – великий изобретатель и великий реализатор главных диссидентских ноу-хау, вот кто

[1] Полностью книга будет опубликована издательством «Русский путь». Публикуемые здесь главы охватывают период с апреля 1961 по январь 1967 года: с момента начала первой «отсидки» Гинзбурга за самиздатский журнал «Синтаксис» до ареста за подготовку «Белой книги» о деле Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В журнальной публикации персоналии не комментируются, использованные источники указываются в самом общем виде, без детализации.

[2] Даниэль Александр Юльевич – правозащитник, публицист. В 1975–1981 годах был членом редакции неподцензурного исторического сборника «Память». С 1989 года – член рабочей коллегии (правления) общества «Мемориал». Автор многих статей, посвященных истории становления и развития независимой общественной активности в СССР.)

Владимир Орлов родился в г. Петровске Саратовской области. Издатель неподцензурной поэзии XX века. В рамках проекта «Культурный слой» им были опубликованы сборники стихов Евгения Кропивницкого, Юрия Смирнова, Леонида Виноградова, Евгения Хорвата, Анатолия Маковского, Владимира Ковенацкого, Сергея Чудакова, Анны Горенко, Леонида Лаврова, Варвары Мониной, Даниила Соложева, Николая Стефановича, Павла Громова, Николая Пророкова, а также две антологии – репринт первого тома «У Голубой Лагуны» (сост. К. Кузьминский и Г. Ковалев) и «Русские стихи. 1950–2000» в 2-х томах (сост. И. Ахметьев, Г. Лукомников, В. Орлов, А. Урицкий). Автор книги «Чудаков. Анатомия. Физиология. Гигиена» (первая публикация в журнале «Знамя», 2014, №№ 10, 11). В «Волге» – публикации Алексея Ильичёва (2013, № 1-2), Сергея Морозова и Георгия Недгара (2015, № 5-6).

Вы такой. Кто положил начало диссидентской периодике? Кто составил первый документальный сборник по материалам политического процесса? Кто, вместе с Солженицыным, впервые за несколько десятилетий упорядочил тюремную благотворительность, создал для этой благотворительности специальную организацию? Кто, вместе с Юрием Орловым, Людмилой Алексеевой, Анатолием Щаранским основал первую профессиональную правозащитную организацию?

– И это все, что ты можешь назвать? – иронически спросил Гинзбург.

(Я всегда обращался к Алику на «Вы», а он говорил мне «ты»: когда мы познакомились, он был вдвое старше меня – ему было 30, а мне 15).

Я смутился.

– Ну... еще Вы впервые в истории ГУЛАГа подпольно организовали и передали на волю магнитофонную запись.

– И все?

– Ну... еще Вы, кажется, первым научились в лагерных условиях готовить мороженое...

– И это все, что ты можешь перечислить из моих «ноу-хау»? – повторил Алик свой вопрос.

– Насколько я знаю, это все.

Алик ехидно улыбнулся – своей знаменитой «улыбкой Гинзбурга», в свое время доводившей мордовских надзирателей до белого каления:

– А с чего ты взял, что знаешь все?

И в самом деле – с чего я это взял?

Глава 4

Письма из Вятлага

Владимир Тольц: В лагерь Александр Гинзбург прибыл 12 апреля 1961 года – в тот самый день, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Александр Ильич рассказывал мне, что ничего о «советском космическом прорыве» не ведая, никак не мог в первый момент понять, чего это и зэки и вохра так ликуют, неужели по поводу его приезда?.. *(Самиздат. Попытки осмысления. Ведущий В. Тольц // Радио «Свобода». 22 октября 2000)*

Александр Гинзбург: Я поехал тихо-мирно в уголовный лагерь. Это север Кировской области, юг Коми АССР, так называемый Вятлаг: лесоповал... В общем, всё хорошо. Надо сказать, что это была неплохая школа. Это было последнее время, когда уголовники в какой-то мере были смешаны с «политическими». И я увидел ту среду, с которой в жизни не сталкивался – что было само по себе очень полезно. *(Фильм «Свидетели ГУЛАГа». Франция, 2001)*

Сохранились письма Алика из лагеря, обращенные к Минне Попенковой, одной из тех, кто, как выявило следствие, занимался «размножением нелегального журнала "Синтаксис"». Отрывки из этих писем составили основу этой главы. В некоторые конверты были вложены послания, предназначенные для передачи Юрию Галанскову (также приведены в отрывках). Необходимо отметить, что в начале 60-х переписка заключенных не только с родными, но и просто с находящимися на воле друзьями не регулировалась жестким образом, что позволяло Гинзбургу сообщать в письмах даже подробности допросов, которым он подвергался во время следствия. В дальнейшем, с принятием нового исправительно-трудового кодекса, свобода переписки будет существенно ограничена, что хорошо заметно по письмам времен второй и особенно третьей «отсидки», которые внимательно прочитывались лагерной цензурой и возвращались заключенным в случае, если в них обнаруживалась «нежелательная информация».

После перевода Гинзбурга в другой лагерь переписка с Минной Попенковой оборвалась, и о том, как Алик отбывал вторую половину срока, известно немного. Судя по ноябрьскому письму матери, он еще долго надеялся если не на пересмотр дела, то на условно-досрочное освобождение.

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

13 апреля 1961

Вот я и могу написать тебе нормальное (более-менее) письмо. Я отдохнул и выспался, смотря фильм «Мичман Панин». В фильме этом восемь частей по десять минут и семь промежутков между ними по восемь минут. Фильм замечательный. Начинается он с того, что старый матрос снимает штаны, а кончается тем, что молодой мичман надевает матросские штаны. Середину я не запомнил. Ее было плохо видно. <...>

Ехали мы сюда трое суток и очень боялись попасть именно в этот лагерь. Перед отъездом нам не сказали, куда повезут, и трое суток мы только об этом и думали. Все считают, что с лагерем нам не повезло, но я этого пока не замечаю. Впрочем, завтра посмотрим. Лично меня здесь встретили очень хорошо. В бригаду попал лучшую. В жилую секцию – тоже. Пока у меня верхнее место на двухэтажных нарах, но я им вполне доволен. Завтра попытаюсь сообразить себе полочку для книг. Сегодня получил казенную одежду – телогрейку, костюм х/б, картуз, а вместе с одеждой кличку «гимназист». Правда, кличка прожила недолго – часа полтора. Уважение к «учености» моей победило. <...>

В библиотеке и столовой страшно холодно, и меня приучат есть, не снимая шапки. Как набожный еврей. <...>

Еще держусь, стараюсь не материться, но вокруг это настолько развито, что сказать «да» или «нет» без мата уже не могут. Это всё без тени злости или раздражения. Как раз ругаются весьма изобретательно, почти литературно. Я пробую записать такие вещи. При минимальной обработке – блестящие результаты. <...>

Видимо, мой друг Ушаков или его организация постарались засунуть меня в эту дыру. Я не думаю, что в этом виноваты просто грехи моих предков, и на дальняк я попал случайно. Ему ничего не стоит продержать меня здесь до календарного срока. И в то же время, даже если мне сбавят срок до года, мне придется просидеть его до звонка, ибо, пока я не отработаю месяца три, никто не представит меня к условно-досрочному освобождению.

19 апреля 1961

Писать сегодня буду о лагерной жизни. Это значит, как живут падлы заключенные. Мы, значит. Так вот. Живем мы по местному времени. У вас – шесть, у нас – семь. В это время в секции начинает что-то говорить радио. Весьма невнятно. Можно вставать, а можно и спать. Я обычно сплю еще с полчасика. За те полтора часа, которые остаются до «развода», нужно успеть помыться, одеться, позавтракать и посетить всех друзей, живущих в разных бараках. Некоторое время я мечусь по лагерю, как угорелый, в поисках освобожденных на сегодняшний день от работы, чтобы взять у кого-нибудь из них зимнюю шапку. Здесь зима в полном разгаре. Выше – 6° еще не поднималось ни разу. Метель навещает нас раза по четыре в день. А мне выдали только картуз-сталинку с матерчатым козырьком. Выпускают же из лагеря только в казенном. «Развод» выглядит так: в 8 часов по местному времени человек 400 собираются у лагерных ворот. Выкликают номер бригады, и мы парочками выходим за ворота. Здесь стоит все наше начальство и высматривает всякие непорядки – перчатки, рубашки, свитера, шарфы. После этой процедуры нас выкликают по фамилиям, безбожно их перевирая. На дороге нас собирается порядочная толпа, которую окружает конвой с автоматами, карабинами, пистолетами, собаками. И ведет нас этот конвой за километр от лагеря в рабочую зону. Здесь повторяется почти вся процедура под звон рынд на всех вышках вокруг рабочей зоны. Рабочая зона – это обыкновенная лесопилка. Сегодня я работаю четвертый день. В первый день работал в цеху, таская планочки (7х7х200 по 12 штук) от станка к станку. На второй – взял с собой книжку, рассчитывая почитать в перекурах и на обеденном перерыве, но вместо этого погнали бедного интеллигента на погрузку «погонажа». Тут уж пришлось потаскать пакеты досок 36х25х8000. Что осталось у меня от плеча, одному богу известно. И вот сегодня второй день я чищу снег. Уяснил для себя главное: родина ждет нас здоровыми и бодрыми. Так что надрываться не стоит. Работаю ударно, то есть иногда ударяю ломиком по куску

плотного снега. А в перерывах между ударами пишу это письмо. Вот почему карандашом, вот почему так по-дурацки. Вечером повторится та же история, что была утром, только к ней нужно прибавить обыск (или по-нашему «шмон») перед воротами лагеря. Переобуться (ибо ботинки полны воды), наскоро поужинать, сунуться в библиотеку (в которой ничего нет), побалакать с друзьями и (volens-nolens) садиться писать «помиловки» и жалобы (конечно, не себе). С работы приходишь в 8 (по местному), отбой – в 11. Засыпаешь часа в два. Вот и вся наша жизнь. В дальнейшем думаю как-либо ее разнообразить. Но пока вот она, вся, как на ладони. С каждым днем я все меньше верю в освобождение «по половинке». Еще не пошли на этот суд представленные к нему в декабре. И работать к тому времени я буду только три месяца. А при здешнем начальстве этого явно недостаточно. Без вас всех мне очень тяжко. Я тут делаю хорошую мину, но игра мне явно не удалась. В лагере пока всё в порядке, но будет ли так до конца, неизвестно. Начальских наушников здесь гораздо больше, чем нужно. Нервы у меня на пределе, и я могу нечаянно начать разговаривать. А в деле у меня масса примечаний Ушакова. Ох, тяжко.

26 апреля 1961

Относительно этнографических особенностей Вятской губернии. Очевидно, сюда входят, в первую очередь, люди. Это те, в коллектив которых я влился. Осуждены 75% из них по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4.1.1949 «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». В этом лагере сидел Эдуард Стрельцов[3] – краса и гордость Вятлага. <...>

О природе. Здесь активно держится зима с морозами и метелями (а уже 26 апреля). Она продержится до 15 мая, говорят.

О флоре. Нас окружают разные деревья. (В том числе Заболоцкого[4], присланного Наташей [Горбаневской].) Травы и злаки я пока не видел. Овощей здесь тоже нет, кроме присланного матерью лука. Тоскую по картошке.

О фауне. Собаки – вроде нашего Дика. Глупы и беспечны. Зато собачники злы и сварливы. Весь наш конвой стоит держать на цепи. <...>

Я уже написал матери, что приезжать в наш край бесполезно и даже небезвредно. <...>

Я несколько дней безуспешно стараюсь не ругаться матом. В мате я достиг уже некоторого артистизма, и поэтому отучаться нелегко.

Я тоже пою. Знаешь, что? «В нашу гавань заходили корабли». Не потому, что здесь ее еще кто-нибудь поет, а по совершенно непонятным причинам. Перепробовал почти все работы и ни с одной не справился. Левая рука и правая нога начинают потихоньку болеть, и те работы, с которыми я справился бы в первый день, сейчас мне уже не по плечу. Я пыжусь, тужусь, ибо мне для освобождения нужны проценты, но, видно, я к труду не приспособлен. Продолжая мысль Иващенко, останусь обезьяной[5].

---

[3] 26 мая 1958 года известный футболист, член сборной СССР, Эдуард Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании и затем приговорен к 12 годам лишения свободы. Для отбытия наказания осенью 1958 года прибыл в Вятлаг. Однако почти сразу у него случился конфликт с местными уголовными авторитетами, он был жестоко избит, провел четыре месяца в лазарете и в эту зону более не возвращался. 4 февраля 1963 года было принято решение о его условно-досрочном освобождении.

[4] Поэма Николая Заболоцкого «Деревья» была впервые опубликована в журнале «Литературная Грузия» (1965. № 11). Горбаневская, видимо, прислала Гинзбургу текст, имевший хождение в самиздате.

[5] Отсылка к последней фразе фельетона Ю. Иващенко «Бездельники карабкаются на Парнас»: «Труд – он и из обезьяны человека сделал, так что и у вас не все еще потеряно».

Меня радует весточка о Борисе Леонидовиче[6]. Если бы вы могли радовать меня такими общественно-полезными вещами почаще. Но, как пишет мне А. Иванов, всеми людьми, которые меня окружали, овладели спорт, спирт и секс.

В конце, конечно, просьба. Передай моим парням, чтобы они разыскали и прислали мне 2–3 номера «Америки»[7]. Это можно и не повредит.

1-2 мая 1961

Я жив и здоров. У меня всё по-прежнему. Морально и материально хорошо, остальное как в лагере. Праздную 1-е мая. Пью отличный кофе (пачка на кружку воды). Это меня поит человек, который хорошо знает Васю Ситникова. <...>

P.S. Вышел на улицу, а снег валом валит, как в январе.

P.S. Утро. 2 мая. Сугробы выше пояса.

5 мая 1961

У нас первый солнечный день. И снег начинает таять (уже 5 мая). Работать не хочется. Впрочем, мне всегда не хочется работать. А сегодня это всеобщее настроение. На работу шли в два раза медленнее, чем всегда. Я важно вышагивал во втором ряду. А в первом – краса и гордость Вятлага – пять таких харь, каких нет и во французском кино. <...>

Есть у нас еврей по фамилии Фарбер, который третий раз сидит за совращение малолетних, так он сущая энциклопедия. А я совсем наоборот. И читать мне почти не дают. У Фарбера есть несколько достоинств. Ему присылают их по почте. Это колбаса, масло, кофе. Но он болтлив до крайности и настроен совсем иначе, чем мы. Колбасу я ем, а в споры не вступаю. Статью Иващенко он читал. Говорит, что народу мы не нужны. <...>

Забыл. У нас произошло событие огромной важности. Кончилась курятина. Говорили, что наш ЧИС (начальник снабжения) выиграл у ЧИСа соседнего лагеря вагон курятины, а проиграл вагон гороха и еще что-то впридачу. И вот курятина кончилась. Нам грозят консервами, но суп пока на моркови.

«За рекой в тени деревьев» у меня есть. Мне ее прислала еще на Пресню Наташа Горбаневская. Она меня радует довольно часто. То книгами, то очень хорошими стихами («Деревья» Заболоцкого и ее собственные последние). Пу Сун Лина я читал еще на воле. <...>

Стихи, которые ты прислала, вероятно, написаны Валей [Хромовым]. Ну, может быть, я ничего и не понимаю. На всякий случай в следующий раз давай какие-то координаты автора.

Вот вопросы, ответ на которые я хотел бы получить.

1. Был ли в Москве Красильников[8]? Его фотографии я видел в ноябре 1960 года. Тогда же мне сказали, что в июле он уже был в Ленинграде.

---

[6] Видимо, речь идет о подготовке книги Бориса Пастернака «Избранное», вышедшей в 1961 году.

[7] «Америка» – в декабре 1955 года по инициативе США было подписано соглашение о распространении в СССР иллюстрированного ежемесячника «Америка» на паритетных началах с советским журналом «СССР», распространявшемся в США. Журнал издавался Государственным департаментом США с 1956 по 1993 год. Тираж журнала формально составлял 50 000 экземпляров, однако ограничения по его распространению были сняты только во время «перестройки».

[8] Красильников Михаил Михайлович (1933–1996) – поэт. Будучи студентом ЛГУ, 7 ноября 1956 года арестован за выкрикивание антисоветских лозунгов во время демонстрации. Осужден по ст. 58-10 на 4 года. Срок отбывал в Дубравлаге в Мордовии, где вместе с Л. Чертковым и другими составил рукописные альманахи «Троя» и «Пятиречие».

2. Что слышно о Лёне Ч.[9]?

3. Видела ли ты Германа Петропавловского? Что и как? Впрочем, этот вопрос я, кажется, уже задавал. <...>

P.S. Приезжали ли ленинградцы[10]? Что, кто и как? Как пьесы и детские книжки?

[*8 мая 1961, датируется по содержанию*]

<...> Старому дурню вот-вот стукнет четверть века. А он в лагере. И нет ему пути другого... Я чувствую, что это не последний мой лагерь. И майор Ушаков, так трогательно передававший мне твой привет, останется по-прежнему моим другом. <...>

Простая развилка. Серый камень: «Пойдешь налево – решетка, пойдешь направо – решетка. Пойдешь прямо – коммунизм». А я уверен, что коммунизм – это всегда налево. Эйнштейновская кривая идет, кажется, слева направо[11]. Я не люблю Эйнштейна. Володя Яковлев, любовь моя, называл его Эйзенштейном. <...>

День мой начался тем, что в течение двух часов я ставил заплаты на разные части моих туалетов. Туалеты мои известны, а части неудобоперечисляемы. Джинсы – сплошная заплата. Заплаты кроились из старых чьих-то штанов, а ставились и на штапельную рубашку, и на майку, и даже на носки. <...>

Зато у нас началась весна. И снег уже сошел. Вы, москвичи, не можете этого понять. В Москве зимой не бывает первомайского кайского снега. Сегодня вынесли из бараков на улицу умывальники. Но к ним еще нужно топать по грязи. Высохло почти лишь футбольное поле. И гоняют мяч бригада на бригаду по пачке «Беломора» с каждого проигравшего. <...>

Я делал совсем пустяковое дело. И даже если бы не я был инициатором, организатором и распространителем пачки листочков, я бы делал это дело. <...>

Найди в весенне-летней прошлогодней прессе (смотри до ноября) что-нибудь о «чудотворце из Бирюлёва». С этим окаянным сектантом я встретился в сумасшедшем доме. Иван Федотов – совершенно могучий парень. Я бы даже жалел, что не верю в бога, если бы не поверил в серое вещество. Но как живет этот мужик! Он делает свое дело без секунды передышки! Это, черт возьми, жизнь! *(Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen); далее – Universität Bremen)*

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову

9 мая 1961

Юра, привет! <...>

Моего следователя (ст. след. по особо важным делам) майора Ушакова звали Алексеем Ивановичем. <...>

На первом же допросе у него, 14 июля, накал наших словопрений достиг высочайшей температуры. Я предупредил, что по той причине, что являюсь я не свидетелем, а обвиняемым, свидетельских показаний давать не буду. Правда, знаменитая эпопея «На этот вопрос отвечать отказываюсь» началась несколькими днями позже. А в этот день в конце допроса взбешенный

[9] Лёня Ч. – Чертков Леонид Натанович (1933–2000) – поэт, прозаик, литературовед. Лидер одного из первых неофициальных литературных объединений, за которым закрепилось название «группа Черткова». В 1957 году осужден за «антисоветскую пропаганду» на 5 лет. Из лагеря присылал новые стихи, которые Гинзбург включил в не вышедший «Синтаксис» № 4. На момент написания этого письма продолжал отбывать наказание.

[10] Исходя из контекста, можно предположить, что речь идет о поэтах Леониде Виноградове и Михаиле Ерёмине, которые в то время учились на Высших сценарных курсах в Москве и выступали как соавторы пьес для детей и взрослых.

[11] См.: Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. М.: Наука, 1954.

майор вытащил «Скальпель»[12] и пытался добиться ответа на вопрос, кто же автор сего гнусного документа. А я имел неосторожность спросить: «А что, если я?» Так я нечаянно стал автором. Единственным. На чем и держался до конца.

Когда был у вас этот обыск[13]? В конце ноября? Насколько я помню по дате на изъятом при обыске «Скальпеле», это был день, когда комиссия в сумасшедшем доме признала меня вменяемым. <...>

Холины и Сабгиры – не сволочи. Они просто постарше нас. И им меньше хочется за решетку. <...>

Маяковка – это отлично[14].

Нет ли фотографий с последних работ разных художников?

А эти сволочи (Х и С) стихи пишут? Вот это как раз меня и интересует. <...>

Литературно-общественные вопросы меня волнуют все, без исключения. *(Universität Bremen)*

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

9 мая 1961

Я сегодня работаю на подвозке досок. Это то, с чего я начал свою трудовую деятельность в лагере. Потом мне захотелось труда полегче, и я влез в упаковку планки. А сейчас на дворе солнышко, в цеху не сидится, вот я и вожу на вагонетке длинные доски. Нагружаю, сгружаю. А пока путь забит другими вагонетками, пишу письмо. <...>

Сейчас столяры делают мне большой ящик для книг, журналов, посылок.

Сегодня впервые вышел на работу не в зимней шапке, а в «сталинке». Картуз этот идет мне удивительно. Когда освобожусь, первые визиты нанесу во всем казенном.

Хорошая у меня сегодня работа. Доски грузятся так, что одна сторона перевешивает, чтобы удобнее было разворачиваться. А на прямой я сижу сверху на коротком конце для равновесия. И меня везут по всей бирже. До обеда осталось десять минут. Перевезено три вагонетки. А всего нужно за день перевезти десять. Ничего, справимся.

Стою в столовой в очереди за миской. Обычно мне везет, кто-нибудь сразу отдает мне свою. А сейчас мы пришли рано, знакомых совсем нет. Минут десять придется ждать. На вопрос: «Даешь миску?» отвечают: «Забито». А с ложкой я не расстаюсь никогда. *(Universität Bremen)*

---

[12] Литературный манифест Юрия Галанскова «Скальпель», в котором, по мнению КГБ, содержалась клевета на советское искусство и имелись призывы к борьбе с существующим в СССР строем, был изъят у А. Гинзбурга при обыске. Авторство на изъятом экземпляре указано не было.

[13] По-видимому, речь идет об обыске, санкционированном помощником генерального прокурора СССР Самолуковым по обращению майора А.И. Ушакова, о котором шла речь в гл. 3. См. также примеч. 19 к письму Юрию Галанскову от 15 мая 1961 года.

14 Памятник Маяковскому в Москве был открыт 28 июля 1958 года, став местом спонтанных собраний любителей поэзии и чтения стихов. Власти не сразу отреагировали на это явление. Самый насыщенный период «Маяковки» начался осенью 1960 года, когда Гинзбург уже отбывал срок. Именно тогда участники чтений (включая Юрия Галанскова) стали постепенно переходить к формированию различных групп, ищущих новые пути развития общества. После арестов нескольких активистов (Владимир Осипов, Эдуард Кузнецов, Анатолий Иванов) 6 октября 1961 года собрания у памятника сошли на нет.

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову
11 мая 1961

Юра! <...>

Что тебе рассказать? Хочешь, про мою встречу с Иващенко[15]?

Прихожу на очередной допрос. Сидит, сверкает очками с золоченой дужкой.

Говорит:

– Здравствуйте.

Отвечаю:

– Спасибо, и вам того же.

Допрос начинается. Ушаков предоставляет ему слово. Он говорит:

– А теперь мне хочется поговорить с вами о литературе.

Отвечаю:

– А вам не кажется, что мы с вами выбрали для этого не совсем удачное место?

Разговор окончен.

Откуда взялись остальные тексты, которые я якобы произносил, я не знаю. Очевидно, из показаний свидетелей. (*Universität Bremen)*

Александр Гинзбург – Минне Попенковой
11 мая 1961

Вчера была суббота. Нужно было работать до пяти часов. А выходных до мая почти не было. И вдруг без десяти пять раздался трубный глас бригадира: «Кто хочет не работать в понедельник, пусть останется и погрузит вагон». Нужно было пять человек. Мое отношение (то бишь, отношение моих плеч) к погрузке ты знаешь. Но я бросился к нему так, что от меня шарахнулись. И я возглавил этот список. За три часа мы впятером погрузили «плюс» (самый большой вагон) досками, которые почему-то называются «погонаж», и двухсполовиной-метровыми пачками планок для обшивки потолка. И в половине девятого мы пришли в зону. Не умываясь, не заходя в бараки, кинулись в столовую. И тут впервые гигантский аппетит совпал с возможностью его утолить. Нам дали полбачка супа и полбачка каши (это еда человек на двадцать) на пятерых. И всё масло, которое осталось от общего ужина. И гору селедки. Мы добрый час жрали и сожрали всё. <...>

Туго сейчас в одном отношении. С нашим этапом пришли четыре еврея, в том числе и ваш покорный. Один устроился завхозом, другой в сушилку, остальные (мы с Фарбером) в 26 бригаду. Но Фарбер из двадцати дней апреля десять был «на кресте», то есть освобождался санчастью. Начинаются разговоры о жидах и жидовских мордах. Особенно усердствует бугор. Я-то от этого легко избавился. Когда он меня этак препотешно окликнул с расстояния метров в десять «жидовской мордой», у меня в руках оказалась метровая планка. Я, не задумываясь, швырнул ее в него, попал по спине, но она как будто в горле у него застряла. Разговорчики обо мне прекратились, но при мне все же продолжаются. В общем, «ношу с собой, как заразу, проклятую эту расу»[16]. Чертовы жиды, особенно два первых идиота-торгаша, вызывают всеобщую злость. А ведь здоровейшие мужики, рожа в кормушку не лезет. <...>

Сейчас я пойду писать помиловку еще одному парню. Это значит, буду пить чай, есть конфеты, баранки, курить тот же «Беломор».

---

[15] Иващенко Юрий Данилович – журналист, на тот момент член редколлегии газеты «Известия», автор «разоблачительного» фельетона «Бездельники карабкаются на Парнас» о выпускаемом Гинзбургом самиздатском журнале «Синтаксис».

[16] Из стихотворения Бориса Слуцкого «Про евреев», ходившего в самиздате. Полностью строфа, откуда взяты строки, звучит так: «Не торговавши ни разу, / Не воровавши ни разу, / Ношу в себе, как заразу, / Проклятую эту расу».

Вложите в какую-нибудь бандероль пару пачек «Djebel». Здесь есть «Witosha»[17], но это несъедобно. Много не надо – только пару пачек. <...>

Не помню у кого, но у кого-то я просил однотомник Есенина. В лагере нет Есенина. Это считается для лагеря позором. За неимением такового читают Вознесенского и Рождественского. Нравится.

И очень нравятся Наташины стихи «Седыми, боюсь, родятся дети у нас...» <...>

Числа десятого у меня все же будет первая получка. Не знаю, что с ней делать. В ларьке только курево, баранки и странного вида кировского производства конфеты. Даже конвертов нет. <...>

Письмо еще не кончилось. Только сменилась авторучка.

Выходной (первый) провел очень плодотворно. После обеда (пшенная каша) завалился спать и проспал до ужина. А после ужина пошел в гости к местному поэту, которого зовут Антон. Стихи у него замечательные. Вполне безграмотные. И вполне идейные. Я попробую направить его на путь холинизма. Это может получиться. <...>

P.S. Напишите подробно, в чем сущность дела Ольги Всеволодовны Ивинской и Иры Емельяновой[18]. Обязательно. *(Universität Bremen)*

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову

15 мая 1961

Юра! <...>

Говорят, ты делаешь что-то очень хорошее, полезное, приятное. Я несказанно рад этому. Это не было для меня неожиданным. В последних беседах со мной Ушаков много говорил о тебе, о «Камине»[19], о твоем упрямстве. Как и чем окончились твои встречи с этим долговязым майором? Мной он остался явно недоволен. Ведь почти на все вопросы я отвечал: «На этот вопрос отвечать отказываюсь». Правда, ему удалось перехитрить меня и в уголовное дело всунуть все, что было там совершенно ни к чему. До сих пор помню его коронный вопрос (сохраняя его орфографию): «Вы клевещите на советскую власть и демогагически заявляете, что ей не повредит. Почему?» <...>

Пришли мне своих и чужих стихов, в том числе стихи, так полюбившиеся Иващенко, что он их процитировал. <...>

Я сам начал в одиночке искусствоведческую работу, но здесь у меня совершенно нет ни сил, ни времени ее продолжать. Жаль будет, если она заглохнет. *(Universität Bremen)*

---

[17] Сорта болгарских сигарет без фильтра, в СССР появились около 1959 года.

[18] Дело против Ольги Ивинской и ее дочери Ирины Емельяновой по обвинению в контрабанде возбудили в августе 1960 года, когда Гинзбург находился в следственном изоляторе КГБ, поэтому он ничего не знал о сути предъявленных обвинений.

[19] Валентин Хромов рассказывал составителю про обыск на квартире Галанскова на Ленинском проспекте, где тот жил со своей первой женой Галиной. При обыске был изъят сборник, который Галансков условно называл «Камин», а Хромов «Бразда» (окончательного решения принять не успели). Состоял сборник, со слов Хромова, из подборок стихотворений участников «группы Черткова» (Леонид Чертков, Станислав Красовицкий, Андрей Сергеев, Галина Андреева и сам Валентин Хромов), на титульном листе стояло: «Сборник предназначен только для настоящих любителей поэзии». Печатали его всю ночь, а утром пришли сотрудники КГБ с обыском. Формально ни Хромов, ни Галансков органами не задерживались, но оперативники их несколько часов возили в машине, пока на Лубянке знакомились с текстами сборника. Видимо, не найдя в стихах ничего явно предосудительного, руководство КГБ решило на этот раз никого к ответственности не привлекать.

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

15 мая 1961

Перед этим написал Рустему и матери. Эти письма вложены в этот же конверт. В целях экономии (ибо 8 конвертов из 20 я был должен, а остальные уже на исходе), а также потому, что на Рустема не надеюсь. Юдин мне все же написал. <...>

Вчера, когда мы пришли с работы, нас обрадовали: сегодня кино и баня (наконец-то, а то десять дней совсем не было воды, не работала водокачка). <...>

Ахматова-то милая старушка и без ее книжки я могу еще обойтись. А вот Борис Леонидович – дело совсем другое. Незвала тоже не присылай. Мне сейчас приходится учитывать вес моей библиотеки.

Хочется парочку последних Ремарков («Жизнь взаймы» и еще что-нибудь).

Горбовского шли сразу. <...>

И, хочешь, огорчу. Я сижу не последний раз. Это из обещаний майора Ушакова. И из последующих моих выводов. Всё нужно делать совсем не так, как делалось это нами.

Эти тексты совсем не для мамы. А знаешь ли ты Указ от 5 мая 1961 г.? Не о тунеядцах, а второй[20]. К сроку тюремного заключения по статье, которую я как-то до сих пор считаю своей, будут добавляться от 2 до 5 лет ссылки.

17 мая 1961

Вот уже и ночь. А мне нужно написать еще одиннадцать писем, ибо я поставил себе за правило отвечать сейчас же по получении. Вчера получил рекордное количество писем – восемь. Тут и Светлана, и Севка Мрякин, и Губерман, и даже Рустем. <...>

В бандероли оказались польские журналы и книжка Кожинова[21], которую я читал еще в рукописи, но с удовольствием прочитаю еще раз, ибо к человеку этому отношусь с любовью. В ней есть интересные вещи, очень в свое время мне помогавшие. Иронического отношения к ней я не принимаю. Не сержусь. <...>

Майор Ушаков I передал мне твой привет лишь один раз – 21 декабря (в день рождения вождя и учителя). На следующий день я уже подписывал двести шестую (об окончании следствия). <...>

---

[20] Имеется в виду «Указ об усилении борьбы с особо опасными преступлениями», согласно которому по статье «Антисоветская пропаганда и агитация», обвинение по которой было предъявлено Гинзбургу, но в процессе следствия снято, по отбытии срока теперь предусматривается ссылка.

[21] Имеется в виду книга В.В. Кожинова «Виды искусства» (М.: Искусство,1960), в которой, в частности, автор приводит в уточненном переводе одно из высказываний Ленина, записанное Кларой Цеткин: не «искусство должно быть понятно массам», а «искусство должно быть понято массами», что воспринималось как методологический переворот. Ср. с ехидным комментарием в неопубликованной статье Сергея Чудакова «Красное и серое», отобранной у Гинзбурга при обыске в 1964 году: «Между догматиками и либералами произошел спор, в котором обе стороны оперировали дубинкой одной и той же цитаты из беседы Ленина с немецкой коммунисткой Цеткин. Либералы пытались восстановить подлинный смысл цитаты: “искусство должно быть понято массами”, заключая из этого, что Пикассо допустим в полном объеме, надо только его разъяснить, повысить уровень масс. Но после декабрьского идеологического погрома <1962 года> догматики отстаивали искаженный вариант, пущенный в оборот в годы культа: “искусство должно быть понятно массам, т.е. то, которое непонятно, массам не нужно и, следовательно, подлежит замалчиванию и уничтожению; из Пикассо наиболее полезен голубь мира”».

Ты пишешь, что вопросов нет. А они есть. Всё те же. В частности, меня интересуют подробности ваших бесед на следствии (я их до сих пор не знаю) и Юрины дела. <...>

Всех, кто мне пишет, в той или иной мере интересует вопрос, изменился ли я. И да, и нет. Просто я понял свое назначение (совсем не великое) и буду делать свое дело (пусть маленькое и техническое, но свое). <...> А в деле – счастье, вся жизнь. Как жаль, что я сейчас тоже лишен вдохновения, да впридачу и устал, как лошадь. Я бы мог рассказать тебе о нем. <...> Справлюсь ли я с этим делом? Это самый больной вопрос. Но ведь и слабенький «Синтаксис» что-то сделал, заставил людей поработать, помечтать, пожить. А мое главное – куда больше и шире. Нужна будет большая вера в него, в его правоту и полезность. <...>

Работа, начатая в одиночке, застряла. Материалов о средневековом искусстве у меня нет, а воспоминания слабы и не греют. Но это дело, которое может еще подождать несколько месяцев.

Встреча великого писателя с великим адвокатом[22] не вселяет в меня надежды. Но ее подробности могут быть интересны, как анекдот на будущее.

[*Штемпель получения 20 мая 1961*]

Сегодня так хотелось проехаться по начальнику режима! Понимаешь, сделали мне хороший ящик под нары, большой, удобный. При желании, в нем можно было прятать отказчиков от работы. А режим проклятый не пропустил его в зону. Сегодня я все утро ходил за ним и уговаривал. Но телеграфный столб уговорить гораздо легче. Пришлось беседовать с начальником отряда, чтобы натравить его на режима. А я вида погон почти не переношу. Но ящик какой! <...>

Можешь быть уверена, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы скорее вернуться. А потом – все, что в моих силах, чтобы вернуться в лагерь. Правда, теперь добавляют ссылку, но уж чорт с ней. <...>

Завтра я остаюсь в зоне. Как ты думаешь, зачем? Что делал О. Бендер во время автопробега? И я завтра буду писать плакат. Что-то о тунеядцах. Никогда в жизни я этого не делал. Но здесь я берусь за всё. Ничего, научимся.

Вчера произошло серьезное событие. Приезжал к нам начальник Вятлага. Такое бывает раз в три-четыре месяца. И беседа, которую он провел с заключенными, ничего приятного нам не обещала. Во-первых, он рассказал о новом исправительно-трудовом кодексе. Режим в лагерях собираются, по его выражению, «ужесточить». Во-вторых, заявил, что условно-досрочное освобождение ныне является не правом заключенного, а поощрением лагерной администрации для особо отличающихся.

[*21 мая 1961, датируется по содержанию*]

Начинается старая история – письма на обрывках бумаги. Сейчас решаю задачу: как написать пять писем на трех листочках? Справлюсь ли? Конверты я стреляю по всему лагерю, и с каждым днем это становится все труднее, ибо в ларьке тоже кончились конверты, а марок и не было. <...>

Сейчас меня поставили на вязку планки. Это не так тяжело, но пока я еще не привык. Руки я исцарапал проволокой, поясница болит, ибо всю смену я работаю, согнувшись. <...>

Люди живут здесь, привыкают и считают это совершенно нормальным. Правда, воля для них – сказка, и я невольно разбиваю эти их грезы. Так что все относительно хорошо. Только вас всех нет. А приезжать ко мне не нужно. Я стараюсь выскочить по половинке, а до этого времени всего два с половиной месяца. Ваша задача – удержать мать от приезда в наш Кай. Это абсолютно бесполезно. Я постараюсь писать вам чаще (раз в два дня).

У меня к тебе несколько вопросов, на которые мне нужны подробные ответы:

1. Стихи последние – Стася [Красовицкого], или я совсем отупел?

[22] Видимо, адвокат Гинзбурга Виктор Косачевский обращался за помощью к Илье Эренбургу с тем, чтобы тот помог добиться условно-досрочного освобождения.

2. Видела ли ты Германа Петропавловского? Что, как и почему он так не понравился матери?

3. Как дела с обменом жилплощади (у нас дома)?

4. Какие непорядки могут без меня начаться? <...>

P.S. Я подружился с конвойной собакой. Она подошла и лизнула меня в грязную руку. Я ее погладил. У колонны заключенных были квадратные глаза. А барбос этот удивительно похож на Васю. *(Universität Bremen)*

Наталья Доброхотова: В МГУ одно время было поветрие, когда человек прямо на комсомольском собрании вставал и через всю аудиторию кидал комсомольский билет: мол, не могу больше состоять в этой организации!

Году в 1957–58 Герман Петропавловский – он даже внешне был на народовольца похож: недотёпа такой – тоже так поступил. Ну, его, конечно, исключили – и из комсомола, и из университета. Но с ним сохранила отношения наша подруга, они учились в одной группе. Он и к нам заходил, толкал идеи, которые тогда были очень распространены: надо вернуться к ленинским истокам, к подлинному коммунизму, для чего делать новую революцию. Где-то возле «Сокола» у него была настоящая конспиративная квартира – стол, стулья да лампочка под потолком с газетой вместо абажура, больше ничего. Ну, 1905-й год, да и только! Они там собирались, планировали теракт. Не в шутку, на самом деле: по жребию решали, кто пойдет убивать милиционера. Их, конечно, взяли, Герман отсидел какое-то время и вышел. И стал приходить к Гинзбургу. То есть Алик-то уже сидел, а Людмила Ильинична Германа поначалу принимала, как и многих. Но он мог, например, попросить: «Людмила Ильинична, я у Вас вчера не был, а мне для дневника нужно записать, кто к Вам вчера приходил». То ли подвинулся умом в тюрьме, то ли его завербовали и дали задание ходить к Гинзбургу, а потом докладывать, и он решил таким способом показать это. Естественно, его тут же из дома выгнали. *(Интервью составителю. Июль 2016)*

Александр Гинзбург – Юрию Галанскову
[*21 мая 1961, датируется по содержанию*]

Юра! <...>

Первое. Весна – плохое время для нашей работы. Тем более, что работа ограничена рамками искусства. А для учебы (при всех весенних трудностях) это время – как нельзя лучше. Пойми и сдай сессию.

Второе. Газета «Советская Россия» за 19 мая. Письмо из Саратовского университета «Шестидесятники рвутся на Парнас»[23]. Всё же рвутся, а не карабкаются. Нужно отбросить столичное чистоплюйство и связаться с этими людьми. О результатах доложить. *(Universität Bremen)*

Александр Гинзбург – Минне Попенковой
[*Штемпель получения 28 мая 1961*]

Вот послушай:

«Раздельщики! Рационально разделывайте хлысты, чтобы увеличить выход делового сортамента!»

[23] Статья с таким названием была посвящена критике стихотворений, публиковавшихся в стенгазете филфака Саратовского университета: «Любовь Краваль, ставшая чуть ли не “кумиром” некоторых эстетствующих молодчиков и девиц Саратова, в своем кривлянии докатилась до безыдейных, злопыхательских стихов. <...> Ефим Водонос в барабанно-крикливых стихах пытается подвести “теоретическую” базу под “нигилизм” безыдейных, пустых людишек, оторванных от жизни, презирающих тружеников, а заодно и тех, кто поет о них». Публикация статьи, к счастью, не имела серьезных последствий для упоминаемых в ней лиц.

«Знай и помни всегда – в твоих руках твоя судьба».

«Лучшей школой воспитания, самым строгим учителем является жизнь, наша советская действительность» (Н.С. Хрущёв).

«Бригада передового труда
С превышением план выполняет всегда.
Кто в бригаде нашей состоит,
У того легко учеба спорится.
За здоровый, чистый, честный труд
Против всяких зол бригада борется».

«Не следи за гудками, а следи за станками».

«Слову вера, делу мера, а проценты любят счет».

«Матерное слово есть неприкрашенная, мелкая, бедная, дешевая гадость, признак самой дикой, самой первобытной культуры. Позор грубиянам и сквернословам!»

«Если один лес рубит, а семеро в кулаки трубят, то добра никогда не будет».

«Взятых темпов не снижай, лес стране заготовляй, я тебя опережаю – ты меня опережай». <...>

Такие плакаты висят у нас в зоне. Я записал первые попавшиеся. Тебе для развлечения. Или для перевоспитания. Нас они не трогают. Используются для приготовления чифиря, ибо сделаны из тонких досок. Отличное топливо. <...>

Я опять в зоне. Вчера был эстрадный концерт Кировской филармонии, а сегодня я пишу об этом в многотиражку Вятлага. Приспособился.

27 мая 1961

Сегодня я наконец-то выхожу в ночь. Поэтому днем сижу в зоне. Все последние дни чувствовал себя неважно. Чисто физически. То ли отравился чем-то, то ли устал. А в санчасть никак выбраться не мог. Там все время много народу, а я слишком ленив. Последние два дня работал кариатидой. Подпирал спиной столбы, которые сверху забивались здоровой деревянной бабой. Строили новый цех. С этой ночи начну работать на пилораме. Работа немного тяжелее, но это вполне компенсируется тем, что в бригаде отличные парни. И бугор не лается.

[*Штемпель получения 31 мая 1961*]

Мы поздно выросли. Наше поколение как-то отстало в развитии. В двадцать пять уже пора делать одно дело, а не искать по закоулкам. Меня утешает лишь одно: «Хуренито» был написан в тридцатилетнем возрасте. Постараемся же расти быстрее. <...>

Меня допрашивали только Ушаков, Сыщиков (тоже ст. следователь по особо важным), полковник Панкратов, генерал-майор юстиции Чистяков и зампред Комитета Тикунов. Несколько раз присутствовал зам. генер. прокурора Мишутин, и почти все время – «мой» Прошляков. Мечтали о «крупном деле». А мне порой было тоскливо, что дело не крупное. Даже как-то неудобно за «Синтаксис». Но я ничего такого не говорил и вообще помалкивал в тряпочку. Майор мой отличался превеликим остроумием. Его методы ведения следствия до сих пор вышибают у меня слезу. Когда меня привезли из института Сербского, то на первом же допросе на полочке столика, за которым я сидел, я увидел газету. До этого газет мне не давали. В институте мы доставали их тайком у уголовников из другого отделения. Да и здесь, в кабинете Ушакова, газета осталась случайно. У нее даже была оторвана часть страницы, чтобы лучше было видно, что несколько американских шпионов раскаялись и были советской властью прощены[24]. Прочитав заголовок, я отдал газету майору, а на вопросы о «Скальпеле» отвечать не стал. <...>

[24] В газете «Известия» от 1 ноября 1960 года есть сообщение о задержании агента американской разведки Платовского Михаила Сергеевича (он же Крепс Андрей Андреевич и Сосновский Петр Иванович), который «получил задание обосноваться в Минске и заняться сбором секретных данных о дислокации частей Советской армии…». Каких-либо сведений о его

На этом месте я заснул. Продолжаю утром. Только что получил замечательный привет из столицы. В детской передаче стихи Холина о Лентяе Лентяевиче. Стихи, предельно подходящие к ситуации. «Вставай, лентяй, руби дрова». Дальше идет поучительная история о том, что симулянт Лентяй жалуется на то, что болит живот, а когда приходит время обеда, хватает самую большую ложку и самую большую миску и бежит обедать.

<...>

Только что принесли в санчасть из рабочей зоны одного парня из нашей секции. Чуть теплого. На распиловочном станке вырвался «балан» (двухметровое бревно) и угодил ему прямо в голову. Череп раскололся. Парень еще жив, но без сознания. Потерял массу крови. Мы все звали его Пончиком – такой здоровый, румяный парень. В зоне страшный шум. Говорят, что в рабочей зоне будет еще больше, потому что парень истекал кровью, а машину ждали больше часа. Меня это тоже выбило из привычного состояния. Писать пока бросаю. За меня в этом плане можно не беспокоиться, к сумасшедшим станкам я и близко не подхожу. ...прости, больше сегодня писать не могу. Прошло часа четыре, и я распсиховался до предела. Курю непрерывно. А еще нужно написать что-нибудь бодрое матери. Руки дрожат. <...> Пончик в сознание не приходит. Голову бы оторвать сволочам.

<...>

Пончик умер. Через два часа после того, как я опустил в ящик предыдущее письмо.

А еще у нас начались пожары. Пока горит только лес. Но говорят, что и нас будут использовать для тушения пожаров. В качестве огнетушителей. *(Universität Bremen)*

Александр Гинзбург – Игорю Холину
[*Без даты*]

Добрый день, Игорь!

Еще не было Вашего письма, а уже был привет по радио: «Вставай, лентяй, руби дрова». Встал я и пошел... обедать. Ибо работаю в ночной смене, дрова не рублю, а пилю. В остальном – идеальное попадание в цель. С большой ложкой почти не расстаюсь. Вот о миске – другой разговор. Свои миски лишь у педерастов.

Всякое такое добро и у нас есть. Вообще, лагерь фраерский с преобладанием «шерстяников»[25] (Указ от 4.1.49 «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование»). У шерстяников самые большие сроки и вся власть в лагере. Московский этап, с которым я сюда прибыл, отличается от всего здешнего контингента. Нам пока трудно, но мы боремся тоже за место под солнцем. Перевоспитать меня этот лагерь не в силах. Но интересного много. Пишу разные жалобы и помиловки (не себе, конечно). Узнаю всякие «примочки» и «замазки». Думаю, что в жизни это не пригодится. Но забавно.

О занятиях литературой. Стихов я не пишу с начала 1959 года. Прозу буду опять писать на свободе. А сейчас взялся опять за ум и вот уже неделю продолжаю искусствоведческую работу, начатую еще в одиночке.

Получил я книгу Кожинова «Виды искусств». Как живет наш общий друг? Мне не хочется писать ему лишь потому, что при подписании акта о задержании изъятых у меня материалов следствия прочитал в нем фразу: «Три экземпляра нелегального журнала «Синтаксис», переданные Кожиновым». А в чем здесь дело, я не знаю до сих пор.

раскаянии и прощении ни в этом, ни в последующих номерах «Известий» составителю обнаружить не удалось.

[25] На блатном жаргоне слово «шерстяник» имеет несколько значений. Здесь употреблено в значении «отбывающий срок за изнасилование» (ср. «шерстяная кража» – изнасилование).

Игорь, может быть, Вы совершите еще один подвиг и напишете мне об этом? Еще меня интересует выставка Льва [Кропивницкого], организованная ребятами, и выставка Вейсберга в МОСХе[26].

А больше всего меня интересуют стихи для взрослых. Письма ко мне не проверяются.

Я стараюсь поскорее попасть в Москву, но сие зависит не от меня. А нетерпение растет.

Напишите мне что-нибудь о Москве. И стихи.

Привет всем. Саша. *(Universität Bremen)*

Александр Гинзбург – Минне Попенковой

2 июня 1961

В предыдущую ночь загадал, освобожусь ли по половинке. Накануне накидал огромную кучу опилок – горы Кавказские. Днем их должны были убрать. Так же непременно, как я подхожу к условно-досрочному. Уберут – освобожусь, нет – не освобожусь. К моей смене гора выросла еще так, как будто мне сидеть еще, по меньшей мере, лет десять. Откинув приметы, все кончилось замечательно. Бугор сказал: «Ах так! Накидаем же им пик Сталина». При всем желании это было не в моих силах. И на опилки встал Толик Стропило. Меня оставили без работы. Этого я выдержать не мог и всю смену проработал подрамщиком. А Фиксы спали по очереди. Мне это было нетрудно. Ведь у нас уже был кофе. Не нужно беспокоиться за мое сердце. Крепкого кофе мы пьем очень мало. Пятидесяти грамм хватает на пять человек. <...>

С половинкой, по общему мнению, дело сложное. Меня могут позвать и предложить такое, на что я не соглашусь ни за какие блага. Здесь это выразительно называется «лОжить». А характер у меня идиотский, я могу сказать что-нибудь резкое. Впрочем, я, кажется, научился сдерживаться. <...>

Наташа прислала все свои стихи. Ее декабрьские просто замечательны. <...> Это поэтесса, которая может позволить себе любую вольность. И не позволяет. Она просто молодец. Но пишет мало. <...>

Меня жрут комары. Их уже тучи несметные, а будет еще больше. По местным преданиям. А позаботиться о мази от комаров я просил Рустема. Круглый идиот! <...>

[*Штемпель получения 11 июня 1961*]

День сегодня был холоднющий. Все предсказывали снег, но этого не случилось. <...>

Все уже спят, а я все еще в полном арестантском обмундировании лежу под одеялом, под пальто и под телогрейкой. И на голове у меня картуз. Я постараюсь приехать в нем в Москву. Пытаюсь представить себе цвет Москвы, а в глазах только серый асфальт. И нет пыли. Сегодня холодный ветер гнал по лагерю столбы коричневой пыли. А на вышке около столовой караульный пел во всю глотку: «Сердце мое, не стучи. Бедное сердце, молчи».

8 июня 1961

У нас четвертый день жарит солнце. Вчера, в воскресенье, я работал днем. Часа два, не больше, я побыл на солнышке и сгорел. Кожа еще не слезает, но спина болит.

Вчера же получил рекламу чешского пива. Для людей, лишенных всех достижений атомного века, такие картинки – суровое испытание. <...>

[26] Выставка Льва Кропивницкого была организована друзьями Гинзбурга у него на квартире весной 1961 года. На ней также были представлены работы Владимира Вейсберга, Николая Вечтомова и Льва Нусберга. То, что Гинзбург называет выставкой Вейсберга, на самом деле являлось выставкой девяти художников: Н. Андронова, Л. Берлина, Б. Биргера, В. Вейсберга, Н. Егоршиной, К. Мордовина, М. Никонова, М. Фаворской, М. Иванова, прошедшей с 1 по 10 июня в помещении МОСХ на Беговой улице.

Со мной рядом поселился Фарбер. Всё бы ничего, но он эрудит. И любит задавать вопросы, как в викторине. Например: «Кто в русской литературе первый использовал слово «коммандос»?» Оказывается, Лев Кассиль в «Дорогих моих мальчишках». Невежда (я) посрамлен.

У нас начинаются белые ночи. Они еще не совсем белые, но уже светлые и еще побелеют.

Утром очень тяжело идти с работы. Солнце превратило грязь в пыль. Трудно сказать, что хуже. К грязи мы уже успели привыкнуть.

17 июня 1961

Кто мне пишет? Пожалуйста, полный отчет. Беру подшивку писем и начинаю перечислять. Людмила Ильинична Гинзбург – 7 писем, общим объемом в 150 слов. Р.Э. Капиев – 4 письма, из них два на Пресню. Герман – 6 писем, из них последнее – очень давно. Галка Кравцова – 9 писем и несколько бандеролей. Наташа Горбаневская – 5 писем и вдвое больше бандеролей. Рабин – 2 письма, Гриша Померанц – 2 письма. И по одному письму от Юры, Галочки Галансковой, Галочки Старостиной, Юдина, Губермана, Маши Кладницкой, Светланы Штутиной, Холина, Сабгира, Шварца, Севки Некрасова, Севки Мрякина, Толи Иванова, Риты, Кирсанова и нескольких людей, которых ты совсем не знаешь. <...>

В газете «Известия» за 7 июня новый клеветон с участием Холина и Кропивницкого[27]. Мужики не успокаиваются. Пресса не дремлет. Всё это очень хорошо. «Ленинградскую правду» я бы прочитал с удовольствием.

Пожары? Каждый день на горизонте четыре-пять дымов. Соседние лагеря горят потихоньку, а наш стоит, как несокрушимая твердыня.

26 июня 1961

Ходили вчера по зоне разные чины администрации. Объясняли, что всякие «половинки» фактически отменены, то бишь переданы в руки лагерной администрации для поощрения особо отличающихся, в рядах которых я быть не могу. Мое настроение после этого можешь себе представить.

28 июня 1961

В воскресенье, когда была предыдущая почта, чтобы не пропустить почты, я даже не пошел в кино, хотя шла моя любимая китайская картина, забыл название. <...>

И выручил меня конвой – мазью от комаров. Это не «Тайга», а какая-то прозрачная густая жидкость. Действует она отлично. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на «Тайгу». Но ее нет. <...>

А я на минутку представляю себе приезд в Москву Александра Ильича, приезд, до которого, еще, быть может, год, а даст бог – меньше. Мне хочется приехать очень тихо и первые три дня никого кроме тебя не видеть. Я хочу посидеть в красном кресле, от которого к тому времени уже отвалится подлокотник. И к концу третьего дня пойти «в гости» в какую-нибудь наглухоту про-

[27] В вечернем московском выпуске газеты «Известия» от 6 июня 1961 года опубликована статья «Г-жа Мосби в вытрезвителе», в которой имеется абзац следующего содержания: «Вскоре после того, как г-жа Мосби появилась в Москве в качестве официального представителя ЮПИ, ее обуяла страсть к приобретению произведений живописи – от абстрактных до иконописных. Найти любителя абстракционистской мазни в Москве не так-то просто, но г-жа Мосби нашла. Она свела знакомство с отбывшим наказание за уголовное преступление тунеядцем Игорем Холиным и так называемым художником Львом Крапивницким (sic!). У этих дельцов она приобрела за сходную цену пару красно-желто-зеленых “произведений” для своей коллекции абстрактной живописи». Что заинтересовало Гинзбурга в газете «Ленинградская правда», составителю установить не удалось.

куренную комнату, где люди даже не очень и здороваются друг с другом, а из-за дыма могут за целый вечер кого-то не заметить.

[*Штемпель получения 2 июля 1961*]

Я, наверное, не смогу забыть свою бригаду и на воле. Такую редко можно встретить, и многим парням стоит и нужно помочь. Но это уж мое дело, будущее. <...>

Мать мне все еще не пишет. Видимо, Косачевский[28] мрачно настроен, а она не хочет мне это писать. Старушенция не понимает, что такие подозрения еще тяжелее.

Юрке передай, что мне нужны всякие стихи. С ними не так чувствуешь себя отрезанным ломтем.

[*Штемпель получения 8 июля 1961*]

А работали сегодня лишь до пяти утра (у нас суббота). Я-то сам работал лишь до двух, до момента. Потом сидели, трепались. А как в зону пришел, залез с трудом на нары – и как убитый. Продрал глаза лишь в семь часов. Сходил в столовую, съел несколько кусков икры селедочной и миску супа – пшено, картошка, мясные консервы. Наш бывший бугор стал теперь поваром и кормит нас вполне прилично. Во всяком случае, кусок мяса в моей миске был. <...>

А еще я должен точно знать, как дела у матери с работой. Только этой нервотрёпки ей не хватало.

Не пойму никак, на что надеется адвокат. Что может ему дать встреча с Прошляковым. Визит к великому писателю должен доставить ему удовольствие. Пусть и Юра [Галансков] сходит к Эренбургу. Ему этого хочется, а мне не помешает.

3 июля 1961

Интересует меня, на чем основана уверенность адвоката, что пора подыскивать мне работу в Москве. Здесь у всех настроение мрачное, на условно-досрочное не надеются.

7 июля 1961

Сегодня по радио мы узнали о смерти Старика[29]. И мне вовсе не хотелось никому о нем рассказывать. Когда умер Борис Леонидович, мы все больше молчали. <...>

Была у меня еще одна беседа с курсантом. Такая же пустая, как предыдущая. Но он был более подготовлен, так как поговорил с начальником спецчасти. К условно-досрочному освобождению пока в этом лагере не представляют, так как, по мнению нач<альника> спецчасти, достойных этого еще мало. Вот когда их будет побольше, тогда... Суды будут. Едут. Пока они на севере Вятлага, через месячишко и до нас доберутся. <...>

И сегодня же пришел этапом из Москвы бывший зав<едующий> какого-то отдела «Литература и жизнь» Тихонов. Три года за попытку изнасилования, сел в мае этого года. Два месяца назад. Я его покормил, напоил кофе, устроил спать, но поговорить не успел. Так что подробностей не знаю. Было бы хорошо, если бы Юра узнал что-либо о нем в Москве. Это можно сделать через Чудакова (Г9-28-46) или через Вадима Кожинова (В1-97-25). Подозрителен этап из Москвы, состоящий из одного человека. Узнайте о нем обязательно.

Диметилфталат я сегодня получил и сейчас сижу помазанный. Это как раз то самое средство, которым нас несколько раз выручал конвой. Поэтому и пропустили легко, и употреблять его мы уже умеем. <...>

Сегодня утром кончил устраивать Тихонова. Зовут его Славой (Ярослав). Заведовал он информацией, тем самым отделом, где работает Сашка Авдеенко. Так что полуофициальной информацией двухмесячной давности я обеспечен.

---

[28] Косачевский Виктор Адольфович – адвокат Гинзбурга по первому делу.

[29] Эрнест Хемингуэй покончил с собой 2 июля 1961 года.

Ну вот и макароны сварились. Пойду вывалю в них банку паштета. Больше ничего не осталось. Остальное мы навалили на Фарбера. Ему на новое место еще долго не будут приходить посылки. И получку он не успел получить.

[*Июль 1961*]

Получил только два письма, одно от тебя (ночь с 30 на 1), другое посылаю в этом конверте. От сектантов-пятидесятников. Если помнишь, я писал, что был в институте Сербского вместе с Иваном Федотовым – «чудотворцем из Бирюлёва». Написал я ему на адрес матери, ответ получил пока лишь от его «братьев». Ответ, на мой взгляд, замечательный. <...>

Тихонова устроили отлично. Старшиной отряда. Теперь в трех отрядах из четырех свои старшины. Постепенно всё образуется. Можно будет и перезимовать не тяжко. <...>

Весь день опять протрепался. С Тихоновым. Узнал массу любопытнейших московских сплетен. Сегодня, в частности, он рассказывал и о том, какой отклик вызвало дело «Синтаксиса» в «Лижи»[30]. Переполох был великолепный. Неужели сейчас Юра не сможет еще хоть немножко потравить их. Очень стоит.

Я здесь ведь могу судить о его работе по советской прессе. А она молчит. О саратовцах, лезущих на Парнас, почему-то пишут. Для того, чтобы заставить газеты заговорить, далеко не обязательно садиться в тюрьму. Просто нужно работать крупнее и оперативнее, и ближе к ним.

Только не будьте «тунеядцами». Вероятно, это вы и сами понимаете. Все эти майские Указы – прямо против нас. Только их и нужно бояться. Их ведь обойти труднее, чем уголовный кодекс.

[*Штемпель получения 15 июля 1961*]

Ох, до половинки четыре дня. Если бы я совершенно не надеялся досрочно освободиться, было бы гораздо легче. Тогда я попросил бы прислать часы – старую «Победу». Пока же могу лишь считать дни. <...>

Как дела у матери с работой?

А нашла ли она работу для меня? Пусть ищет. Тихонов наобещал мне кучу рекомендаций. Сейчас он, по-моему, мечтает лишь о том времени, когда мы будем работать вместе. Но это произойдет года через полтора, раньше ему не освободиться. В «Лижи» мы написали коллективное письмо – общим знакомым.

11 июля 1961

Сейчас одиннадцатый час (утро). Работали мы сегодня зверски. Грузили вагоны изоплитой. Это здоровые куски довольно толстого (1,5 см.) картона. А берешь их штук по восемь на спину. И так семь часов. Потов двадцать сошло с вашего покорного.

Пока пришли в зону, пока отмывались от пыли и грязи (грузилось все это в вагоны из-под цемента), завтракали, пока я постригся и побрился... – вот и начало одиннадцатого. В одиннадцать у нас кино. После этого сразу обед. А после обеда я все же лягу спать. Вчера я встал к обеду. Выходит, что не сплю я ровно сутки. Так не годится. <...>

Был я в четверг в спецчасти. Там мне объяснили, что представление к условно-досрочному освобождению зависит целиком от желания начальника отряда. Пытаюсь воздействовать на его желание через «своего» старшину Витьку Аносова. Но надежд немного. Мешает Лубянка. Ее все боятся, как огня. Этого объяснять не нужно. <...>

Спасибо за стихи. Побольше бы. И Стася [Красовицкого][31] поновее. Он ведь рос с годами. Тебе не кажется?

---

[30] «Лижи» – «Литература и жизнь» – газета, орган правления СП РСФСР. Выходила 3 раза в неделю с апреля 1958 до конца 1962 года. Реорганизована в еженедельник «Литературная Россия».

[31] Красовицкий Станислав Яковлевич (р. 1935) – поэт. Стихи Красовицкого предполагалось

15 июля 1961

Начну с самого главного. Сегодня в нашей зоне первый суд. Его еще не было, будет вечером. Так что подробности – в следующем письме. Пока известно одно. На суд представлено 8 человек. 7 из облегченной зоны и один с нашей. <...>

Вчера я вволю наслушался лагерных песен. Две гитары и пять или шесть хриплых голосов. Приличный голос только у Лемешева. Этот парень подозревает, что он сын Сергея Яковлевича. Он родом из Медного Калининской области, да еще и Вадим Сергеевич. Петь он не умеет, но голос есть и очень приятный. Только не поставленный. Поет он и днем и ночью. Днем его за это бьют, а ночью все же слушают. И даже просят петь. <...>

Только что выяснилось, что суд уже идет. В облегченной зоне. Нашего парня уже туда увели. Если он вернется до шести часов, то результаты сообщу уже в этом письме. <...>

Я дотянул письмо до вечера. Суд кончился. Полный порядок. Освободили всех восьмерых. Самой главной сволочью оказался наш замполит. Он единственный возражал против освобождения некоторых. Но суд был милостив. Впридачу выяснилось, что суда не было семь месяцев лишь по вине нашей лагерной администрации. Но администрация остается на месте, а суд уезжает. И когда его опять вызовут, неизвестно.

[*Штемпель получения 19 июля 1961*]

Разговор с майором не получился. Зубная боль ночью утихла. Она и не могла не утихнуть, работал я как вол. Когда пришел с работы, на мне можно было выжимать не только майку и рубашку, но и верхнюю куртку.

Но все же перед этой работой мастер наш сообщил мне, что майор собирается представлять к суду двоих из нашей бригады, в том числе и меня.

Но вот пришло 15-е и обрушило на мою голову все свои прелести. Почти всех, у кого прошли или подходят половинки, в понедельник отправляют на этап – в другой лагерь. И меня, конечно. Этого, безусловно, следовало ожидать, но приятного мало. Пока там с нами познакомятся, пока представят на суд, да еще могут переслать и еще в пару лагерей.

17 июля 1961

Это письмо пишется 17 июля за несколько минут до отъезда из лагеря. В другой лагерь. На Север. Письма оттуда будут идти, вероятно, еще на день дольше. <...>

Провожают меня торжественно, чуть ли не с оркестром.

21 июля 1961

Привезли нас на 30-й ОЛП. Уже почти сутки мы валяемся в зоне под забором бани, ждем, пока нас отправят на вторую Веслянку – облегченную подкомандировку[32] этого лагеря. <...>

Мой новый адрес будет: Кировская обл., Кайский р-н, п/о Верхне-Камск, п/я 231/30 – Веслянка 2. *(Universität Bremen)*

включить в четвертый номер «Синтаксиса». В начале 60-х Красовицкий отказался от поэзии, запретил публиковать свои ранние стихи. Позже вернулся к поэтическому творчеству, его новые стихи при содействии Гинзбурга были опубликованы в 1990 году в газете «Русская мысль».

[32] Для снижения расходов в зависимости от местных условий в Управлении исправительно-трудовых лагерей разрешалось вместо лагерных отделений открывать т.н. «подкомандировки». Как правило, они организовывались на удаленных производственных участках.

Александр Гинзбург – Людмиле Ильиничне Гинзбург
[*Не ранее ноября 1961, датируется по содержанию*]

<...> Перехожу к деловой части. Копии отказов хранятся в моем личном деле. Мне их только «объявляют», и за это я расписываюсь. Но при этом умудряюсь (или ухитряюсь) их переписать. Посылаю все три, которые у меня есть

[*В письмо вложены три рукописных копии документов:*]

Прокуратура СССР
Прокурор
ИТЛ «К»
10.10.61
№ 1804

Начальнику спецчасти 12 лаготделения. Объявите заключенному Гинзбург А.И., что его заявление прокуратурой проверено, он судом 14.7.61 г. признан особо-опасным рецидивистом, а поэтому он на основании Указа от 5.5.61 г. к досрочному освобождению не подлежит.

Зам. прокурора ИТЛ «К» [*Подпись*]

Выписка из протокола № 1
заседания наблюдательной комиссии по рассмотрению дел об условно досрочном освобождении заключенных от 18 октября 1961 г.

Слушали:

Материал на условно-досрочное освобождение на заключенного Гинзбург Александра Ильича 1936 г. рождения, осужденного 17.1.61 г. Судебной коллегией по уголовным делам Московского горсуда по ст. 196 ч. 1 УК РСФСР на 2 года. Отбыл ½ срока наказания.

Постановили:

Ходатайство лагадминистрации отказать, как не искупившему свою вину.

Зам. председателя наблюдательной комиссии Леонтьев

Прокуратура СССР
Прокурор
ИТЛ «К»
3.11.61
№ 1804

Начальнику спецчасти 12 лаготделения. Объявите заключенному Гинзбург А.И., что его заявление прокуратурой проверено, он особо-опасным рецидивистом признан не был, но наблюдательная комиссия от 18.10.61 г. в ходатайстве на условно-досрочное освобождение ему отказано – правильно.

Зам. прокурора ИТЛ «К» [*Подпись*]

Я оставил даже орфографию подлинников. Больше я пока ответов не получал, последний был на днях. Почти месяц он до меня добирался.

Сам я написал: 1) В Кировский областной суд; 2) В наблюдательную комиссию; 3) Председателю Президиума Верховного Совета Коми АССР (только он может воздействовать на наблюда-

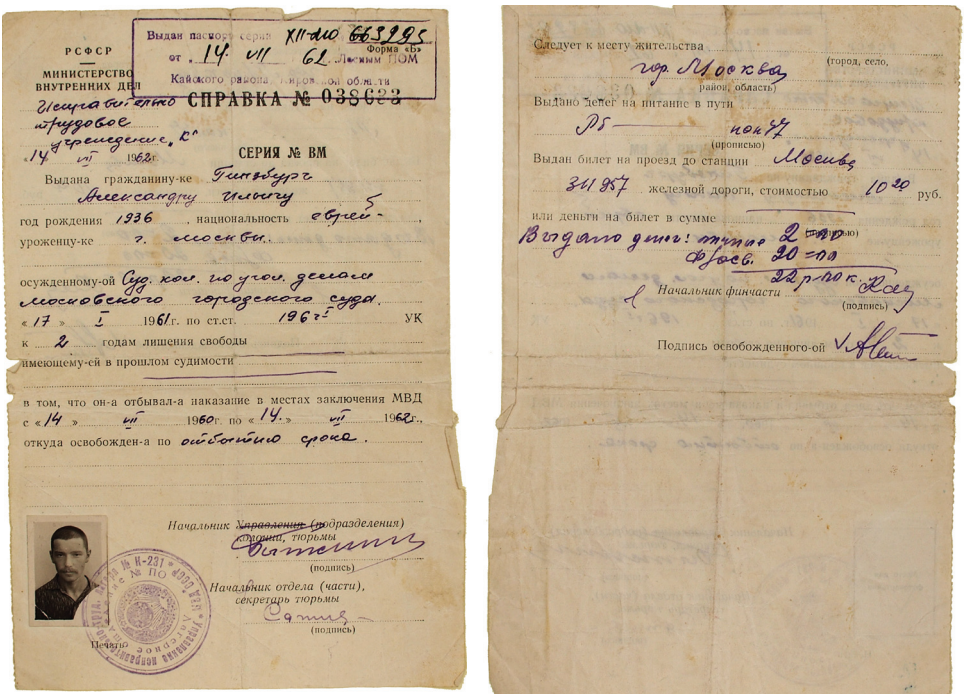
тельную комиссию); 4) Еще раз прокурору ИТЛ «К» (почему же правильно?); 5) В Верховный суд СССР. Это вопрос особый. Просим ответить, в силе ли решения мартовского (1961 г.) Пленума Верховного Суда об усл<овно>-доср<очном> освобождении. Эти решения есть в журнале «Социалистическая законность» № 5 за 1961 г. Кстати, и вы узнайте это у адвоката.

Ответов пока нет. На наблюдательную комиссию пожалуюсь еще в Коми обком КПСС. На днях напишу туда.

Ну вот и всё. Всем привет передавай. Особенно тете Стеше. Из-за отсутствия курева у меня к ней особое почтение. Чорт возьми, ведь и спичек тоже нет. Беда совсем. А как мне без вас тошно, знала бы ты... Береги здоровье, не ревнуй Рустема.

Прости за грубость. Люблю, целую. Сын. *(Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стенфордского университета (Калифорния, США) (Hoover Institution Archives. Stanford, California, USA). Alexandr Ginzburg. Box 1)*

Александр Гинзбург: Весной 1962 года, когда я отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии, я ехал на железнодорожном составе и, при сходе паровоза с рельс, упал с платформы, потерял сознание. Без сознания я находился примерно полчаса и по поводу этого три дня находился в санчасти. В тот период у меня была тошнота и какая-то общая тяжесть. После выписки из санчасти мне дано было освобождение от работы на четыре дня. Никаких последствий, кроме воспоминаний о падении с платформы, я впоследствии не ощущал. *(Управление Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области. Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021. Далее – Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)*



РСФСР
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Выдан паспорт серия XII-АЮ 663195
от 14. VII 61 Лесным ГОМ
Кайского района Кировской области

Форма «Б»

Нецаблагонад. трудовое

СПРАВКА № 038623

«14» VII 1962 г.

СЕРИЯ № ВМ

Выдана гражданину-ке Гинзбург Александру Ильичу

год рождения 1936, национальность еврей-, уроженцу-ке г. Москвы,

осужденному-ой Суд. кол. по угол. делам Московского городского суда

«17» I 1961 г. по ст.ст. 196-1 УК

к 2 годам лишения свободы

имеющему-ей в прошлом судимости

в том, что он-а отбывал-а наказание в местах заключения МВД с «14» VII 1960 г. по «14» VII 1962 г.,

откуда освобожден-а по отбытию срока.

Начальник Управления (подразделения) колонии, тюрьмы (подпись)

Начальник отдела (части), секретарь тюрьмы (подпись)

Печать

Следует к месту жительства
гор. Москва (город, село, район, область)

Выдано денег на питание в пути
Р5 — пок 37 (прописью)

Выдан билет на проезд до станции Москва
311987 железной дороги, стоимостью 10 20 руб.

или деньги на билет в сумме

Выдано денег: тридцать 2 (прописью)
Фосс. 20-00
22 р 20 к.

Начальник финчасти (подпись)

Подпись освобожденного-ой

(Hoover Institution Archives. Stanford, California, USA)

Глава 5

Время накопления

Александр Гинзбург: Вернулся. А прописывать не хотят. Но тут взялся за это депутат Верховного Совета СССР многолетний, Илья Григорьевич Эренбург, и это дело пробил. Прописали. Значит, все-таки живу в Москве. (*Расшифровка рабочего материала к фильму «Александр Гинзбург. Человек легенды» (телекомпания «ALMA-MATER» и телеканал «Культура», реж. Я. Назаров), снятому в рамках телепередачи Бориса Носика «Парижский журнал»)*

Естественно, ни о какой газетной работе речи больше не было. Я и до лагеря умел работать руками, а в лагере научился и печки класть, и много чего еще. Я стал рабочим, стал аварийным рабочим в московской канализации. У такой работы был один серьезный недостаток: на эти деньги нельзя было жить. Может, я был человек испорченный – в этой стране за журналистику, которой занимаешься много, платили по тем временам вполне приличные деньги. <...> Слава богу, меня выручали друзья, которые находили мне «негритянскую» работу. <...> Пару раз мне повезло – я записывал воспоминания очень интересных академиков. *(Фильм «Свидетели ГУЛАГа». Франция, 2001)*

Оскар Рабин: Свой экземпляр «Синтаксиса» я Алику назад отдал, потому что, когда он вернулся, у него собственного экземпляра не осталось. А вот с картиной обратная история вышла. Еще до его посадки я ему отдал картину на «повисеть» – обычный городской пейзаж, я таких много тогда делал. Она у него повисела-повисела, а потом, поскольку она ему нравилась, я ее ему подарил. И вдруг через некоторое время ко мне подступает Холин и говорит, что я обещал подарить именно эту картину ему. Я такого, честно говоря, не припомнил, но могло быть. А Игорь – он умел иногда быть таким... убедительным, скажем. Но мне и перед Аликом неудобно – не отбирать же подарок. В это время у меня иностранцы уже начали покупать, деньги появлялись. А Алик по возвращении из лагеря в деньгах нуждался (да он никогда богато не жил). И я картину выкупил, рублей за сто, и передарил Игорю. Алик наверняка и так отдал бы, но я настоял, чтобы за деньги, потому что это я проблему создал. *(Интервью составителю. Июнь 2016)*

Кира Сапгир: До сих пор помню: 1962 год. На Абельмановской, в полуподвале, который снимал себе под жилье «барачный поэт» Игорь Холин, на продавленном матрасе, со стаканом вина – легкий человек; сверкает в полутьме беззаботная белозубая улыбка – а ведь Александр Гинзбург только что вышел на свободу после двухгодичной отсидки в лагере... *(Сапгир К. Быки и улитки. СПб.: Алетейя, 2006)*

Наталья Доброхотова: А к Алику мы начали ходить, когда Алик вышел уже. Вернулся он по-прежнему жизнерадостный, розовый. Мы пришли – он анекдоты травит. Толпа народу, все веселые, никто друг друга не знает, мы, во всяком случае, мало кого знали. Маму знали, правда, уже немного. Людмила Ильинична была с замечательным чувством юмора, рассказывала смешные истории, например, как на фабрике игрушек она дослужилась до худсовета, который должен был утверждать новые проекты изделий. Худсовет – страшная сила в то время. Приносят им на утверждение воздушный шарик в виде колбасы, они только-только у нас появились, до этого видели лишь в кино. И вот председатель комиссии, дама лет 70, держа в руках пустую резиночку, говорит, что утвердить этого не может, потому что этот предмет может вызвать нежелательные ассоциации. – Ну, знаете, если в ваши годы, – говорит Людмила Ильинична, – что-то еще вызывает такие ассоциации, мне вас жаль. *(Интервью составителю. Июль 2016)*

Габриэль Суперфин: С Наташей Горбаневской мы были знакомы с 1962 года, со дня освобождения Гинзбурга. Меня потащили к нему друзья по площади Маяковского: «Пойдем к Гинзбургу, поздороваемся, выразим уважение». И уже через несколько дней мы с Гинзбургом вместе шли к художнику Брусиловскому. Тогда ведь связи моментально устанавливались. *(К истории неофициальной культуры и современного русского зарубежья: 1950–1990-е / сост. Ю. Валиева. СПб.: Контраст, 2015)*

Наталья Доброхотова: Чуть ли не сразу после возвращения (по крайней мере, летом) Алик возил делегацию кубинских художников в Лианозово. В компании у нас появился кубинец, звали его Хуан. Когда Гарику Суперфину мы рассказали про него, он сразу спросил: «Хуан Лопес?» Мы говорим: «Откуда знаешь?» «А там все, если Хуаны, то уж точно Лопесы». И вот выставка современных кубинских художников в Москве, целая делегация приехала, а Хуан у них переводчиком. Иностранцев тогда, с одной стороны, за шпионов держали, а с другой – старались развлекать по полной. Мы их повели к Алику, там уже возникла идея ехать к Рабину. Алик быстро это дело организовал: на вокзал, в электричку и до Лианозова. Хуан, бедный, всем переводил, уже и не спрашивал, говорит ли кто-нибудь по-испански, только с надеждой: «По-английски?..» У Рабина тоже, конечно, никто на языках не говорил, так что Хуан до конца отдувался переводчиком. А говорили все бурно – это же интересно тогда было, латиноамериканское искусство, тем более что один из кубинцев (тот, что постарше), под Рибейру работал. Ну и, конечно, – про абстракцию, про отношения государства и искусства у нас... *(Интервью составителю. Июль 2016)*

Арина Гинзбург: Мы с первым мужем жили в замечательном доме на Метростроевской, напротив Института иностранных языков, это кооперативный дом писательский, через дорогу маленький скверик, там была такая уютная квартира его родителей.

И как-то мы возвращались очень поздно, чуть не в полдвенадцатого, из гостей, смотрим: на пороге нашего дома сидят три красавца. Точнее – одна наша подруга, Светлана, Женька Голубовский и какой-то незнакомый человек. Он уже вышел, значит это была осень 62-го. Ну, они к нам зашли... Я так удивилась, когда поняла, что это Гинзбург – я себе представляла пожилого еврейского человека, а тут такие ресницы, рыжеватые кудри, в общем, совершенно по возрасту двадцатилетний юноша... Он и потом еще долго выглядел молодо.

Они остались, засиделись у нас совсем уже допоздна.

А дальше рассказ такой: Миша Деза, математик, в тот вечер с Людмилой Ильиничной ждал его на Полянке. Когда Алик пришел, Людмила Ильинична ему говорит: ну ты даешь, знал же, что тебя ждут. А Алик Мише: «Ой, слушай, у Жолковского такая жена, я б на ней сразу женился». И Деза потом рассказывал: «Больше всего меня поразило, что ведь действительно – женился! Хотя и не то чтобы сразу».

Потому что мы тогда еще совершенно не расходились... и разошлись не из-за Алика совсем. Только через год Тамара Казавчинская привела меня в первый раз на Полянку. *(Интервью составителю. 2016, 2017)*

Александр Гинзбург: У нас с Сережей Чудаковым был такой приятель, который ныне идеолог русского национализма, Вадим Валерьянович Кожинов, зять Ермилова[33]. У него мы познакомились с Павликом [Литвиновым], с Юзом Алешковским...

И вот я вернулся летом 1962 года. Вадим жил в писательском доме, а я – по другую сторону Третьяковки. Я ему позвонил, а он говорит: «Приходи срочно!» Я прихожу. Он сует мне пачку

[33] В начале 1960-х годов советского критика Владимира Ермилова, непременного участника всех «проработочных кампаний» 1920–1950-х годов, практически в открытую называли виновником гибели некоторых советских писателей. В 1963 году на Западе опубликована (под псевдонимом) обличительная статья литературоведа Юлиана Оксмана, где он, в частности, писал: «…продолжают оставаться на руководящих ролях и другие клеветники и предатели, залитые кровью русских писателей и ученых. Таков прежде всего Владимир Васильевич Ермилов, сделавший карьеру как основной свидетель обвинения в троцкизме своих товарищей по Российской Ассоциации пролетарских писателей (РАПП) – Авербаха, Киршона, Селивановского, Макарьева и других» (Социалистический вестник. Париж, 1963. № 5/6).

бумаги и говорит: «Прочти и немедленно верни!» Это был «Один день Ивана Денисовича». Это был не ноябрь, это был июль 1962 года[34].

В 1962 году все началось с «Одного дня Ивана Денисовича», а потом начались мои поездки в Тарусу. Туда поехала Фрида Абрамовна [Вигдорова]. А до этого с ней познакомился Андрей Амальрик. Андрей меня туда притащил. Сначала пару ночей мы переночевали в той избе, где она жила, на каких-то жутких жестких лавках. А потом она потащила нас к Оттену. Это был 1962–63 год. И тут уже началось по-настоящему чтение Самиздата. *(Universität Bremen. Интервью Раисы Орловой с Александром Гинзбургом. Вашингтон, 1 ноября 1985)*

Вадим Кожинов: С Александром Гинзбургом я знаком с 1959 года. В 1959–1960 я встречался с ним на почве интереса к так называемому «левому» искусству. Когда же Гинзбург возвратился в 1962 из заключения, я уже потерял интерес к этому искусству. Естественно, что за последние два года я встречался с Гинзбургом очень редко. По его приглашению я был на двух его днях рождения, причем один раз из этих двух не в его доме. Кроме того, было еще несколько кратких встреч.

В 1964 мы виделись, насколько я помню, всего один раз, когда Гинзбург ненадолго зашел ко мне. Из более ранних встреч стоит отметить одну. Я должен был встретиться с обучающимся у нас гражданином США Малиа[35], который попросил поучаствовать в прощальном обеде по случаю возвращения его на родину.

Итак, Малиа пригласил меня на обед в ресторан «Центральный». По дороге в ресторан я встретил Гинзбурга и пригласил его с собой. После обеда я должен был ехать к родителям, как было заранее условлено. Уезжать одному было неудобно, поэтому я пригласил с собой друзей, Малиа и Гинзбурга. Насколько я помню, Гинзбург уже во время обеда много выпил и с Малиа и другими уже не мог разговаривать, а только смеялся и плясал (в доме моих родителей). *(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)*

Александр Гинзбург: Я что-то писал, искал себе какие-то интересные сюжеты. Первый такой сюжет, который мне принес даже международную премию, я нашел в декабре 1962 года. Манеж, выставка художников, которую навестил Хрущев. Первый очерк об этой выставке, который был напечатан на Западе, был мой. Он вышел в газете «Чикаго трибюн».

А кто же пускал западных журналистов в Манеж в то время? Их никуда не пускали. Как только все это прошло, я сел и написал. Это заняло сутки. А на следующий день уезжал мой друг, ста-

---

[34] Гинзбург читал еще «самиздатский» вариант повести «Один день Ивана Денисовича», официально опубликованной только в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год.

[35] Малиа Мартин (1924–2004) – американский историк, специализировавшийся на истории России и Советского Союза. В 1962 году был на длительной стажировке в Москве. После возвращения в США был обвинен советскими властями в шпионаже на основании того, что с его помощью «ОКСМАН установил нелегальную связь с проживающим в США белоэмигрантом Глебом СТРУВЕ, подозреваемым в принадлежности к американской разведке, и передавал ему клеветническую информацию. <...> Так, в одном из писем СТРУВЕ к ОКСМАНУ говорится: “Я приготовил для печати документ, который вы передали Мартину МАЛИА об ермиловых и самариных, и надеюсь, что он скоро будет опубликован, конечно, без всякого указания на вас”. <...> По тем же нелегальным каналам ОКСМАН получил от СТРУВЕ антисоветские печатные издания мюнхенского, парижского и нью-йоркского белоэмигрантских центров: повесть Н. АРЖАКА “Говорит Москва”, “Фантастические повести” Абрама ТЕРЦА и другие, содержащие злобную клевету на Великую Октябрьскую социалистическую революцию и советскую действительность» (из записки Филиппа Бобкова в ЦК КПСС).

жер-славист[36]. Он уезжал прямо в Чикаго. Статье, им переведенной, была присуждена какая-то американская международная премия. *(Гохман М. История в лицах: Александр Гинзбург // Лица. М., 1998. № 3)*

Мы начали искать выхода на корреспондентов. С кого мы могли начать? Естественно, с Виктора Луи. *(Universität Bremen. Интервью Раисы Орловой с Александром Гинзбургом. Вашингтон, 1 ноября 1985)*

Оскар Рабин: Я Алика познакомил с такой, как сейчас говорят, неоднозначной личностью – с Виктором Луи. Мне-то он ничего плохого не сделал, наоборот – в каком-то смысле благодаря ему у меня состоялась первая выставка в Лондоне[37]. Что у него за дела с КГБ были – я и сейчас не очень представляю, а тогда вообще этим не интересовался. И вот я его свел с Аликом. Виктор мне очень Алика нахваливал – такой приятный молодой человек, и в общении, и знания глубокие... И вдруг приходит расстроенный, говорит: какая жалость, я, видимо, не смогу больше с Аликом встречаться. И так мало приличных людей, а тут теряю такого собеседника.

Оказывается, как-то они сидели на Кутузовском у Луи на квартире. Алик сказал, что ему пора, стал собираться. Виктор, которому тоже надо было ехать, предложил подвезти на машине. Алик предупредил, что надо будет подождать пять минут – он выскочит и вернется сразу. И попросил остановить... у французского посольства. Действительно, вернулся через пять минут с бобинами фильмов – какая-то знакомая из посольства ему их дала. И Виктор мне говорит: «Он что – не понимает, что завтра его за это посадят, а говорить все будут, что это я его посадил?»

Один из этих фильмов – про Пикассо, документальный[38], я потом смотрел на чьей-то квартире, Алик меня пригласил. Конечно, было интересно – там снимали на просвет, сам Пикассо по другую сторону холста стоял от точки съемки. Помню совсем молодого Андрея Тарковского – он тоже пришел этот фильм смотреть, в окружении своих приятелей, или поклонников – потому что он уже довольно известен был. *(Интервью составителю. Июнь 2016)*

Алексей Васич: Итак – салон Иры Васич[39]. Году эдак в 65-м к нам на квартиру заявился Алик Гинзбург и принес фильм об импрессионистах. Случился просмотр. Присутствовало человек сорок. Я в тот момент был дома и видел фильм: под классическую музыку на экране возникали картины импрессионистов. И всё! Но так как фильм был взят из французского посольства, КГБ

---

[36] Вероятно, речь идет о Мартине Малиа. В интервью Раисе Орловой Гинзбург утверждает, что «запись Хрущева в Манеже» была передана на Запад Виктором Луи. Противоречие это устраняется, если предположить, что Виктор Луи просто познакомил Гинзбурга с Мартином Малиа.

Публикация в газете «Чикаго трибьюн» составителем не обнаружена. Следует также отметить, что неподписанная статья о визите Хрущева в Манеж была опубликована в первом номере журнала «Студент» за 1964 год, издававшемся на русском языке в Лондоне Алеком Флегоном.

[37] 10 июня 1965 года в «Grosvenor Gallery» открылась персональная выставка Оскара Рабина, включавшая 70 работ. Выставку, прошедшую в отсутствие автора, организовал известный коллекционер и арт-дилер Эрик Эсторик (1913–1993). Сам Рабин встречался с Эсториком только однажды, а свои картины продавал ему через Виктора Луи, который организовывал их вывоз за рубеж.

[38] Фильм «Таинство Пикассо» (фр. «Le Mystère Picasso», 1956) получил специальный приз жюри на Каннском фестивале 1956 года. В 1984 году французское правительство объявило фильм национальным достоянием Франции.

[39] Васич Ирина Николаевна (1922–2010) – выпускница ИФЛИ, в 1960-е годы – редактор издательства «Детский мир».

счел данную акцию антисоветской и мамашу выгнали из издательства «Малыш». Лев Кассиль несколько раз пытался устроить мамашу на работу, но ничего не получалось. Наконец выяснив по своим каналам, в чем дело, он сообщил мамаше: «Ира, да у вас антисоветский салон оказывается!» Годами позже некто Рекемчук, будучи кающимся стукачом, рассказал мамаше, что помимо его письма в КГБ поступило еще 11 доносов об этом просмотре. *(Алексей Васич. Его превосходительство стол. Цит. по: http://memo-projects.livejournal.com/641326.html)*

Александр Гинзбург: К МЭИ у меня давняя нежность. Во-первых, там учился Рустем.... Во-вторых, в доме культуры этого учебного заведения меня однажды схватили за штаны за чрезмерную любовь к французскому документальному кино, но я не смутился и в тот же вечер там же ассистировал какому-то гипнотизеру. Он угадал все мои мысли, кроме одной, – что мне страшно взглянуть за кулисы, где меня уже ждали с приготовленным допросным бланком. После чего на заводе им. Ханукова[40] состоялось открытое собрание ремонтно-механического цеха с повесткой дня: «Обсуждение антиобщественной (орфография не моя) деятельности рабочего Гинзбурга». *(Архив Арины Гинзбург)*

Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная Ростокинским заводом железобетонных конструкций

5 июня 1964

<...> Вскоре после поступления на наш завод коллектив цеха обсуждал вопрос о тунеядстве Гинзбурга А.И. На собрании он дал слово честно трудиться и честным трудом искупить прошлые ошибки. Но данное слово не сдержал, по-честному трудиться не стал.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Известия. 1963. 25 мая

М. Стуруа, В. Кассис
Дуньки просятся в Европу

Отсидев положенный срок в тюрьме, Гинзбург поведал друзьям, что отправляется в пункт проката вещей за проектором и будет устраивать киносеансы у себя дома.

– А фильмы у тебя есть? – спросили в один голос приятеля.

– Нет, но будут! – воскликнул Гинзбург и бросился в одно иностранное посольство.

– Помогите, помогите нам, верным и преданным сынам абстрактного искусства! Дайте несколько роликов пленки с наглядным примером работы ваших лучших мастеров-абстракционистов!

На глазах сотрудников посольства заблестели слезы умиления. И вот Гинзбург стал под бурные аплодисменты своих дружков «эксплуатировать» кинопроектор и пропагандировать абстракционизм. <...>

Может быть, общественности следует поступить более решительно – выдворить из Москвы и других наших красивых городов полтора-два десятка тунеядцев и приживал иностранных посольств, чтобы легче дышалось нам в будни и праздники. Сделать это совершенно необходимо. Ведь именно из таких подонков шаг за шагом, месяц за месяцем формируются предатели типа Пеньковского...[41]

[40] Гинзбург обыгрывает то обстоятельство, что на завод железобетонных изделий он устроился с помощью своего знакомого, А. Ханукова, который в 1960-е годы уже занимал там высокую должность.

[41] Сравнение далеко не безобидно. Пеньковский Олег Владимирович (1919–1963) – полковник ГРУ Генерального штаба вооруженных сил СССР. Обвинен в шпионаже в пользу США

Андрей Амальрик: Он начинал как просто человек, очень любящий и интересующийся искусством. Он начал с издания поэтов, потом он показывал у себя кинофильмы о французских и американских художниках. И тоже о нем появилась самая бранная статья в газете. Он пытался знакомить советских людей с современным искусством. Как ни странно, эта его работа вместо того, чтобы встретить поддержку со стороны властей – это была по существу культурная работа, не только антисоветского, но ничего политического в ней не было – она властями все время воспринималась с каким-то подозрением, с каким-то желанием все это закончить, прекратить и не допустить. *(«Мы за границей»: Андрей Синявский и Андрей Амальрик // Радио «Свобода». 24 июля 1978)*

Валерий Скурлатов: Под эгиду Университета молодого марксиста[42] мы собрали самых ярких «шестидесятников», в том числе и Алика Гинзбурга, который помогал мне организационно.

Для тогдашней прогрессивной общественности мы не только предоставляли трибуну, а также давали ей возможность поездить по стране, знакомили ее с шедеврами западного кино. Когда на горизонте появился только что созданный фильм «Голдфингер», я послал Алика в контору, которая занималась кинообслуживанием партноменклатуры и оперативно добывала для нее копии зарубежных киноновинок. На просмотр я позвал писателей, диссидентов и весь Институт философии АН СССР, в котором аспирантствовал. Алик привез коробки с лентой и переводчика, фильм произвел впечатление, и я помню, как «эсхатологиствующий марксист» Эвальд Васильевич Ильенков выражал свои восторги – «Вот это да, как здорово сделано!» *(Скурлатов Ю. Вспоминая фильм «Голдфингер» (1964) // Дневник URL: http://skurlatov.livejournal.com/1628235.html)*

Наталья Доброхотова: Алик записывал песни на магнитофон. Мне кажется, Вертинского. Может быть, и Окуджаву уже тогда. Музыка у него дома всегда звучала фоном. Магнитофон был чуть ли не самодельный. Потому что я не помню такого, как описывают первые магнитофоны: «размером со шкаф». Нет, просто Алик что-то включал незаметное.

Была история с цыганами. Он пригласил к себе домой записываться целую цыганскую компанию. У него были друзья – эффектная пара, дама при этом была наполовину цыганка – вот через нее, наверное. Алик потом рассказывал, как интересно было наблюдать: цыганка поет, при этом одной рукой колбасу нарезает, другой ребенка укачивает, третьей на гитаре играет, да еще и дробь каблуками отбивает; как прибегали соседи снизу и говорили, что они очень любят цыганское пение, но не когда у них в три часа ночи на потолке люстра пляшет от этих танцев... *(Интервью составителю. Июль 2016)*

«Соседи снизу» – значит, речь идет еще о Толмачевском переулке. В марте 1963 года Гинзбурги меняют свою квартиру и переезжают на Большую Полянку. Впрочем, образ жизни от этого не меняется.

Арина Гинзбург: Алик и его мама Людмила Ильинична жили в маленьком двухэтажном деревянном домике XIX века на Полянке. Дом представлял собой одну большую квартиру, в кото-

и Великобритании и измене Родине. После проведения открытого судебного процесса, который широко освещался в центральной прессе, был расстрелян 16 мая 1963 года.

[42] Университет молодого марксиста (УММ) был создан в 1964 году при ЦК ВЛКСМ по инициативе Валерия Скурлатова, Игоря Кольченко и Юрия Лунькова. В брошюре, распространенной в 1965 году в комсомольских организациях, задачи УММ были обозначены в самом общем виде: «…продолжить самостоятельную учебу молодой интеллигенции после окончания высшего учебного заведения, готовить комсомольский актив к массовой политической работе среди молодежи».

рой жили 17 семей. Первого этажа не было – это было чем-то вроде того, что французы называют rez-de-chauss e. Комната Гинзбургов располагалась прямо возле входной двери, поэтому попасть к ним было очень легко: либо крикнуть со двора, либо постучать в стенку.

В комнате почти никакой мебели не было. Стоял буфет, диван Людмилы Ильиничны и знаменитый столик, который художник Натан Файнгольд расписал разными узорами и орнаментами. На столе стоял старый магнитофон «Яуза», рядом приемник «Спидола», по которому слушали «голоса». <...>

Все стены в комнате были завешаны картинами художников-нонконформистов – Оскара Рабина, Валентины Кропивницкой и других. Потом многие из этих картин мы смогли забрать с собой на Запад. У входа устроили умывальник, на подоконнике стояла плитка, а потому комната эта была обособлена от остальной части квартиры.

Кстати, во многом благодаря этой обособленности в доме никто не возмущался количеством гостей. Только один раз, когда у нас был цыганский театр и пела Рая Удовикова, под окнами собралось пол-Полянки, но все слушали и даже аплодировали.

<...> Сейчас я бы это назвала «Кафе "У Гинзбургов"». Часто приходили без звонка, и это воспринималось совершенно нормально. Но почти всегда не с пустыми руками: кто приносил какие-то книги, кто бутылку, кто еще что-нибудь. Людмила Ильинична очень любила эти сборища. Она уже была на пенсии и была такая подруга-мама, которая все это принимала как свою жизнь. И даже если не было Алика, она всех всегда принимала, прямо в комнате варила кофе, тем более что не было необходимости идти почти километр до кухни.

Самое оживление наступало по вечерам. Много спорили, читали стихи. Писатели, поэты и диссиденты Андрей Амальрик, Боря Шрагин, Наташа Горбаневская, Саша Аронов, Померанц, Есенин-Вольпин и многие другие приходили регулярно. Юлик Ким и Алеша Хвостенко пели песни. *([Интервью Арины Гинзбург] / беседовал Т. Дзядко // Большой город. М., 2013. 7 февр.)*

Николай Котрелев: Когда Алик еще не вернулся, летом 1962, после второго курса, я уехал в Баку, а появился в Москве только в 1963 на очень короткое время и побежал уже на Полянку, куда они переселились. Кажется, было уже две комнаты... Картинами теперь были увешаны все стены. Но там я бывал всего раза два-три. Появились другие притягательные для меня центры, потом я довольно быстро опять уехал, а когда вернулся – кончилась моя молодость. С конца 1965 года я вообще вышел из московского богемного круга. Для меня встречи с Аликом были именно встречи с богемой, а не с политикой. Он меня еще пытался затащить: пойдем в посольство, там кино показывают; я раз не смог из-за дел, другой отказался... В молодые годы если не поддерживается «ниточка-иголочка-веревочка-карась», то всё как-то расстраивается. А к политике... Он не звал, а мне было безразлично. *(Интервью составителю. 2015)*

Вера Шитова: О моем знакомстве и взаимоотношениях с Гинзбургом Аликом я могу рассказать следующее: в декабре 1962 года мой знакомый Сергей Чудаков принес почитать книгу Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Однако вскоре по телефону мне позвонил Гинзбург, спросил, у меня ли эта книга. Убедившись, что книга у меня, он сказал, что она принадлежит ему, нужна ему сейчас же. Я предложила ему зайти ко мне и взять книгу. Выяснилось, что мы живем недалеко друг от друга. Он зашел ко мне, взял книгу. Так состоялось мое знакомство с Гинзбургом.

Я в то время очень много работала дома – писала книгу, которая должна скоро выйти, и Алик Гинзбург довольно часто по утрам заходил ко мне поболтать, выпить кофе, посидеть. Он брал у меня книги почитать. Я узнала, что он учился в МГУ на факультете журналистики, имел желание поступить в Саранский университет, т.к. после освобождения из заключения он не учился и нигде не работал.

Однажды весной 1963 года я зашла домой к Гинзбургу, познакомилась с его мамой, которая мне очень понравилась, увидела обстановку, в которой живет Алик. Я подружилась с ним, и он, насколько мне известно, очень привязался ко мне. Незадолго до этого у меня умер муж, мне было очень тяжело и, чтобы как-то рассеяться, отвлечься от своего горя, мне крайне нужны были новые знакомства, люди, новые впечатления.

Бывая у Гинзбурга, я встречалась там со многими людьми, некоторые из которых, например, Нэлла Логинова, Павлов, Хануков, Капиев, нравились мне, были интересны. Бывали у Алика и другие люди, которые мне совершенно не нравились: какие-то малосодержательные, темные люди, пьющие, не понятные мне. Я стремилась оказать на Алика какое-либо влияние, чтобы он начал жить иначе, стал бы работать, начал бы учиться.

Однако все мои помыслы, стремления, уговоры оставались бесполезными: в жизни Гинзбурга ничего не менялось. Я стала уставать от этого, т.к. мне и так хватает своих забот. Я плохо понимала Алика, не знала, чего же он все-таки хочет, добивается. Я неоднократно спрашивала его, пытаясь добиться четкого и ясного ответа о цели его жизни, но так ничего и не узнала. Он производил впечатление замкнутого человека.

Мне кажется, что у Алика есть какие-то литературные способности, т.к. мне приходилось слышать его некоторые высказывания по этим вопросам и я убеждалась, что он понимает и, видимо, разбирается в искусстве, литературе и т.д. Я предлагала ему что-нибудь написать хорошее и убеждала его, что такое произведение примет и напечатает любая редакция, но он так ничего и не написал. Создается впечатление, что Алик не может сосредоточиться, чтобы сесть и что-нибудь написать, что он просто безвольный человек.

Я все же добилась, чтобы Алик поступил работать на завод, после которого он при желании может поступить в технический вуз. *(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)*

Наталья Доброхотова: В конце 1963 года мы переехали сюда, на Открытое шоссе, общаться стали реже. Хотя Алик к нам и сюда приезжал с Наташей Горбаневской. Сразу после переезда, по-моему – дальний конец дома еще достраивался, а мы в первом подъезде уже жили. Начало ноября, но для ноября тепло, кругом вода, глина – у нас под окнами просто горы этой глины, и лужи. И вот Алик с Наташей через эти горы к нам пробрались, принесли деньги на благоустройство квартиры. Оказывается, организовали сбор денег для нас. Такая вот благотворительность. *(Интервью составителю. Июль 2016)*

Наталья Горбаневская: Резкая граница между 63 и 64-м годом: недаром високосный год считается тяжелым, такого тяжелого у нас давно не было.

В Ленинграде устроили дикую кампанию травли Бродского. Основание для травли – мнимое тунеядство, хотя даже по советским законам он не должен был под это подпасть: у него были договоры с Гослитиздатом, в двух вышедших книгах зарубежной поэзии напечатано несколько его переводов (кубинские и югославские). <...> Его голословно обвинили в порнографии и антисоветчине – ни того, ни другого у него в помине нет. Процитировали строчку: «А люблю я родину чужую», обвиняя в любви к Западу, а строчка – из стихотворения одному московскому поэту, и говорит о любви к Москве (!). Даже возраст его переврали, прибавили три года. Главное, включили в статью материалы, которые были только в КГБ, когда Иосифа привлекали по чьему-то делу, но признали невиновным и оставили в покое. Сейчас всё разворошили. Авторы этой статьи – подонки большого размаха. Один из них когда-то служил в КГБ (в те еще времена), потом, естественно, с приходом «нового ветра», вышел в отставку, но оживился как общественность: взял власть в народной дружине Дзержинского района Ленинграда, а это центральный район – в нем и Эрмитаж, и Русский музей, и тьма театров, и Союз писателей, и Дом актера, и просто весь Невский. <...>

Так вот этот Лернер, кроме участия в написании статьи, вслед за ней поехал в Москву, показал ее директору Гослита, присовокупив фотографию, якобы изображающую Иосифа среди голых девиц. Договоры расторгли, и Иосиф для советского закона оказался «тунеядцем». Когда же по

прошествии времени директор издательства увидел Иосифа, первое, что он воскликнул: «Так это были не вы!» То есть это был даже не монтаж, как предположили вначале, а просто чужая фотография[43]. *(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)*

Константин Кузьминский: Вот и взялись мы [с Григорием Ковалевым] в 62-м году за русскую литературу. Для начала собрали всего Бродского, которым тогда оба бредили... Я уговаривал Иосифа выверить тексты и сделать подборку. Тексты он кое-как выверил, а подборку делать отказался. Поэтому пустили хронологически. Она-то и вышла книжкой в 64-м году в Нью-Йорке. *(У Голубой Лагуны: Антология новейшей русской поэзии: в 5 т., 9 кн. / сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1986. Т. 5В)*

Стихи Бродского отпечатал на своей машинке Борис Тайгин, получилось «80 страниц большого формата, с пометой на заглавной странице "Ленинград.1962"»[44]. Схожим образом была оформлена «Антология советской патологии», составленная Кузьминским из стихов молодых ленинградских поэтов (где также были стихи Бродского).

Константин Кузьминский: ...АСП-62 (антология советской патологии) – была таковой: по стишку, по два – был показан весь «спектр питерской поэзии»; первый выпуск у меня замылили – некий «Гуля» из кумпании Молота, другой экз<емпляр> пошел в Москву к Алику Гинзбургу (вместе с полным перво-Бродским). *(У Голубой Лагуны... Т. 5В)*

Итак, в ноябре 1962 года Григорий Ковалев повез обе машинописи в Москву и подарил их Александру Гинзбургу. Однако при обыске в мае 1964 года, о котором пойдет речь ниже, у Алика была изъята только «АСП-62», подборка Бродского уже отсутствовала. Куда она делась – прямым текстом говорит Кузьминский в той же антологии «У Голубой Лагуны»: «...первый сборник Бродского... был... переправлен за кордон Аликом Гинзбургом...»

Очевидно, после того, как по Москве начала распространяться подготовленная Фридой Вигдоровой запись судебных слушаний по делу тунеядца Бродского, Гинзбург решил, что машинопись, лежавшая до тех пор без движения, должна найти себе применение. Канал для передачи на Запад к тому времени уже имелся – в декабре 1963 года на выставке американской графики Алик познакомился сначала с одним из представленных на ней художников – Игорем Мидом, а через него – с непростым человеком Полом Секлоча[45].

---

[43] Из письма к Владимиру Ашкенази, изъятому при обыске у Гинзбурга 15 мая 1964 года. Письмо подписано только именем (Наташа), адрес Владимира Ашкенази был записан на отдельном листе, что дало возможность Гинзбургу уклониться от дачи показаний по этому поводу. Авторство письма, однако, легко устанавливается по почерку, а адресат – по содержанию письма. Вероятно, Гинзбург планировал переправить это письмо на Запад через Пола Секлочу.

[44] Цитата из предисловия к первому сборнику стихотворений Иосифа Бродского «Стихотворения и поэмы» (Нью-Йорк: Inter-Language Literary Associates, 1965).

[45] Выставка экспонировалась в течение 1963-1964 годов в Алма-Ате, Москве, Ереване и Ленинграде. Название выставки не вполне соответствовало содержанию: на ней было много рекламных плакатов, встречалась абстрактная живопись. Многие американские художники, представленные на выставке, имели российские и украинские корни. Заместителем директора выставки также был потомок эмигрантов – американский дипломат Никита Моравский.

Пол Секлоча – Глебу Струве
26 марта 1964[46]
Дорогой профессор Струве!

Теперь у меня есть Ваш адрес и я могу выслать Вам материалы, которые удалось собрать здесь и которые могут быть интересны Вам. <...>

Я встретил Александра Гинзбурга, которого Вы знаете, и он мне организовал несколько встреч. Александр вернулся из лагеря, как об этом, возможно, уже сообщал Вам Малиа, и теперь работает токарем за 60 рублей в месяц. Он очень деятелен, однако сейчас больше занят изучением советских писателей 30-х годов, работы которых хочет опубликовать на Западе. Он передал мне эти материалы, а также «Синтаксис» №№ 1–3, и стихи Ахматовой 1935–1940 гг. У него есть и некоторые другие материалы[47], которые я надеюсь получить до своего возвращения в Штаты в июне. Сейчас он в больнице, я не виделся с ним вот уже пару месяцев. До того, как я уехал с выставкой в Ереван, мы пытались получить от Серебряковой разрешение на публикацию на Западе ее новой повести «Смерч», описывающей жизнь в трудовом лагере в 30-х годах. *(Stanford, California, USA. Gleb Struve. Box 13)*

Алик действительно в тот момент попал в больницу после очередного падения – на этот раз с лестницы.

Александр Гинзбург: В начале 1964 года я бежал утром на работу, споткнулся на лестнице и скатился с нее, ударившись головой. При этом падении я получил сильный ушиб крестцово-поясничной части. После этого я вернулся домой и вызвал врача, который дал мне освобождение от работы. Самочувствие мое в тот период характеризовалось тем, что я не мог поднять головы, у

[46] Все письма Пола Секлочи написаны на английском языке на бланке Министерства иностранных дел США (т.е. отправлялись дипломатической почтой). Перевод на русский выполнен составителем.

[47] Позже, в письме от 20 апреля 1964 года, Секлоча даст подробный перечень материалов, которые он надеялся вывезти (только этот перечень написан Секлочей по-русски и воспроизводится в соответствии с оригиналом):

1. Две-три повести Владимира Максимова, который был недавно в печати в Штатах: «Двор посреди неба», «Баллада о Савве», «Дуся и нас пятеро».
2. От Солженицына, надеюсь, будут две повести и поэма. Ему точно не дадут Ленинскую премию.
3. Собрать и дать предисловие «Оберуты» (1926–37): Заболоцкий, Хармс, Введенский, Олейников; (явление более серьезное, чем Мандельштам).
4. Жорес Медведев, 1962 «Культ личности и биологическая наука» – история ученых-биологов. Книжка на 9 печатных листов (около 210 стр.) сделана для печати, но напечатана не могла быть, потому что Лысенко вернулся к власти. Книга его называет убийцей и доказывает это.
5. Антология современной подпольной поэзии от Гинзбурга.
6. Наталья Горбаневская, «Концерт для оркестра», книга стихов с предисловием А. Ахматовой.
7. И с надеждой «Смерч» Серебряковой. Ей тоже не дадут премию. (Stanford, California, USA). Gleb Struve. Box 13)

Отметим, что этот список почти полностью совпадает с материалами, изъятыми при обыске у Гинзбурга (см. протоколы допросов).

меня было головокружение. В последующем у меня были частые головные боли. *(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)*

Пол Секлоча – Глебу Струве
12 апреля 1964

Я не знаю, стоит ли верить тому, что она (Серебрякова) хотела бы опубликовать это на Западе. У меня нет доказательств этому.

Но Гинзбург обсуждал это с ней в декабре и все еще надеется использовать интервью с ней как часть предисловия к книге, которую он пишет. Он был так уверен в этом, что попросил найти западного издателя, что я и сделал. Но в начале этого года, когда в воздухе стали раздаваться фанфары Ленинской премии, она остыла к этой затее и попросила вернуть ей ту часть, которая циркулировала по Москве. У Гинзбурга осталась только одна часть, переданная мне еще в декабре.

Прилагаю некоторые стихи Бродского, молодого ленинградского поэта, которого недавно осудили на пять лет и отправили на тяжелые работы под Архангельск. Основание – «тунеядство»; ему неоткуда ждать поддержки. В последние годы он набирал популярность, выступая со стихами в «молодежных кафе». Он писал стихи, а на жизнь зарабатывал переводами, но это не являлось в глазах окружения достаточным оправданием.

Сейчас Эренбург лично вмешался в это дело и отправил Хрущеву письмо, где написал: «Дорогой Никита Сергеевич... Времена двадцатилетней давности, когда мы отправляли таких же талантливых поэтов, как Бродский, валить лес в Сибири, возвращаются...» Насколько это верно, я не знаю. Факт в том, что Бродский сидит на Севере. *(Stanford, California, USA. Gleb Struve. Box 13)*

26 апреля 1964 года Струве пишет Борису Филиппову: «Вы, может быть, уже слыхали о деле молодого поэта Бродского, который был обвинен в печати как "окололитературный трутень" и "тунеядец" и приговорен к пяти годам ссылки (работает сейчас где-то в Архангельской области возчиком навоза). <...> Если не слыхали, то можете прочесть об этом в ближайшие дни в "Русской мысли", куда я послал любопытный материал об этом деле».

5 мая парижская «Русская мысль» в материале «Дело "окололитературного трутня"» печатает два стихотворения («Рыбы зимой» и «Памятник Пушкину»), а также «Справку о деле Иосифа Бродского», доставленную в редакцию «с просьбой о незамедлительном напечатании». (Устинов А., Толстой И. Бродский против тамиздата. // Радио «Свобода». 24 мая 2015. URL: http://www.svoboda.org/a/27033961.html)

А 14 мая 1964 года следственным отделом УКГБ по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело против А. Гинзбурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 70 УК РСФСР, т.е. по факту распространения литературы антисоветского содержания.

Основанием к этому послужило изъятие у литсотрудника редакции журнала «Комсомольская жизнь» Логиновой Н.К. книги антисоветского содержания на русском языке «Новый класс» М. Джиласа.

Логинова заявила, что взяла читать эту книгу у своего знакомого Гинзбурга А.И.

В связи с этим в тот же день в квартире у Гинзбурга был произведен обыск, во время которого обнаружили и изъяли еще 14 книг, изданных за рубежом на русском и английском языках[48].

Следствие поручено вести сотруднику следственного отдела УКГБ по Москве и Московской области старшему лейтенанту А.И. Бардину. С самого начала интерес к тому, как продвигается

[48] Перечислим некоторые из них: М. Джилас «Новый класс» на английском языке; сборник стихов Вольпина-Есенина «Весенний лист» на русском и английском языках; «Записки для журнала» М. Литвинова на английском языке; альманах «Мосты» № 9 за 1962 год и № 10 за 1963 год; «США отвечают»; «Политическая система Соединенных Штатов Америки»; «История Соединенных Штатов Америки»; «Горькая жатва» на русском языке; Б. Пастернак «Доктор Живаго» на английском языке.

расследование, проявляют старший помощник прокурора Москвы Н.И. Фунтов и начальник отдела по надзору за деятельностью органов госбезопасности Г.А. Терехов – эти фамилии нам еще встретятся далее, в деле 1967 года.

Изъятие книг послужило лишь формальным поводом для обыска и последующего ареста Гинзбурга. Хотя разговоры со свидетелями действительно велись в основном вокруг книги Милована Джиласа «Новый класс», самого обвиняемого на первых допросах расспрашивали исключительно о контактах с иностранцами – Игорем Мидом и Полом Секлоча. Это, а также тот факт, что уголовное дело было возбуждено КГБ непосредственно после публикации Бродского в «Русской мысли», заставляет предположить, что истинной целью ареста было выявление канала утечки стихов Бродского на Запад. О том, что одновременно с Бродским были переданы все три номера «Синтаксиса», в органах еще даже не догадывались.

Протокол допроса А.И. Ханукова
14 мая 1964

Во время одного из посещений квартиры Гинзбурга я увидел у него книгу Милована Джиласа «Новый класс» на русском языке, изданную, как я обратил внимание, в Нью-Йорке. Книга лежала на столике, типа письменного, среди журналов. Я взял ее и стал просматривать. Не рассчитывая прочитать всю, от начала до конца, я просматривал и читал отдельные страницы. Потратил я на это не менее трех часов. Гинзбург в это время находился в комнате и чем-то занимался, возможно, что-то читал. <...>

Мнениями по поводу прочитанного с Гинзбургом мы не обменивались. На то, что не стоит дома держать книги такого содержания, Алик пожал плечами. Во время последующих посещений этой книги я у Гинзбурга не видел. Куда он ее дел, не знаю. Других книг подобного содержания не видел. Примерно в то же время видел «Доктора Живаго».

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса А.Р. Брусиловского
15 мая 1964

ВОПРОС: Как к вам попала книга «Ни война, ни мир»?

7 или 8 мая я был у Гинзбурга, попросил что-нибудь почитать. Он дал мне эту книгу, я положил ее в карман и мы поехали с ним к знакомому художнику. Давал и Джиласа, как раз 7-8 мая я его вернул, но прочитать не успел за то время, которое книга была у меня.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса А.И. Гинзбурга
15 мая 1964

ГИНЗБУРГ Александр Ильич, 1936 года рождения, урож. г. Москвы, еврей, гр-н СССР, образование незаконченное высшее (4 курса факультета журналистики МГУ в 1960 г.), из служащих, в 1961 г. Мосгорсудом был осужден по ч. 1 ст. 196 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы, работает токарем на Ростокинском заводе железобетонных изделий, проживает: Москва, Б. Полянка, 11/14, кв. 25.

Допрос начат в 16 час. 30 мин. -»- окончен: в 17 час. 50 мин.[49]

<...>

На предложение дать показания по существу возникшего в отношении его подозрения ГИНЗБУРГ заявил: в конце декабря 1963 года я посетил выставку «Американская графика», организованную в г. Москве на территории ВДНХ, где при первом же посещении познакомился с гидом

[49] В дальнейшем полные преамбулы к текстам допросов А. Гинзбурга опускаются. Очевидные орфографические ошибки в текстах допросов исправлены, стилистика сохранена.

этой выставки Игорем МИДОМ, который работал в библиотеке выставки. По-видимому, Игорь МИД русского происхождения, т.к. он владеет русским языком и кроме того он мне показывал свой альбом, в котором были фотоснимки его картин и проспекты с его выставки, где он значится как Игорь МЕДВЕДЕВ.

МИД в беседе рассказал, что он является художником нового направления популярной живописи и что у него есть в гор. Москве картины. Я попросил разрешения посмотреть эти картины и он пригласил меня к себе в номер в гостиницу «Украина». Я был у него там три раза, смотрел его картины; однажды присутствовал при моем посещении МИДА другой американец по имени Павел СЕКЛОЧА; он тоже работал на этой выставке гидом, хорошо владеет русским языком. Два других раза кроме меня и МИДА, в комнате никого не было. Были разговоры на разные темы, вспомнить их я затрудняюсь.

Увидев однажды в номере у МИДА книжку «Политическая система Соединенных Штатов», я обратил внимание на рекомендуемую для чтения литературу, указанную на задней обложке и сказал МИДУ, что хотел бы эту литературу прочитать. Он обещал что-нибудь сделать. Во время одного из посещений МИДА, он меня угостил джином и я счел своим долгом пригласить его к себе домой.

В январе 1964 г. ко мне домой приехали МИД и СЕКЛОЧА[50] и привезли книги, большая часть которых была изъята у меня вчера во время обыска. В числе привезенной ими литературы была книга Джиласа «Новый класс» на английском языке. Я МИДА и СЕКЛОЧА у себя дома угощал «старкой». <...>

Протокол мною лично прочитан. Показания с моих слов записаны правильно. Дополнений и поправок не имею. Подпись: Гинзбург

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса А.И. Гинзбурга
16 мая 1964

<...>

Вопрос: На допросе 15 июня с.г. вы показали, что к вам домой в январе 1964 г. приезжали американцы Игорь Мид и Павел Секлоча. С какой целью они к вам приезжали?

Ответ: С какой целью они приезжали ко мне, я не знаю, я уже показывал на допросе вчера, что пригласил их к себе домой, т.к. считал неудобным не делать этого, ибо я сам был у них в гостях в номере гостиницы «Украина».

Вопрос: Кто еще присутствовал кроме вас при посещении вашей квартиры указанными американцами?

Ответ: Во время этой встречи кроме меня, Мида и Секлоча никто больше не присутствовал.

Вопрос: Кто из них привез и передал вам книгу «Новый класс» Джиласа на английском языке и другую литературу?

Ответ: Как я уже показывал, Мид и Секлоча приехали вместе (на городском транспорте), но привез книги и передал их мне Игорь Мид. <...>

Вопрос: Когда еще приезжали к вам домой Мид и Секлоча?

Ответ: До этого случая лишь однажды Мид вместе со мной заехал ко мне и мы почти тут же вышли обратно. Секлоча был у меня дома весной этого года. Он зашел тоже не надолго... <...> Насколько я сейчас могу припомнить, во время этих приездов Мида и Секлоча никого из посторонних у меня дома не было. <...>

Вопрос: Назовите знакомых, которые собирались у Вас в квартире?

Ответ: Этого я не хочу делать, называть никого не буду.

---

[50] В архиве Глеба Струве в Стэнфордском университете имеется фотография А. Гинзбурга с П. Секлоча, сделанная (судя по книжным полкам) в квартире Гинзбурга, на обороте которой есть надпись: «Декабрь 1963».

Вопрос: С какой целью собирались у вас разные лица на протяжении 1963-64 г.г.?

Ответ: О цели их посещений моей квартиры и «сборов» у меня, мне кажется, нужно спросить этих людей. Мне же было просто интересно послушать их высказывания, проанализировать их, сделать какие-то выводы.

Вопрос: Скажите, называл Секлоча примерную дату своего приезда к вам после посещения весной этого года?

Ответ: Он мне сказал, что будет в г. Москве с 15 по 18 мая с.г. и мне позвонит по телефону. Мид по этому поводу ничего не говорил. <...>

Протокол мною лично прочитан. Показания с моих слов записаны правильно. Дополнений не имею. Подпись: Гинзбург.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Записка начальнику следственного изолятора КГБ полковнику А.А. Трояну
16 мая 1964

Задержанного ГИНЗБУРГА Александра Ильича, 1936 года рождения из-под стражи освободить.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КГБ по г. МОСКВЕ и МОСКОВСКОЙ ОБЛ. полковник Воронин

Верно: Бардин *[Подпись]*

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

16 мая Гинзбурга не только неожиданно выпускают из тюрьмы, но меняется и его статус: из обвиняемого он переведен в категорию свидетеля (при этом, правда, ему дают понять, что в любой момент он может стать подсудимым). Возможно, отчасти это было связано с названными на последнем допросе датами (15–18 мая), когда на связь с Гинзбургом перед своим отъездом из СССР должен был выйти Пол Секлоча. Однако их встреча не состоялась: Алик либо просто не ночевал в эти дни дома, либо удачно имитировал свое отсутствие.

Пол Секлоча – Глебу Струве
18 мая 1964

Гинзбург звонил мне из Москвы на праздниках, рассказывал о том, как движется дело с материалами, о которых я писал в прошлом письме. Странно, однако, что когда я позвонил ему прошлой ночью, по возвращении из Ленинграда, к телефону подошел его брат. Я спросил Сашу, но мне ответили, что не могут сейчас подозвать его к телефону. Когда я спросил, где он и что с ним, мне ответили: «Сами подумайте!» Поскольку я уезжаю уже завтра, 19 мая, у меня нет времени разобраться в этом. В одном я уверен – это не случайно. Он вел себя слишком заметно и они (КГБ) могли нас подслушивать. Это слегка нервирует меня. *(Stanford, California, USA. Gleb Struve. Box 13)*

Протокол допроса А.И. Гинзбурга
22 мая 1964

Допрос начат в 14 час. 05 мин. -»- окончен: в 16 час. 50 мин.

ВОПРОС: Во время обыска у вас в квартире были обнаружены фотоснимки с типографских гранок под названием «Смерч». Скажите, когда, где и при каких обстоятельствах были сделаны эти фотокопии?

ОТВЕТ: Осенью 1963 года, в октябре или ноябре месяце, от одного из своих знакомых, имя которого я не буду называть из-за честного слова, данного ему, узнал, что Галина Серебрякова, известная писательница, предоставила в редакцию газеты «Литературная Россия» черновик своей рукописи, которая должна была быть напечатана в этой газете. Гранки этой рукописи были направлены, видимо, на рецензию, и попали к моему знакомому, у которого я буквально на два часа взял эти гранки, просмотрел их и переснял на своей репродукционной установке для себя.

А позже выяснилось, что эта работа Серебряковой публиковаться не будет. Поэтому я отпечатал на фотобумаге один экземпляр этого произведения и читал его, правда, я прочитал его прямо с фотопленки еще раньше, до печатания.

Никому из своих знакомых я не давал читать этот «Смерч» ни в пленке, ни на фотобумаге; никому я об этом произведении, находившемся у меня, не говорил. <...>

ВОПРОС: Почему вы во время допроса неискренне и неполно отвечаете на вопросы, не называя имен своих знакомых?

ОТВЕТ: Я на вопросы отвечаю искренне, правдиво, но не называю имен своих товарищей и знакомых, которые мне дали для ознакомления ряд произведений, потому что я дал им честное слово не говорить об этом и я не хочу, чтобы следственные органы их беспокоили.

ВОПРОС: Каким образом к вам попало «произведение» «Антология советской патологии» и что оно из себя представляет?

ОТВЕТ: Эта книжонка попала ко мне спустя примерно полгода после моего освобождения из лагеря, т.е. 21 ноября 1962 г. во время празднования моего дня рождения; кто-то мне ее подарил. Эта книжка представляет из себя бред каких-то ленинградских мальчишек, которые составили этот «сборник» из разных стихов различных людей, включив туда стихотворение известного поэта Бродского[51]. <...>

А. Гинзбург *[Подпись]*

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Обращение А.И. Гинзбурга в Идеологическую комиссию ЦК КПСС[52]
27 мая 1964

В настоящее время Московское управление Комитета государственной безопасности ведет следствие по делу «об антисоветской пропаганде». Я был привлечен в качестве подозреваемого, ныне меня вызывают и допрашивают как свидетеля, но мне все время дают понять, что и обвиняемым по этому делу буду я. <...>

Со мной обращаются корректно, вежливо, так что на ход следствия грех было бы жаловаться – и здесь вполне ощутимы благотворные веяния последних партийных съездов. Так что я вовсе не кляузу вам пишу, цель моего заявления другая. Хотелось бы разъяснить, что нет никаких реальных оснований для приписывания мне действий и поступков, которые, хотя и не преследуются законом, но несовместимы с моральными принципами нашей социалистической страны.

С 1960 года меня регулярно обвиняют в «антиобщественной деятельности»; пора, наконец-то, разобраться с этим. <...>

После отбытия остатка срока я лишь в результате двухмесячных хлопот был прописан в Москве к пожилой больной матери, хотя для отказа мне в прописке не было никаких оснований; из-за того, что на трудоустройство мне дали в ультимативном порядке всего три дня, я вынужден был устроиться на трехсменное выгребание нечистот и засоров городской канализации. Дурная слава, распространенная обо мне фельетоном в «Известиях», не давала мне возможности хотя бы внештатно сотрудничать в печати, что до ареста как-то у меня получалось, возможности продолжать учебу на заочном отделении университета. Социальное положение рабочего-канализатора не позволяло мне пользоваться необходимыми мне книгами в специальных библиотеках, получать и любую другую информацию, легко доступную людям, профессионально или учебно-академически занимающимся искусствоведением.

---

[51] В протоколе слово «известного» зачеркнуто, причем без обычной в этих случаях пометки «исправленному верить».

[52] В шапке письма упомянуты также следующие адресаты: главный редактор газеты «Известия», заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ и Комиссия партийно-государственного контроля при ЦК КПСС.

Я еще в заключении начал большую и очень для меня серьезную (я не могу судить о ее действительной ценности) искусствоведческую работу – [вместо] официальных возможностей, которые были для меня закрыты, я теперь прибегал к каким-то личным связям, пользовался личными библиотеками знакомых, при помощи друзей бывал на различных смотрах, спектаклях, концертах, выставках, предназначенных для работников искусства, журналистов, писателей. Таким образом можно было восстановить какие-то пробелы в знаниях, как-то, хотя бы неофициально, встать на уровень людей, которые были или которых я хотел видеть своими друзьями, чей авторитет много для меня значил. Нужную и интересную мне серию короткометражных французских фильмов по искусству (которая была показана на Французской выставке в Москве в 1961 году, когда я был в заключении) я достал в посольстве Франции. Я не ходил за ними в посольство, фильмы приносили ко мне мои знакомые – французские филологи, проходившие стажировку по русской литературе в Московском университете. При этом я не совершил ни одного поступка, который мог бы тем или иным образом скомпрометировать нашу страну, наше общество. Я до сих пор уверен, что интерес к искусству не может кого-либо компрометировать. Картины мы смотрели в кругу немногих знакомых с помощью узкопленочного проектора, взятого в обычном пункте проката вещей. Но это опять широко было объявлено «антиобщественной деятельностью», обо мне опять писали «Известия» («Дуньки просятся в Европу» М. Стуруа и В. Кассиса...), меня, по «рекомендации» органов госбезопасности обсуждали на цеховом собрании на заводе, приравнивая к Пеньковскому, тунеядцам, фарцовщикам, проституирующим девицам и т.п.

Собрание на заводе имело результат прямо противоположный желаемому. Я стал «героем дня», и ко мне обращались за советом и помощью, потому что приписанные мне взгляды, высказывания и действия кое-кому пришлись по душе.

Вполне понятно, что после собрания на заводе мое общественное положение не стало лучше. Вызовы некоторых моих знакомых в КГБ – разумеется – побудили их отказаться от «опасных» связей со мной. Новые ограничения, возникшие из этого для меня, вызвали мой последний «поступок», который и разбирается сейчас органами госбезопасности, и будет впоследствии, я убежден в этом, опять назван «антиобщественной деятельностью».

Я попросил гида выставки «Американская графика» достать мне, чтобы прочитать, несколько книг, изданных за рубежом на русском (я недостаточно владею английским, чтобы читать это в подлиннике). Мое знакомство с ним состоялось в результате широкой рекламы с его стороны того нового направления в живописи – «популярного искусства» – «попарта» – к которому он, художник Игорь Мид, принадлежит. О «попарте» у нас было известно очень мало из нескольких газетных заметок, как об искусстве близком к реализму и завоевывающем все новые позиции на западе. Мид принес мне некоторые из книг, которые я просил, и несколько других, по своему усмотрению. Среди других была, в частности, книга Джиласа «Новый класс» на английском языке. (Несколько позже мне случилось прочесть русское издание этого «труда». По-моему, это антибюрократический бред прожженного бюрократа, нелепое и скучное сочинение.) Чтобы не оставаться в долгу, я подарил Миду книги о русском и советском искусстве. Его же книги пролежали у меня несколько месяцев и за это время из-за моей небрежности их видели несколько знакомых. Из этого сейчас органами госбезопасности делается предварительный вывод о том, что я р а с п р о с т р а н я л (?!) эти книги.

Кроме того, мне предъявляются претензии, что я не называю имен своих знакомых. Но я научен горьким опытом предыдущих вызовов моих знакомых в КГБ, и не хочу, чтобы неловкое вмешательство этих органов мешало жить и работать людям, как-то связанным со мной. Ленинская справедливость восстановлена, законность торжествует, но травматические страхи еще остались, и нервы у людей тоже не из проволоки, ведь верно? Тем более, что я не преступник, не антисоветчик, не «антиобщественный деятель» (как постоянно стараются меня представить), одно знакомство с которым почти преступно или, во всяком случае, компрометирует людей, занятых на идеологической работе. И, если честно сказать, я боюсь остаться без их помощи, что для меня в моем положении будет подобно духовной смерти. Мне, кроме как от них, неоткуда больше ждать

помощи. У меня возникают мысли о самоубийстве. Новое следствие отбросило всякую возможность поступить в университет, к чему я готовился весь последний год. Отбросило опять и возможность сотрудничать в печати.

Я не хочу сказать, что моей учебе и работе препятствует непосредственно органы госбезопасности. Но сам факт интереса ко мне со стороны этих органов делает меня в глазах многих организаций настоящим преступником. Печатать Гинзбурга? Принять в университет Гинзбурга? – и так далее. Иногда это говорится прямо в глаза (как год назад – зав. отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ тов. Верченко[53]), иногда внушается намеками. Очень характерен последний факт. После того, как на заводе стало известно о последнем «деле», я попросил характеристику для поступления в институт. И получил – противоположную той, какую я заслужил, характеристику, в которой нет и слова правды, такую, что и на порог института с ней не пустят. В данном случае я уверен, что это не инициатива КГБ, а чистой воды трусость заводских руководителей, нежелание отвечать за поддержку «государственного преступника».

Очередной фельетон опять поднимет непонятно кому нужный ажиотаж вокруг моего имени, и опять будут выпады с запада, которые снова сделают меня фигурой одиозной и «крамольной». Зачем это? Ведь (ч т о с а м о е г л а в н о е) это распространенное и распространяемое мнение обо мне как о каком-то вражеском идеологическом центре, столь любезное сердцу крикунов, абсолютно не соответствует действительности. В конце концов, не могут же мои «гонители» – и следователи, и фельетонисты – не обратить внимание на то, что большинство моих знакомых (литераторы, художники, музыканты, актеры, искусствоведы, журналисты, инженеры) – не моложе, а многие и значительно старше меня, авторитетнее, солиднее, независимее. И вот среди этих людей, о которых никому в голову не придет сказать плохое, якобы ведет «антисоветскую пропаганду» (или «антиобщественную деятельность») недоучившийся токарь. Не смешно ли?

У меня несколько лет назад – сознаюсь – были разные левацкие взгляды: мне нравились абстракционизм, джаз, Шенберг, Волконский, Корбюзье; кое-что из этого мне симпатично и до сих пор. Но вкус у меня, как и у большинства моих ровесников (и тогдашних единомышленников) созрел, значительно изменились наши интересы. Мы ощущаем веяние зрелости, взрослого духа. С мальчишеством надо кончать, мне 28 лет, скоро 30. А меня поставили действительно в шизоидное положение. Поймите, тут действует такая искусственно поддерживаемая раздвоенность: интеллигент-ассенизатор. Труд и опыт – прекрасная вещь, это мне очень много дало (тем более, что трудиться я начал с шестнадцати лет, и школу кончал экстерном), но зачем мешать мне приобретать знания и использовать возможности работы по основной специальности? Раздвоение личности (в психиатрии) приводит к душевному заболеванию. Двойственность моего положения (постоянно поддерживаемая со стороны) приводит к ненормальностям и эксцессам в моем личном поведении. Я, конечно, нервничал, метался. Прочел несколько дурацких книг, завязал несколько знакомств с иностранцами. Все это с некоторого отчаяния делалось, это были развлечения висельника. Ведь создали мне это «висельное» положение, создали как повседневность! Куда мне от этого деваться? Я ищу выхода. Я не совершил ничего преступного и вправе искать выхода.

Я обращаюсь в государственные инстанции с просьбой. Разрешите мне закончить образование в университете, чтобы я мог работать по специальности – допустим, младшим редактором в каком-нибудь техническом издательстве. Мне намекают, что доучиваться на факультете журналистики я не вправе, т.к. это идеологическая специальность, но дайте хоть филологический факультет закончить, благо программа сходная. Образование – мое конституционное право, я буду настаивать на его осуществлении. <...>

---

[53] Верченко Юрий Николаевич (1930–1994) – комсомольский функционер. В начале 1950-х годов – зав. отделом «Московского комсомольца». В 1957–1959 годах – секретарь МГК ВЛКСМ, с 1959 по 1963 год – зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, в 1963–1968 годах – директор издательства «Молодая гвардия», затем – ответственный секретарь СП СССР.

Позвольте мне учиться и жить нормально – вот моя единственная просьба. И тогда тень, наброшенная на меня следователями и фельетонистами, отпадет сама собой. Я работаю токарем, премирован как токарь и как рационализатор, мне симпатична моя работа, мой станок, я искренне хорошо отношусь к заводу, к товарищам. Я постоянно оформляю стенгазету – эта форма связи умственного труда с производственным доставляет мне и чисто личное удовлетворение. Мне хотелось бы жить в духе нового, честного и свободного времени. Не надо изготовлять из меня «опасного деятеля», это никому не нужно. Надеюсь, что моя просьба будет рассмотрена. Жду ответа.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса И.В. Корховой

28 мая 1964

С семьей Гинзбурга я знакома с детских лет. Наиболее близкие отношения сложились с 1958 года. Навещала мать, когда Гинзбург был в заключении.

Разговоры сводились к поэзии, живописи, вообще искусству. Мне кажется, его отношение к искусству выражалось в таком тезисе: необходимо поменьше вмешиваться административным, государственным и партийным органам в сферу искусства, не давать какие-то категорические советы, оценки, как это было, например, с книгой Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и с самим автором, которого смешали с грязью. Я эту позицию в какой-то степени разделяю.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса А.И. Гинзбурга

29 мая 1964

Допрос начат в 13 час. 20 мин. -»- окончен: в 15 час. 50 мин.

<...>

ВОПРОС: Требовали у вас что-либо Мид и Секлоча взамен принесенных вам книг?

ОТВЕТ: Нет, ни Мид, ни Секлоча ничего от меня не требовали и не просили. Я им сам подарил много книг о древнерусской живописи, о русских и советских художниках.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса В.В. Кожинова

12 июня 1964

<...> Иностранных книг, изданных на русском языке, у Гинзбурга я никогда не видел. Зимой 1963-64 ко мне зашел мой знакомый Чудаков Сергей, близкий товарищ Гинзбурга (который, кстати, меня и познакомил-то с Гинзбургом) и я увидел у него книгу «Мосты», изданную в г. Мюнхене. Я полистал ее и увидел статью о русском философе прошлого века Леонтьеве, заинтересовался ею и попросил Чудакова оставить мне эту книгу. Он мне ее оставил и она находилась у меня 2 дня, за которые я и прочитал эту статью. Насколько я сейчас припоминаю, я не интересовался у Чудакова, где он взял эту книгу.

[Следователь предъявляет Кожинову альманах «Мосты» № 10 за 1963 год. Кожинов подтверждает, что именно этот номер давал ему Чудаков.]

Возвращая эту книгу Чудакову, я попросил его достать начало этой статьи о Леонтьеве, так как в № 10 был напечатан ее конец. На что мне Чудаков ответил: «Тебе Гинзбург даст». Но я Гинзбурга не видел, книгу у него не спрашивал и мне никто другую книгу «Мосты» не давал.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса А.И. Гинзбурга

17 июня 1964

<...> ВОПРОС: Во время обыска у вас были изъяты шесть коробок, в которых находились фотопленки со сфотографированными на них разными произведениями. Расскажите, чьи произведения и для какой цели вы фотографировали?

ОТВЕТ: По поводу сфотографированной мною рукописи (точнее, гранок) Серебряковой «Смерч» я уже давал показания на одном из предыдущих допросов.

Подруга Веры Шитовой Инна Соловьева – критик, и по заказу журнала «Новый мир» она написала статью о произведениях Всеволода Иванова. Эту статью она дала мне почитать. Я заинтересовался ею и, т.к. мне нужно было эту рукопись отдать обратно, я сфотографировал ее, чтобы прочитать в спокойной обстановке, тем более, что я сам хотел и даже начал писать о литературе 30-х годов. Инна Соловьева была несколько раз у меня дома. <...>

Лидию Чуковскую я не знаю, кажется, это критик; однажды ко мне ненадолго заехал приятель по имени Миша (фамилию не знаю, из Ленинграда), у которого была повесть Чуковской «Софья Петровна». Повесть мне понравилась, и, чтобы оставить ее у себя, я ее сфотографировал, т.к. Миша уезжал обратно.

Бумажки с надписями к имевшимся у меня фотопленкам я прикрепил относительно недавно, поэтому название «Советская потаенная муза»[54], которое я написал на одном из клочков, прикрепленных к пленке, условно, т.к. я плохо помнил содержание произведений, сфотографированных на этой пленке. Эту книгу я брал у кого-то давно, она издана на Западе и это был мой первый опыт переснимать произведения. <...>

Чудаков Сергей Иванович – мой давний приятель и я взял какие-то его произведения сфотографировать. Он журналист, нередко печатается в «Литературной России». <...>

Максимова я не знаю; его произведение: «Дуся и нас пятеро» будет печататься в журнале «Октябрь» и в том же журнале будет печататься его «Двор посреди неба».

Повесть Платонова «Мусорный ветер», отпечатанная на машинке, сфотографирована мною. Это советский писатель, умер он лет десять назад. Насколько мне известно из разговоров со знакомыми из литературного мира, его произведения скоро будут изданы.

Произведения Бориса Вахтина – ленинградского прозаика – попали ко мне как-то случайно, с произведениями Л. Чуковской. Я их тоже сфотографировал: «Ванька-каин» и «Летчик Тютчев – испытатель». По-моему, он печатается в альманахе «Молодой Ленинград». Лично я его не знаю. <...>

Насколько мне известно, Жорес Медведев – биолог, он написал книгу для печати «Культ личности и биологическая наука»[55]. Кажется, отец Жореса Медведева был репрессирован в годы культа личности. С Медведевым я не знаком, его книгу в напечатанном виде я не видел, но отпечатанную на машинке мне дали в общежитии Литературного института. Кто мне ее дал, я не помню, но после того, как я ее прочитал, я вернул ее обратно.

Наташу Горбаневскую я знаю, она хорошая поэтесса, немного печаталась. У меня были ее стихи и я их сфотографировал.

Рейн и Найман – ленинградские поэты; я знаком с ними. Рейн выпустил две детские книжки, а Найман печатается под псевдонимом «Чаянов» в каких-то ленинградских журналах. Найман у меня не был, а Рейн бывал до 1960 года у меня дома.

Поэт Введенский умер в 1934 г.; в те годы он был одним из руководителей литературных журналов в Ленинграде. <...>

Протокол мною лично прочитан. Показания с моих слов записаны правильно. Поправок и дополнений не имею.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Протокол допроса А.Б. Русанова

19 июня 1964

У Гинзбурга разговаривали не о политике, а о литературе и искусстве.

---

[54] Советская потаенная муза. Из стихов советских поэтов, написанных не для печати / под ред. Б. Филиппова. Мюнхен: Baschkirzew, 1961.

[55] Речь идет о работе Ж. Медведева «Биологическая наука и культ личности. Из истории агробиологической дискуссии в СССР» (1962).

После Манежа и обсуждения этого вопроса в печати были разговоры и на эти темы. И я, и Гинзбург считали, что в вопросах литературы и искусства нужно предоставить больше свободы художникам, писателям, поэтам и т.д.

Но после закончившейся дискуссии по этим вопросам (совещание в Кремле, статьи в газетах и т.д.) мы все приняли как должное ее решения и больше каких-либо разговоров, расходящихся с этими решениями, не было.

Книг на русском языке, изданных за границей, я у него не видел и для меня было большой неожиданностью увидеть такую литературу при обыске, во время которого я пришел к Алику.

Гинзбург – человек неуравновешенный, экспансивный, стремящийся к популярности, результатом чего и были посещения его довольно известными писателями, журналистами и художниками.

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Сотрудники КГБ не ограничились допросами приятелей, посещавших квартиру Гинзбурга. 20 июня была допрошена некто Головина Н.М. Как можно понять из контекста допроса, именно она в марте 1963 года совершила обмен квартирой с Гинзбургами.

Столь непродолжительное знакомство не помешало ей выдать Алику следующую характеристику: «Очень несобранный, болтлив, хвастлив, со стороны матери не получает правильного направления. Хотя и галантный, любезный человек. Соседям семья Гинзбургов причиняла много неудобств из-за того, что у них собиралось много народа».

Этим же числом датирован допрос Быстрова Н.М., мастера на Ростокинском заводе железобетонных конструкций, где работал Алик. Показания мастер дает путаные: сначала утверждает, что норму Гинзбург выполнял, но затем (после того как ему озвучили характеристику с завода?) начинает жаловаться на «постоянные больничные листы» и нежелание Гинзбурга выполнять другую работу в случае простоя по основной.

Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная Ростокинским заводом железобетонных конструкций

5 июня 1964

Тов. Гинзбург Александр Ильич родился в 1936 г. в г.Москве, по национальности еврей, образование среднее, беспартийный.

На Ростокинском заводе железобетонных конструкций работает с июня 1963 г. токарем Ремонтно-механического цеха. <...>

Норму выработки как правило не выполняет, качество продукции выпускает низкое. Это объясняется тем, что производственная работа его не интересует, квалификацию свою не повышает. Общественными делами завода не интересуется, но изредка участвовал в выпуске стенгазеты цеха.

Т. Гинзбург А.И. недостойно ведет себя в быту, нарушает нормы поведения в коммунальной квартире, в феврале 1964 г. решением товарищеского суда дома, где проживает, Гинзбург А.И. был оштрафован на 10 руб.

Общеобразовательный, технический и политический уровень не повышает.

Настоящая характеристика утверждена на заседании завкома профсоюза 1 июня 1964 г., протокол № 16.

Директор завода: *Ф. Благодатский*
Председатель завкома профсоюза: *А. Алейников*
5 июня 1964 г.
(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Насчет того, что «производственная работа его не интересует» руководство, мягко говоря, привирает. Согласно выписке из трудовой книжки, Гинзбург за период работы на заводе подал минимум два рационализаторских предложения:

За рац. предложение выдано 28 руб. 62 коп. Пр<иказ> 457 от 11.12.63

За рац. предложение выдано 15 рублей Пр<иказ> 33 от 31.1.64

(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)

Протокол допроса С.И. Чудакова

27 июня 1964

С А.И. Гинзбургом (для меня просто Сашей) я знаком очень давно, с 1955 года – мы вместе сдавали экстерн за 10 классов. <...> Гинзбург привлекал меня своими интеллектуальными увлечениями, некоторой художественной одаренностью. Были у него (как и у меня, разумеется) разные за эти годы проступки и срывы, но теперь он сделался человеком более солидным и обстоятельным. Все эти годы он – как и я – отличался симпатиями к левому искусству, к нему хорошо относились крупные и значительные художники этого круга, их хорошее отношение создало ему некоторый в этом специфическом направлении авторитет. <...>

Кроме того, он, с его очень искренней любовью к поэзии, собирал – как и все мы – всякие стихи, в книжках и неизданные, перепечатывал их. Эти стихи я у него неоднократно брал, давал ему то, что есть у меня – вообще, это нас связывало. Все это неотделимо от доставания разного рода книг, как редких и почему-либо ценных в литературном отношении, так и ожидающих своего издания, еще в машинописном виде. <...>

Я считаю, что Гинзбургу надо помочь устроиться на менее изнурительную работу – по состоянию его здоровья. Во-вторых, дать возможность докончить образование. Тогда ему вполне хватит дела в неподозрительных сферах жизни, и он не будет встревать в те сферы, которые с точки зрения комитета кажутся подозрительными. Дружеское расположение к Саше, несмотря на ряд допущенных им глупостей, я сохраняю. [*Записано собственноручно.*]

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

Постановление следственного отдела управления КГБ по г. Москве и Московской области о прекращении уголовного дела в отношении А.И. Гинзбурга

13 июля 1964

Следователь следственного отдела УКГБ при СМ СССР по гор. Москве и Московской области лейтенант Бардин, рассмотрев материалы уголовного дела № 230

УСТАНОВИЛ: <...>

В ходе проведенного расследования не было установлено фактов распространения Гинзбургом литературы антисоветского содержания, т.к. Логинова Н.К. показала, что взяла читать книгу «Новый класс» у Гинзбурга без его разрешения; Хануков А.И. показал, что, находясь в комнате у Гинзбурга, он читал «Новый класс», однако он это делал без ведома последнего; ряд других допрошенных свидетелей, часто посещавших Гинзбурга, показали, что книг зарубежных изданий они у него не брали и не читали.

Таким образом, не был доказан и умысел у Гинзбурга на хранение литературы антисоветского содержания для ее распространения.

Гинзбург в заявлении в органы КГБ от 20 июня 1964 г. написал, что он осознает свои неправильные действия.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п.2 ст.5 УПК РСФСР, –

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело производством прекратить за отсутствием состава преступления в действиях Гинзбурга, о чем ему объявить.

2. В связи с тем, что Гинзбург, храня у себя указанные книги, создал условия для распространения литературы антисоветского содержания, довести об этом до сведения общественности Ростокинского завода железобетонных изделий для принятия к нему необходимых мер.

3. Вещественные доказательства – принадлежащие Гинзбургу книги антисоветского содержания, изъятые из обращения, передать в спецфонд.

Настоящее постановление мне объявлено «[*Дата не проставлена*]» июня 1964 г.

СОГЛАСНЫ:

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ по г. Москве и МО – ст. лейтенант БАРДИН

НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ по г. Москве и МО – полковник юстиции ИВАНОВ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ по г. Москве и МО – генерал-майор СВЕТЛИЧНЫЙ [*Подписано его замом Ворониным*]

(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)

После преследований со стороны КГБ, особенно с учетом той характеристики, которую подготовило для органов руководство завода, Гинзбург был вынужден уволиться с завода ЖБК и устроился в библиотеку.

Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная Библиотекой № 7 Бауманского района г. Москвы

[*1964*]

ГИНЗБУРГ Александр Ильич работает в библиотеке № 7 отдела культуры Бауманского райисполкома г. Москвы в должности библиотекаря с октября 1964 г.

За время работы в библиотеке А.И. Гинзбург проявил себя как добросовестный сотрудник, хорошо справляющийся со своей работой, активный во всей жизни коллектива, хороший товарищ.

Он с большим вниманием и знание своего дела относится к читателям библиотеки, чем завоевал уважение среди читателей библиотеки.

Зав. Библиотекой № 7 Бауманского р-на Мухина

Профорг библиотеки Федотова

(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)

Ярослав Голованов: В начале осени 1964 года главный редактор «К<омсомольской> п<равды>» Борис Панкин попросил меня написать некую документальную «шпионскую» повесть с продолжением, напечатав которую в конце года, он собирался повысить тираж газеты. Он позвонил начальнику Московского управления КГБ генералу Михаилу Петровичу Светличному, обо всем с ним договорился, там меня уже ждали. Помню, когда я обсуждал с генералом, человеком весьма проницательным и с чувством юмора, сюжет будущей повести, ему доложили, что пришел вызванный им некий Гинзбург. – Не уходите, – сказал генерал. – Вам будет интересно... В кабинет вошел чернявый молодой человек (моложе меня), небольшого роста, весь какой-то невзрачненький. Они стали беседовать на тему, мне неинтересную: диссиденты. В те годы я был верноподданным «совком», влюбленным в газету и уже отчасти нашедшим себя в своей любимой научной журналистике. Слушал я их беседу вполуха. Говорил главным образом генерал. Он долго с разных концов урезонивал этого Гинзбурга, просил его остепениться и оставить свою антигосударственную деятельность. Мне было скучно... *(Голованов Я. Заметки вашего современника // Комсомольская правда. 2003. 9 июля)*

Как видим, КГБ не прекратил своего давления на Гинзбурга и после формального прекращения дела, в том числе и потому, что так и не получил от него по-настоящему «покаянного» письма: ни опубликованное выше обращение в Идеологическую комиссию ЦК КПСС, ни записка следователю от

20 июня 1964 года, упомянутая в постановлении о прекращении уголовного дела, за таковое сойти никак не могли.

С покаянием Алик не спешил. Однако, часовой механизм «бомбы» в виде трех номеров «Синтаксиса», переданных в редакцию журнала «Грани», продолжал тикать. Задержка с публикацией понятна: после письма Секлочи Струве от 18 мая 1964 года, где он высказывает предположение об аресте Гинзбурга, опубликовать «Синтаксис» следом за стихами Бродского означало указать на канал, по которому эти тексты были переданы на Запад – и тем самым окончательно подвести Алика под монастырь.

Только 8 января 1965 года Струве написал редактору «Граней» Наталье Тарасовой, уже давно просившей его присылать ей рукописи из России, что получил «Синтаксис» «от самого Гинзбурга» и готов предоставить ей этот материал для журнала.

Когда о публикации «Синтаксиса» стало известно (все номера журнала были напечатаны в «Гранях» № 58[56]), Гинзбургу, по-видимому, поставили ультиматум.

Второй раз садиться за журнал, изданный более пяти лет назад, было глупо, и Гинзбург написал письмо, которое – с добавлениями, сделанными то ли редакцией газеты, то ли сотрудниками органов[57] – и было опубликовано в «Вечерней Москве» 3 июня 1965 года.

Вечерняя Москва. 1965. 3 июня

А. Гинзбург

Ответ господину Хьюгесу

Из конверта выпали сложенные вчетверо листки – оглавление какого-то толстого журнала. «Дорогой господин Алик Гинзбург, – гласила приложенная к ним записка, – если вы имеете рукописи передать за границу, – напишите по адресу...» – и затем следовал адрес некоего Лорана Хьюгеса из французского города Лиона. <...>

Нет, не такие письма хотелось бы видеть на своем письменном столе, не с лионскими резидентами эмигрантских журналов и стоящими за ними западными разведками иметь бы дело. Но, может, и по заслугам мне такие «друзья»... Перебираешь жизненные факты, сопоставляешь, складываешь. Где же сошел ты, Александр Гинзбург, с пути, по которому идет советская молодежь? Как получилось, что твое имя вот уже не первый год треплют редакции «Штернов» и «Шпигелей», «Граней» и «Посевов», что твое имя стало козырем в руках у идеологов Запада, специализирующихся на антикоммунизме? Тебя же растили и воспитывали советским человеком, ты учился, работал, думал... Но всегда ли серьезно задумывался?

Кажется, все началось с переоценки собственной личности. Я решил посвятить себя изучению литературы. Мне далеко не все было ясно. Как неопытный археолог, копаясь в верхних слоях, находит лишь закопанные браконьерами кости, так и мне часто попадались лишь поздние отложения. Нужно было перечитать горы книг, найти и раскрыть для себя действительные сокровища. А я продолжал восхищаться любым экспериментом, даже пятидесятилетней давности.

Шли годы, я знал уже десятки возможных «путей» в поэзии и свое мнение отстаивал с апломбом крупного специалиста. Потом затеял издание машинописного журнальчика «Синтаксис» (так звали собачку из чеховского рассказа). По сути это была любительская перепечатка на машинке нравящихся мне стихов, которые, на мой взгляд, должны были сами за себя говорить. Это была приятная затея, особенно для тех, чьи плохие (увы, их было много) стихи были напечатаны рядом с чьими-нибудь хорошими.

---

[56] На обложке журнала «Грани» № 58 как месяц выпуска обозначен июнь 1965 года, однако это сделано в силу сложившейся практики редакции журнала выпускать номера с опережением. На самом деле журнал появился в продаже в конце мая.

[57] О вмешательстве в текст статьи Гинзбург говорил в письме к А.Н. Косыгину в декабре 1965 года, а также на процессе 1968 года.

Одно цеплялось за другое, несерьезное отношение к литературе, которую я считал своим призванием и профессией, переходило и на этические нормы, приводило к недостойным поступкам. За подлог я был осужден на два года.

<...> Я, видимо, показался западным пропагандистам вполне подходящим для этого человеком. Сотворив вокруг меня ореол после моего возвращения из тюрьмы, они решили, вероятно, за неимением лучшего, использовать меня в качестве одного из винтиков своей машины.

И все шло, как им казалось, успешно. Меня приглашали на просмотр французских фильмов, я читал английские и американские книжки, встречался с иностранцами. А машина за моей спиной работала, не переставая.

<...>...И вот эпилог: на моем столе письмо от господина Хьюгеса. Сознаюсь, письмо я в злости порвал и остался без лионского адреса. Отвечая через газету (надеюсь, она попадет в руки г-на Хьюгеса), я вынужден удерживаться от некоторых крепких выражений, которыми не постеснялся бы наградить моего корреспондента в личном письме.

Но несколько сдержанных советов хочу ему дать.

Не надейтесь на какую-либо поддержку в Советском Союзе. Советский патриотизм – не пропагандистская выдумка, а неоднократно подтвердивший себя факт, испытанная сила.

Не спекулируйте на интересе к искусству Запада. Мы хотим знать все, но оставляем в душе лишь близкое нам по мировоззрению.

Не играйте судьбами живых людей. Слава борца за западное гнилье – слава прокаженного.

На сем прощайте,

А. Гинзбург

Почти сразу на публикацию в «Вечерней Москве» отреагировали в журнале «Посев» (номер от 6 августа 1965 года), официальном органе Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС): «Из письма А. Гинзбурга всякому становится ясно, что он был посажен в тюрьму не за "подлог", как он сам пишет, а именно за распространение подпольного журнала "Синтаксис", а главный грех редакции "Грани" заключается в том, что "на свет вытаскивается подпольный литератор, подпольный общественный деятель"».

Оскар Рабин: А «Письмо Хьюгесу» – ну, заставили они его, конечно, написать. На самом деле очень сложно выдержать давление органов. Да и что он там уж такого написал? Ничьих фамилий не называл, даже этих американцев, которые, к тому же, давно уехали. Мид и Секлоча. Это ведь и мои знакомые, авторы первой книги про советское неофициальное искусство, про Лианозово[58]. В 60-е она вышла, довольно толстая, с моей картиной на обложке. *(Интервью составителю. Июнь 2016)*

Павел Литвинов: Письмо это вызвало большое удивление у друзей Гинзбурга и, по-видимому, послужило источником мучительных переживаний для него самого. Для него очень важна была возможность показать всем, и прежде всего себе самому, что в действительности он не изменился и сохранил верность своим прежним взглядам о необходимости творческой свободы. *(Процесс четырех: Сборник документов о суде над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, А. Добровольским, В. Лашковой / сост. П. М. Литвинов. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)*

Публикация этого письма вызвала не только удивление, но и более бурную реакцию, в частности, Владимира Буковского. Не будучи на тот момент лично знаком с Гинзбургом, Буковский пришел узнать его адрес у Алены Басиловой. По словам последней, она сама отвела Буковского к Алику, причем в процессе состоявшегося напряженного разговора дошло до рукоприкладства: «Я разнимать

[58] Sjeklocha P., Mead I. Unofficial Art in the Soviet Union. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.

бросилась, получалось, что я привела бандита. Но Алик вдруг меня останавливает и говорит: "Не надо, он прав". Я обиделась на Буковского. Как тебя знакомить с людьми, если ты такой дикий»[59].

Последствия публикации письма еще долго аукались Алику. Даже год спустя за ним тянулся этот шлейф.

Андрей Сахаров: ...В середине 1966 года ко мне пришел [Эрнст] Генри с номером «Вечерней Москвы», в котором была заметка о «покаяниях» Гинзбурга (или сами покаяния). Генри явно хотел мне внушить, что с таким человеком, как Гинзбург (о котором я до сих пор ничего не слышал), нельзя иметь дело, нельзя за него заступаться. Чья это была инициатива, я не знал. Но я решил игнорировать это предупреждение. *(Сахаров А. Воспоминания. М.: Время, 2006)*

Единственным плюсом «Ответа господину Хьюгесу» стало то, что Гинзбургу наконец разрешили поступить на вечернее отделение Историко-архивного института.

Характеристика А.И. Гинзбурга, выданная ВНИИС при Совете Министров СССР
24 мая 1966

Тов. Гинзбург Александр Ильич, 1936 г. рождения, работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте стандартизации комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР с 30 августа 1965 по 16 мая 1966 г., в должности ст. лаборанта отдела исследования операций.

За время работы во ВНИИС тов. Гинзбург А.И. вел библиографическую и реферативную работу. Им был составлен для нужд отдела англо-русский словарь терминов по исследованию операций и математической экономике. Тов. Гинзбург знаком с сетевым планированием и методами линейного программирования.

Тов. Гинзбург аккуратно относился к технической работе. Активно участвовал в общественной жизни отдела.

Характеристика дана для поступления в Вуз.

Зам. директора ВНИИС В. Седов

Председатель месткома В. Кавешников

(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)

Павел Литвинов: Он был безумно талантлив. Как-то раз он решил поступать на экономический факультет и попросил мне дать ему несколько уроков математики. Я говорю: Алик, ты же кончил школу так давно, ты же ничего не помнишь из математики. Однако начал с ним заниматься. После трех уроков он уже был готов поступать, ну, не на мехмат, но в очень приличный инженерный вуз. У него были просто колоссальные способности, великолепная память. Но главным в нем было то, что он создавал вокруг себя этот вихрь жизни, который увлекал других людей, который изменил и мою жизнь. *(К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70)*

Фрида Вигдорова – Александру Гинзбургу
12 мая 1965

<...> А у вас сейчас – время накопления. Не бездействия, не вынужденного «взгляда со стороны», а мысли и накопления. Я не утешаю, не объясняю: знаю.

Ф.В. 12.5.65, больница

(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 1)

[59] Интервью А. Журбина с А. Басиловой, не опубликовано; сообщено составителю А. Журбиным.

Александр Гинзбург: Знаете, была такая замечательная женщина, Фрида Вигдорова, писательница, которой, кстати, посвящена «Белая книга по делу Синявского и Даниэля». Однажды я ей написал, что у меня странное ощущение, что я нахожусь в провале, не могу ничего делать. <...> И она мне ответила: это совершенно естественно, идет период накопления. Я ей тогда поверил и потом много раз в этом убеждался. *(Гохман М. История в лицах: Александр Гинзбург // Лица. М., 1998. № 3)*

Глава 6

Сборник по делу Синявского и Даниэля

Александр Гинзбург: Я с этим делом столкнулся в первый раз, если не ошибаюсь, 9 сентября 1965 года. Я встретил на улице Марью Васильевну Розанову, жену Синявского, и она сказала мне, что Андрей арестован. Она не сказала мне ни – за что, ни – почему. Где-то через неделю я узнал от нее же, что он арестован как писатель Абрам Терц. Я знал Синявского давно, но мы не были близкими друзьями. Ну, была разница в положении: он профессор, он один из самых ярких критиков «Нового мира», а я, в общем, маленький журналист с не законченным университетом и немного скандальной репутацией. Хотя в пересечении наших судеб была такая смешная деталь. Когда шло следствие в 1960 году о «Синтаксисе», то, чтобы меня выгородить, Наташа Горбаневская записала в протоколе, что «Синтаксис» «не может быть чем-то преступным – он понравился даже Синявскому». Потом, когда я вернулся в 1962 году, меня вскоре после этого пригласил Андрей Донатович и очень подробно расспрашивал о том, как шло следствие. И буквально в тот же день или через несколько дней кто-то из друзей спросил меня, не знаю ли я, кто такой Абрам Терц. А я ничего Абрама Терца до тех пор не читал. Ну, после такого вопроса я, естественно, постарался раздобыть и прочитать. Но у меня никак Андрей Синявский и Абрам Терц не идентифицировались[60]. И вот через неделю примерно после его ареста я узнал, что Синявский и есть тот самый Абрам Терц.

Потом – очень нескоро – где-то через месяц-полтора, появились сообщения зарубежного радио об этом аресте и о предстоящем процессе. Причем сообщения были очень путанные. Тогда еще нас очень мало знали на Западе и путали совершенно всё. И, наконец, приближается февраль, приближается суд. Было абсолютно необыкновенным явлением, что до этого суда 70 советских писателей, вполне благопристойных, подписали заявление в защиту в защиту Синявского.

Тогда же произошла, в декабре 1965 года, первая демонстрация в защиту гласности, демонстрация на Пушкинской площади. И все это как-то подготовило нас к этому процессу. *(Документы и люди. Ведущая А. Федосеева [Александр Гинзбург о создании «Белой книги»] // Радио «Свобода». 28 февраля 1981)*

5 декабря 1965 года в 6 часов вечера на Пушкинской площади в Москве, у памятника поэту, несколько десятков человек провели манифестацию. Над толпой демонстрантов были подняты бумажные плакаты. На одних было написано: «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэ-

[60] В «Русской мысли» № 3925 от 17 апреля 1992 года, однако, Гинзбург пишет, как Вадим Кожинов в 1962 году повел его в «Асторию», «где группа литературоведов из его института провожала домой американского стажера, ныне крупнейшего специалиста по русскому XIX веку, Мартина Малия. Я сидел между американским гостем и пригласившим меня хозяином, и в какой-то момент американец спросил меня шепотом, не знаю ли я писателя Абрама Терца. Я не знал. Через несколько минут приятель прошептал мне с другой стороны: “Ты знаешь, это Андрей Синявский”».

лем!» Содержание других плакатов призывало «уважать Конституцию» и требовало освободить из психбольниц нескольких молодых людей, насильственно помещенных туда в связи с их участием в подготовке этой демонстрации.

Митинг стал первой подобной публичной акцией, состоявшейся в Москве (и, по-видимому, в стране) за несколько десятилетий.

Интервью с Александром Гинзбургом:

– Вы были на демонстрации 5 декабря 1965 года?

– Да.

– И вы были с демонстрантами?

– Да. Только меня не хватали, потому что я не орал ничего.

– Вы о ней узнали задолго до события?

– Как это задолго? Я был, в общем-то, одним из первых, кто узнал.

– И как вы к этой идее отнеслись?

– С удовольствием. Я вообще любил все, что придумывал Александр Сергеевич [Есенин-Вольпин].

– Вы, конечно, не отговаривали его устраивать митинг?

– Абсолютно не отговаривал. Это была хорошая идея.

– А вы не считали, что там всех похватают, попрячут, посажают?

– Посажают – нет, но похватают – да. Что и произошло на самом деле.

– Интересно, сколько, по-вашему, там было демонстрантов, а не наблюдателей?

– Демонстрантов было человек пятьдесят. Ну, может быть, чуть больше. Всех остальных было примерно столько же. Людей, так сказать, противоположного лагеря.

– Вы заметили людей, которые пришли посмотреть на это и стояли в сторонке?

– Дело в том, что я тоже не стоял с лозунгом.

– Но вы стояли в той кучке, которая демонстрировала?

– Да.

– Вас не забрали?

– Нет.

– Какие лозунги вы помните?

– Я помню, как Галансков залез на эту самую хреновину, на парапетик, и закричал: «Граждане свободной России!..» Тут его понесли за ноги.

– Он был тоже без лозунга?

– Он был без лозунга. Я сейчас не помню, у кого там были лозунги.

(*5 декабря 1965 года: в воспоминаниях участников событий... М.: Изд-во «Звенья», 2005)*

Александр Гинзбург – А.Н. Косыгину

Декабрь 1965

Уважаемый Алексей Николаевич!

Я обращаюсь к Вам как к главе Правительства по вопросу, который волнует меня уже несколько месяцев. 5 декабря, в День Конституции, я убедился, что не только я, но и еще сотни людей обеспокоены судьбой арестованных в сентябре органами КГБ писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Арест Синявского и Даниэля поднимает целый ряд вопросов, решение которых относится к сфере деятельности главы Правительства.

1. О сущности понятия «антисоветская пропаганда» и применении этого понятия.

Синявский и Даниэль, которым предъявляется обвинение в том, что они печатались за рубежом под псевдонимами Терц и Аржак, могут быть привлечены к суду по ст. 70 УК РСФСР об антисоветской пропаганде. Что же такое антисоветская пропаганда на 49-м году существования советской власти?

Я ставлю этот вопрос потому, что сам дважды привлекался по этой статье, и оба раза следствие сводилось к тому, чтобы убедить меня, что мои действия направлены против советской власти. К концу первого следствия (в 1960–61 гг.) я готов был согласиться с этим, так как советская власть в трактовке следователя (старшего следователя по особо важным делам КГБ при СМ СССР майора Ушакова) выглядела лишь машиной насилия над личностью. Последующие годы убедили меня в ограниченности этой трактовки. В частности, почти все стихи, изъятые у меня при обыске и оставшиеся в архивах КГБ как антисоветские, были опубликованы в советской печати – в журналах, газетах, поэтических сборниках.

Второе следствие (1964 г.) уже не могло не принять во внимание определенных сдвигов в сфере идеологии и ограничилось пресечением моих контактов с иностранцами. Результатом его было публичное самобичевание, опубликованное в «Вечерней Москве» 3 июня 1965 года под названием «Ответ господину Хьюгесу». Следователю удалось убедить меня в том, что вредно, если на Западе тебя считают оппозиционером.

Нелепость публичного ответа на письмо, полученное за два с лишним года до этого, не смутила сотрудников КГБ, активно помогавших в написании и опубликовании этой статьи.

Сдвиги произошли и после 1964 года. Ранние «антисоветские» произведения становились вполне советскими и достойными печатания, менялось и отношение к контактам с западным миром.

Вот это и ставит вопрос о временности понятия «антисоветская пропаганда». Критика отдельных недостатков снизу – антисоветская пропаганда. Дошедшая доверху и воплощенная в решениях съездов и пленумов КПСС та же критика тех же недостатков – направляющая линия жизни страны. Снизу – «призыв к подрыву или ослаблению советской власти», сверху – «укрепление мощи советского государственного строя».

Закон же незыблем и неотвратим. Человек, раньше других поднявший голос в защиту чести и достоинства своей страны – государственный преступник, «правильно» осужденный по «духу и букве закона», «заслуженно» несущий кару. До сих пор находятся в заключении люди, протестовавшие против фальсификации истории КПСС, против злоупотреблений Н.С. Хрущева и других давно осужденных действий государства.

Итак, если следствию удастся убедить Синявского и Даниэля, что их произведения направлены против ныне принятых положений партии, то им суждено «пересидеть» все пересмотры этих положений.

2. О применении понятия «антисоветская пропаганда» к художественной литературе.

Я знаком с повестью Терца «Суд идет», сборником «Фантастические повести», статьей «Что такое социалистический реализм», с повестью Аржака «Говорит Москва». Я знаком еще с рядом произведений, в разное время вызвавших негодование КГБ и связанную с этим негодованием конфискацию их. Я не могу найти этому «негодованию» иную причину, нежели небанальность подхода авторов к действительности и ее литературному воплощению. Пример тому – «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака – книга великая, заслуженно удостоенная Нобелевской премии (повсеместное изъятие этой книги, очевидно, одна из частных задач КГБ).

Возможно, в действиях Синявского и Даниэля есть нарушение какой-то добровольно взятой на себя обязанности. Возможно, в Уставе Союза советских писателей, членами которого они, кажется, являются, имеется другое толкование понятия «социалистический реализм», нежели в статье Синявского. Может быть, повесть «Говорит Москва» написана в нарушение каких-то изложенных в этом Уставе правил. Кажется, использование псевдонима должно быть зарегистрировано в писательской организации.

Нарушение этих обязанностей – безусловно проступок. Но он полностью находится в компетенции Союза писателей, если они его члены, КПСС, если они члены партии, любой добровольной организации, вступив в которую они нарушили ее правила. Но к государству (а ст. 70 УК предусматривает преступление против государства) их действия не имеют отношения. Тот факт, что они родились в Советском Союзе, еще не отнимает у них права на самостоятельность мышле-

ния. Верность убеждениям, свое понимание пользы страны не являются монополией тех, кто стоит у власти. Синявский и Даниэль имеют право и на гнев, вызванный преступлениями прошлых лет, и на любовь к прошлому, и на свое понимание будущего страны. Литературная деятельность Синявского в своей стране (статьи в «Новом мире», книги о Пикассо и поэзии первых лет революции, вступительная статья к сборнику стихов Б.Л. Пастернака) доказывает право Терца на свое толкование, скажем, социалистического реализма.

Следовательно, единственно правильным (но, увы, до сих пор не применявшимся) решением было бы рассмотрение этого дела не судебными, а общественными – писательскими, партийными, профсоюзными организациями. К счастью для литературы, эти организации обладают не сетью исправительно-трудовых лагерей, а лишь продуманной и теоретически обоснованной системой общественного воздействия.

3. О роли КГБ в общественной жизни страны.

Время сейчас, конечно, не сталинское, но и сегодня КГБ является серьезным тормозом на пути развития общественных форм жизни. Последний пример тому – «участие» сотрудников госбезопасности в мирной демонстрации 5 декабря на Пушкинской площади. Попытки развернуть лозунг с требованием гласности по делу Синявского и Даниэля или лозунг «Уважайте Конституцию», попытки сказать то же самое (не больше) вслух неизменно кончались скручиванием рук и увозом в ближайшее отделение милиции или штаб народной дружины. За всем этим не без удовольствия следили ответственные работники Московского управления КГБ.

Это лишь последний, самый свежий факт. Если же смотреть глубже, то как, если не вмешательством в общественную жизнь, можно назвать арест Синявского и Даниэля и уже трехмесячное содержание их под стражей?

Если факт их авторства установлен и их собираются судить за содержание их произведений, то нет никакой нужды держать их в заключении до суда. Если даже считать, что их произведения подпадают в данный момент под действие ст. 70 УК, то все остальные их действия (например, использование псевдонимов, или пересылка рукописей заграницу) не преследуются советским законодательством. Многомесячное заключение в одиночной камере (знаю по собственному опыту) крайне вредно сказывается на человеческой психике.

Заключение Синявского и Даниэля и полное отсутствие гласности по этому делу (как и по большинству дел КГБ об «антисоветской пропаганде») не дают возможности общественности самостоятельно судить о действиях обвиняемых и как-то контролировать законность действий КГБ, которую в данном случае грех не поставить под сомнение.

4. О следовании международным соглашениям.

Статья 19 «Всеобщей декларации прав человека», принятой ООН и подписанной в 1948 году и Советским Союзом, гласит:

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Не имеют ли эти слова непосредственного отношения к случаю с Синявским и Даниэлем?

Я считаю своим правом и долгом обратиться к Вам с этими вопросами. Я далеко не убежден, что и они не будут признаны антисоветскими. Моя неуверенность достаточно обоснована. Меня можно привлечь и осудить и за пользование иностранными источниками информации (я слушаю зарубежное радио, так как о деле Синявского и Даниэля в нашей стране до сих пор ничего не напечатано), и за знакомство с книгами этих авторов и одобрение их, и за участие в демонстрации 5 декабря, если кому-нибудь придет в голову назвать ее антисоветской, и за высказывание вслух того, о чем я пишу в этом письме.

В тридцать седьмом, сорок девятом и даже в шестьдесят первом годах сажали и не за такое.

Но я люблю свою страну и не хочу, чтобы очередные непроконтролированные действия КГБ легли пятном на ее репутацию.

Я люблю русскую литературу и не хочу, чтобы еще два ее представителя отправились под конвоем валить лес.

Я уважаю Андрея Синявского – замечательного критика и прозаика.

(Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля / сост. Александр Гинзбург. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967)

Письмо, судя по всему, было перехвачено КГБ и по адресу не дошло (или дошло, но было спущено из приемной Косыгина в КГБ для разбирательства). Об этом свидетельствует ответ Гинзбурга на следствии в 1967 году: «Поскольку мое письмо о деле Синявского и Даниэля, направленное мною на имя Председателя Совета Министров СССР, по адресу не поступало, то откуда об этом письме знал сотрудник КГБ, беседовавший со мной в феврале-марте 1966 года? Этого сотрудника звали Владимир Павлович».

Александр Гинзбург: Процесс был в какие-то невероятно холодные дни. Он происходил в Московском областном суде, то есть судил Верховный суд, но в помещении Московского областного, около московского зоопарка, и там поблизости не было буквально никакого местечка, чтобы забежать погреться – а нас, естественно, никто на суд не пустил. Туда к суду пришло в первый день с утра человек 50–60. Там я как раз и познакомился, например, с Людой Алексеевой. Там встретились – непосредственно вот около этого суда – несколько кругов, которые внутренне были близки друг другу, но до тех пор никак не связаны между собой. <...> И мы вместе бегали к зоопарку в какое-то кафе отогреваться, потом возвращались, а после того, как кончился этот первый день и из зала суда вышли Лариса Богораз и Марья Васильевна Синявская, мы их окружили и поехали вместе в один из дружеских домов. И там мы впервые услышали интересные подробности об этом деле, там впервые была сделана попытка записать этот процесс, по непосредственным прямым воспоминаниям. *(Документы и люди. Ведущая А. Федосеева [Александр Гинзбург о создании «Белой книги»] // Радио «Свобода». 28 февраля 1981)*

Это был некий круг, существовавший в Москве с конца 50-х годов. Постепенно он, к сожалению, почти сошел на нет, в основном потому, что большинство его участников умерло. Это была компания бывших зэков сталинских времен. В этом кругу (достаточно, впрочем, широком) десятки людей хорошо знали друг друга. Сюда практически невозможно было попасть просто так, если ты сам не прошел через тюрьму или лагерь. Я познакомился с этими людьми в 1962 году, после своего первого срока. Понятно, что именно здесь в феврале 1966 года с особым интересом обсуждался первый (полузакрытый) политический процесс, на котором судили двух писателей.

Помню как сейчас, одну из квартир писательского дома у метро «Аэропорт» в дни процесса и сразу после него. Люди собирались здесь каждый день, чтобы своими глазами увидеть и прочитать то, что доходило до нас из зала суда.

Это были кипы машинописных листов – запись допроса обвиняемых и их свидетелей, речи адвокатов, последнее слово подсудимых. А кто-то приносил то, что удавалось достать в самиздате – письма протеста, петиции, обращения. Все это читали вслух, часто тут перестукивали на машинке и потом до хрипоты обсуждали в табачном дыму за чашкой просевшего чая. <...>

Я тоже ходил туда каждый день – у меня, помимо живого интереса, была еще и своя задача – я собирал все документы о процессе Синявского и Даниэля, чтобы составить потом «Белую книгу» (в те дни я уже твердо решил это сделать). *(Гинзбург Ал-др. Двадцать лет назад... // Русская мысль. 1986. 14 февр.)*

Нам очень сильно повезло еще в одном: на следующий день этому суду были посвящены несколько статей в советских газетах. И, когда рядом мы клали ту запись, которую сделали накануне вечером – и вот эти советские газеты, мы видели, как эти материалы, какое сильное впечатление они производят вместе. И в это самое время, непосредственно в дни суда, появилась идея книги об этом процессе.

До этого была запись судебного процесса, произведшая на нас очень сильное впечатление – это запись о суде над поэтом Бродским, которого обвиняли в тунеядстве. Ее сделала Фрида Абрамовна Вигдорова. Но это была отдельная запись процесса. А тут скопилось сразу довольно много материала. Ну, во-первых, письма, которые писали в разные следственные и государственные органы друзья. Во-вторых, к этому суду, к зданию суда – тоже почти впервые – пришли иностранные корреспонденты. И уже потом, когда суд кончился, от этих корреспондентов, с которыми мы познакомились там, мы получили довольно много материалов из зарубежной прессы, буквально с момента ареста. Из всего этого материала и выстраивалась книга. *(Документы и люди. Ведущая А. Федосеева [Александр Гинзбург о создании «Белой книги»] // Радио «Свобода». 28 февраля 1981)*

Марья Розанова: Но подружилась я с Гинзбургом, когда он начал собирать документы для своей «Белой книги». Это было опасное и героическое предприятие. И вот тогда я смогла по-настоящему оценить его умение работать. На это было приятно смотреть. Тогда, в 66-м году, Алик работал ночным сторожем в библиотеке Литературного музея. Должность у него была такая: в 6 часов вечера сотрудники расходятся, библиотека опечатывается, и ночному сторожу достается маленькая комната, своего рода секретарская, с двумя пишущими машинками и телефоном, чтобы в случае чего вызвать милицию или пожарных, смотря по обстоятельствам. Но «обстоятельством» Гинзбурга в это время была «Белая книга». И вот, принимая дежурство, Алик запирался и обзванивал всех, кто был ему нужен и кому надлежало прийти, принимал людей, раскладывал документы, печатал на машинке – словом, у него начинался настоящий рабочий день. А утром приходили сотрудники библиотеки, и ночной сторож сдавал им дежурство. *(Служить добру – Александр Гинзбург [Интервью с А. Синявским и М. Розановой] / беседовал К. Померанцев // Русская мысль. 1979. 7 июня)*

Вера Лашкова: Где и при каких обстоятельствах познакомились – это самый любимый вопрос на допросах. Юрка [Галансков] мне сказал, что у него есть знакомый, который ищет человека помочь, и пояснил – для чего именно. Поскольку я о процессе Синявского знала, конечно, то охотно согласилась. Мы встретились вечером на улице. В конце Якиманки стоял Казанский собор[61], большой краснокирпичный собор – туда [в 1920-е] ходила Юркина мама, вот около него. Юра нас познакомил. Мы сразу пошли на Полянку, где Алька с мамой жил. Дом этот до сих пор стоит, в глубине, двухэтажный.

Помню, Алька попросил Людмилу Ильиничну накормить меня получше. Старушка почти сразу вынесла огромного размера кастрюлю с макаронами, сказав: «Ну, ешь!» Алька вообще все время заботился обо мне, приносил еду. О деньгах же речи не было изначально. *(Интервью составителю. Февраль 2016)*

Анатолий Краснов-Левитин: Встретился я с Аликом Гинзбургом... у своей духовной «доченьки» Веры Лашковой. Захожу я в 1966 году к ней на Кропоткинскую – надо было что-то отпечатать. Во время нашего разговора приходит молодой парень в полушубке («москвичке»), говорит спокойно, литературным языком... Приветливо улыбается, протягивает руку: «Гинзбург».

Я (невольно): «Как, издатель “Синтаксиса”?»

Он: «Какой там “Синтаксис”? Здесь дела завариваются почище “Синтаксиса”!» <...>

Это была весна 1966 года, и вся Москва ходуном ходила по поводу дела Синявского и Даниэля. *(Краснов-Левитин А. Ненужное зачеркнуть // Новое русское слово. 1977. 4 сент.)*

Вера Лашкова: Тогда у меня с Аликом дружбы как таковой не было. С Юркой мы дружили, со смогистами кореша были. А с Аликом мы никогда не встречались просто так, только по делу.

[61] Имеется в виду Церковь Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот, возведенная в 1876–1886 годах. Закрыта в 1929 году, переделана в кинотеатр. Взорвана в апреле 1972 года. Примерно на этом месте в 1999–2000 годах выстроена небольшая Казанская церковь-часовня.

Между нами все-таки и возраст был, и он другого опыта человек, так что просто «пойдем, погуляем» – такого не было. Если бы мы не сошлись для конкретного дела – возможно, и вовсе бы не пересеклись. Вообще, он производил впечатление человека занятого – он учился тогда? Или работал? Учился, по-моему – в архивном, на заочном. Так что посиделок каких-то не было. Он приходил, что-то приносил, что-то забирал – вот и всё. Были какие-то общие знакомые. Но у Алика были такие широкие круги общения... *(Интервью составителю. Февраль 2016)*

Александр Гинзбург: С Вадимом [Делоне] мы познакомились за полгода до того, как я начал сидеть во второй раз. Это было время расцвета литературной группы СМОГ. У Вадима, кроме литературных забот, была еще определенная функция: он был на связи с диссидентами. Время от времени он приходил в Литературный музей к Юре Галанскову. А мы с Юрой работали в Литературном музее рабочими. <...> К разным акциям, вроде демонстрации у Центрального Дома литераторов, устроенной смогистами[62], я отношения не имел, занимался своим делом – писал. А Юра любил организовывать молодежь, как и Володя Буковский. Мне гораздо интереснее было видеть эту молодежь в их литературных проявлениях, когда они читали стихи. Возле площади Маяковского существовало замечательное место, дом, где жила молодая красивая женщина, Алена Басилова, в которую был влюблен признанный лидер СМОГа Леня Губанов. Я тоже приходил туда послушать стихи. *(Крохин Ю. Что осталось за кадром // Сайт Юрия Крохина URL:http://yurikroh47.narod.ru/Krohin-kadr.htm)*

Протокол допроса А.И. Гинзбурга
19 сентября 1967

В июне 1966 года мой знакомый, назвать которого отказываюсь, сообщил мне, что в Москву прибыл швед, который желает встретиться со смогистами и в связи с этим он (мой знакомый) просил узнать адрес Губанова. Я пошел к Басиловой – жене Губанова уточнил их адрес местожительства и по собственной инициативе спросил Губанова о его согласии на встречу со шведом. Тогда же я по собственной инициативе дал для прочтения Губанову имевшийся у меня журнал «Грани» в виде «Сфинкса» со стихами и несколько вырезок из зарубежных газет со статьями о смоге на иностранных языках. Губанов просмотрел «Сфинксы», изданные журналом «Грани» и возвратил мне. Показывая «Сфинксы» Губанову я хотел узнать, действительно такой журнал «Сфинксы» издавался смогистами в нашей стране и именно ли он издан за рубежом. Губанов мне это подтвердил. Вырезки из иностранных газет Губанов оставил у себя. Я их передал ему, так как они мне были не нужны. Дело в том, что, собирая материалы для книги о деле Синявского и Даниэля, я из иностранных газет брал отклики об этом деле, переводя их на русский язык. При этом вырезал несколько статей из иностранных газет, считая, что в них идет речь о процессе над Синявским и Даниэлем, но затем увидел, что там речь идет о СМОГе и отложил их как ненужные. Идя к Губанову, я захватил с собой и эти вырезки из газет, чтобы дать ему их для ознакомления, если его это заинтересует. Доподлинно содержания этих статей я не знал и мне не было известно, что они содержат клеветнические измышления, так как этих статей я не переводил на русский язык, хотя отдельные статьи на английском языке и мог перевести. *(Архивное дело Гинзбурга А.И. № П-80021)*

[62] Демонстрация состоялась в марте 1965 года. По воспоминаниям Владимира Батшева, в ней участвовало человек двенадцать, плюс 40–50 сочувствующих, которые сопровождали основную группу демонстрантов при их движении от площади Маяковского к ЦДЛ. Смогисты двигались по Садовому кольцу, несли плакаты: «Мы будем быть»; «Оторвем от сталинского мундира медные пуговицы идей и тем»; «Будем ходить босыми и горячими». Плакат «Лишим соцреализм девственности» был развернут непосредственно у ЦДЛ.

Арина Гинзбург: Он никого в это дело особо не втягивал. При этом – сумел собрать материалы зарубежной прессы, ни на кого не наведя, а там ведь были материалы не только на основных языках – английском, немецком, но и голландские, например... По английскому работала целая команда во главе с Павликом Литвиновым – Рокитянский (его все тогда звали «Швейк»), другие...

А как это все доставалось! – еще отдельная история. Лена Зонина, переводчица при иностранных делегациях, была дружна с Сартром. И вот Лена попросила Сартра – а тот поручал это своему секретарю – проглядывать западные газеты на предмет заметок о процессе Синявского-Даниэля. Как уж он потом передавал – я не знаю, но, во всяком случае, один из источников информации был такой. Да и Паша Литвинов мог получать прессу через бабушку – Айви Вальтеровна сохраняла связи с английскими писательскими кругами...

Алик все это собирал, обобщал, один – тихо, без суеты, без спешки, спокойно. Дом был совершенно открытый, теплый, Людмила Ильинична любила принимать гостей, угощать кофейком... А Алик сидел в своей отгороженной части комнаты и составлял сборник. *(Интервью составителю. 2016, 2017)*

Павел Литвинов: Я стал бывать у Алика и его мамы, Людмилы Ильиничны. Постепенно, где-то в 1966–67 году, этот дом стал для меня своим. В это время уже шел процесс Синявского и Даниэля. И Алик начал собирать документы. Однажды я пришел к нему, а он говорит: ты же говоришь по-английски? – Нет, говорить не говорю. Я могу читать. – А переводить можешь? – Письменно могу. И тут он мне приносит огромную пачку иностранных газет, штук, наверное, 50. – Здесь в каждой газете есть статья о деле Синявского и Даниэля. Через две недели надо их перевести. – Алик, я не смогу! – Ну, попробуй, хоть сколько-нибудь. У меня был круг друзей – Володя Рокитянский, Миша Лебедев – мои университетские друзья. Все мы немножко подзарабатывали переводами патентов. И начали переводить. Действительно, не через две недели, а через два месяца мы штук пятьдесят статей перевели. Не знали для чего. Алик попросил, он сообразил, что я – тот человек, которому это можно поручить. Впоследствии фрагменты этих статей вошли в «Белую книгу». Так тихо его колоссальная энергия и энтузиазм каждому находили место. *(К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70.)*

Анатолий Краснов-Левитин: Самым ярким произведением тогдашнего Самиздата надо... считать «Белую книгу» Гинзбурга. Я до сих пор не понимаю, как ему удалось в такой короткий срок, в советских условиях, где люди живут отгороженными от внешнего мира, собрать такое количество фактического материала. Книга эта – неоценимый клад для историка. *(Краснов-Левитин А. Ненужное зачеркнуть. // Новое русское слово. 1977. 4 сент.)*

Процесс Синявского – Даниэля и демонстрация 5 декабря 1965 года показали властям, что действующая конституция может служить отличным «щитом» для выступлений инакомыслящих. 15 сентября 1966 года Политбюро одобряет три новые дополнительные статьи в УК РСФСР, в том числе статью 190(1) – «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (до трех лет тюрьмы).

Петр Григоренко: Статьи эти обеспокоили всех настолько, что группа писателей, академиков и старых большевиков обратились в Верховный Совет с просьбой не принимать эту поправку к Уголовному кодексу. В числе подписавших это письмо были даже такие известные люди, как композитор Шостакович, академики Астауров, Энгельгард, Тамм, Леонтович, кинорежиссер Ромм, писатели Каверин и Войнович. Тогда же впервые появилась подпись А.Д. Сахарова. <...>

Впоследствии я узнал (не от Гинзбурга), что он приложил руку и к составлению указанного письма и особенно много сделал в отношении сбора подписей под ним. *(Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс. М.: Звенья, 1997)*

Наталия Солженицына: С Аликом я познакомилась и подружилась между его первой и второй отсидками. После «Синтаксиса», но до «Белой книги». Потом он стал близким другом всей семьи – и Александра Исаевича, и наших детей.

В его квартире, еще на Полянке, всегда можно было встретить людей, которых ты не знаешь, но как-то сразу получалось, что ты их давно знаешь... Алик обладал невероятным свойством – даже не то, чтобы объединять людей, люди все равно расходились потом в стороны, каждый имея свои взгляды, – но они навсегда оставались друг к другу доброжелательны. По крайней мере, так в моем опыте. Алик понимал, что зло мира не только в политических системах, что оно в каждом из нас гнездится. Но у него было – думаю, врожденное, воспитать такое нельзя – свойство: он всегда самым искренним образом апеллировал только к хорошему в человеке, и это встречало соответственную реакцию. Такой магнит, который притягивал только светлое в человеке. К нему поворачивались жертвенной стороной, ведь в каждом человеке есть что-то, что он готов отдать другим. Это «что-то» Алик и вытягивал. Это свойство не частое и замечательное.

Я для «Белой книги» носила ему недостающие документы из университетских кругов и собирала подписи нашей интеллигенции. Конспиративно меня называли почему-то «рыжий мальчик». По телефону сообщали: к вам придет такой рыженький мальчик – и люди ставили подписи. *(К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября» М., 2007. № 70)*

Вера Лашкова: «Феникс»[63] и «Белую книгу» я печатала на нескольких машинках. Одна машинка стояла у меня дома – на ней я печатала методические разработки для университета, я работала на подготовительном факультете. Но это утром. А вечером на той же машинке печатала все остальное. Были еще машинки, какую-то Лёшка Добровольский приносил – он же занимался спекуляцией книжной, денежки у него водились темные. Но моих собственных машинок не было. Одну мне Алька дал уже ближе к концу, на ноябрьские праздники. Я должна была ехать к родителям в Смоленск, но, чтобы не прерывать работу, Алька мне принес большую редкость – портативную машинку. Мишка, что ли, ему дал, Деза. Мишка был женат на француженке, он мог дать. Алька умел всё надыбать. *(Интервью составителю. Февраль 2016)*

Мишель Деза: Когда он сел второй раз, это имело отношение ко мне: «Белая книга» печаталась на моей машинке. Я был женат на француженке, и у нее была машинка с русским шрифтом из Франции. Она не была зарегистрирована у кегебешников. Меня тоже могли посадить, а жену – выслать. Она была секретаршей корреспондента «Фигаро» в Москве, Жоржа Бортоли. Алик просил у меня машинку давно, но я не давал, боялся. Однажды он предложил в обмен одолжить отличную картину Рабина, чтобы она повисела у меня, и я дал ему машинку. Алика мучили, трясли за каждую деталь. Но он не признался о машинке. Помнил, что я ее давать не хотел, что он меня немножко использовал. *(Интервью составителю. Июнь 2016)*

Вера Лашкова: Чем это может закончиться – никогда четко не формулировалось. Все были молодые, в эти годы ничего такого заранее люди себе не формулируют, просто принимают жизнь, как она идет. Конечно – поскольку я с ГБ уже имела дело – я догадывалась, что может быть.

---

[63] Имеется в виду «Феникс-66» (в отличие от просто «Феникса», выпущенного участниками поэтических чтений на площади Маяковского в конце апреля 1961 года). В «Фениксе-66» основное место занимала не поэзия, а литературная, философская и политическая публицистика. Туда были включены две статьи А. Синявского, одна из которых – «Что такое социалистический реализм» – была только что признана Верховным судом РСФСР «антисоветской». В сборник также вошли другие широко распространявшиеся в самиздате в середине 1960-х тексты. Программными для «Феникса-66» были две работы самого Ю. Галанскова: «Открытое письмо Михаилу Шолохову» и статья «Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире». Кроме того, сборник включал стихи молодых московских поэтов.

К тому же был один «звоночек». Печатала я тогда для «Феникса», кажется, «Откровение Виктора Вельского». Заготавливала, чтобы не прерываться потом, сразу несколько закладок листов, проложенных копирками. Я жила в коммунальной квартире, телефон общий, висел ближе к двери, то есть мне надо было время, чтобы дойти из своей комнаты. Должна была прийти приятельница, мы заранее договорились, что она придет в конкретное время. Я работаю, вторая половина дня, вдруг звонок – ко мне. Я пошла, открыла, уверенная, что это она звонит. Но перед тем, как бежать открывать дверь, я на машинку накинула какую-то тряпочку или полотенце, такая элементарная осторожность. Оказалось, какая-то ошибка – почтальон или насчет газа – в общем, ошиблись. Я вернулась – опять звонок, опять ко мне. То есть первый раз, видимо, просто проверяли – дома ли я. Я открываю – стоят два мужика, я даже почти поняла, что это гебешники. Под каким предлогом зашли ко мне – не помню, но я их пустила: ребята с виду мирные, спокойные, а я довольно доверчива к объяснениям. Они прошли ко мне в комнату. И в момент, когда они у меня расположились, опять звонки – по телефону. Я не хотела идти, помню, как внутренне металась: что делать? Ждала – может, из соседей кто-то подойдет. Никто не подходил, телефон надрывался. Я решилась и побежала. Оказался опять какой-то сбой, я вернулась в комнату. Они сидели мирно, а вскоре ушли. И я сразу увидела, что они вытащили у меня из закладки две или три страницы. То есть все стало понятно – им нужен был текст, шрифт машинки, копирка (копирка – значит, «распространение»). Потом приятельница моя, вообще-то очень обязательный человек, объяснила, что у нее по дороге что-то случилось. То есть это целая операция была. Я сразу об этом рассказала и Альке, и Юрке. Они поняли, но не остановились. Алька, с одной стороны, трезвый человек, а с другой – большим романтиком был.

А когда закончилось печатанье – мы кутили в «Праге». Ну, как кутили – поужинали вдвоем. Тогда с ресторанами было проще, они были доступны. Постоянно люди, конечно, туда не ходили, но можно было прийти и скромно посидеть. Просто это не принято было. То есть где-то, может, и принято, но не в нашем кругу. Думаю, например, что мои родители никогда не были в ресторане. Да и я не была. Но для Алика это было событие, и он предложил отпраздновать. *(Интервью составителю. Вера Лашкова. Февраль 2016)*

28 октября 1966 года вышел в свет журнал «Грани» № 62 с подборкой части документов, входящих в «Белую книгу». 3 ноября в газетах Италии и Швеции появились первые рецензии на эту публикацию. «Русская мысль» с 3 ноября также начинает печатать материалы из «Белой книги» (в этом номере опубликовано письмо Ларисы Богораз Брежневу); в течение ноября-декабря этого года опубликованы, в частности, письмо Александра Гинзбурга Косыгину и листовка группы «Сопротивление». С 5 ноября при публикациях появляется ссылка на источник – «Грани». Наконец, 26 ноября «Русская мысль» печатает развернутую заметку о «Белой книге»:

«В СССР вышла и распространяется составленная молодым поэтом Александром Гинзбургом "Белая книга" по делу Синявского и Даниэля...»

«Журнал "Грани" получил единственный экземпляр этой «Белой книги», вывезенный до сих пор на Запад...»

«Известно, что один экземпляр был передан 19 октября с.г. Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорному. Какое-то количество экземпляров "Белой книги" циркулирует в интеллектуальных кругах Москвы...»

Сведения, как видим, не вполне точные, однако однозначно указывающие на то, что «Белая книга» была готова уже в октябре 1966 года.

Отметим также, что стенограмма суда над Синявским и Даниэлем (являющаяся составной частью «Белой книги») успела выйти в 1966 году в США отдельным изданием[64].

[64] Синявский и Даниэль на скамье подсудимых = At the Trial of A. Sinyavsky and Yu. Daniel / [вступ. ст. Э. Замойской и Б. Филиппова]. Нью-Йорк: Междунар. лит. содружество, 1966.

Павел Литвинов: Я с ним периодически встречался, в какой-то момент он сказал: знаешь, я подозреваю, что ко мне могут прийти с обыском. Я собираюсь послать – название «Белая книга» тогда не употреблялось – запись дела Синявского и Даниэля депутатам Верховного Совета. У меня остались две довольно плохие копии. Почему бы тебе не забрать и не дать кому-нибудь почитать? – чтобы их не было дома, если ко мне придут. Я отдал эти копии другим людям, и они стали циркулировать. *(К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70)*

Владимир Войнович: Осенью... еще не знаменитый Павел [Литвинов] позвонил мне и сказал, что хочет зайти с одним интересным человеком, и пришел с Гинзбургом. Они принесли мне «Белую книгу». В сборник входили стенограмма процесса, отклики на него в печати. Протесты внутри страны и за границей. Гинзбург держался скромно, но говорил о падении советского режима и о будущем устройстве страны как о чем-то неизбежном и решенном. Я запомнил, что мы в разговоре даже вдавались в такие подробности, как права республик в составе нового государства. До того, что республики вообще отпадут от государства, мы пока не договорились, но сошлись на том, что это будет конфедерация, в которой республики станут практически независимыми и имеющими все права, существующие в СССР только на бумаге, вплоть до самоопределения и отделения. *(Войнович В. Автопортрет. М.: Эксмо, 2011)*

Вера Лашкова: Наверное, в конце ноября, где-то близко к этому, Алик мне сказал о том, что он собирается отнести экземпляр «Белой книги» в КГБ, буквально накануне. Решил сказать. У нас как-то так было устроено, что вопросов я не задавала никому и никаких, если это не касалось какой-то конкретики – о планах особенно. Это и с «Хроникой текущих событий» потом так было, и тем более с Фондом. Помимо разумной осторожности это было и бережение другого человека. Насколько я знаю – все так себя вели, так было положено, что ли... Если Алик решал что-то сообщить, он говорил сам, без моих вопросов. Например, как себя вести в случае допроса – что говорить, что не говорить. Поэтому насчет отправки за границу я ничего не знала и не спрашивала. Алик в отношении меня вел себя очень заботливо. Его опыт настолько превосходил мой, что он мог предполагать дальнейшее и вел себя очень правильно. Главная идея – не о себе беспокоиться, а о другом, это в нем было заложено. *(Интервью составителю. Февраль 2016)*

Марья Розанова: Сложность этой работы, которую он делал практически один (сбор материалов, композиция книги и т. д.) заключалась в том, помимо прочего, что следовало всё до поры до времени сохранять в тайне. А это было нелегко, поскольку за многими знакомыми Гинзбурга была установлена слежка. Но в итоге не КГБ обнаружил «Белую книгу», а сам Гинзбург, когда в один прекрасный день, в готовом виде, положил ее на стол КГБ, а также послал в Верховный Совет и передал для ознакомления ряду депутатов. Я советовала ему выпустить книгу анонимно. Но Гинзбург решил, что выступление в открытую окажется более действенным. Он, конечно, понимал, что его ждет. *(Служить добру – Александр Гинзбург [Интервью с А. Синявским и М. Розановой] / беседовал К. Померанцев // Русская мысль. 1979. 7 июня)*

Александр Гинзбург: Я до сих пор не придумал лучшего хода, чем мы придумали тогда. То есть – открыто выступить с книгой. В каких-то других случаях, возможно, я что-то делал бы по-другому. Но в этом – сделал бы то же самое. Представление этой книжки властям (учитывая, что ситуация была та самая) было правильно. *(Права человека. Ведущий В. Федосеев [Александр Гинзбург о свободе слова в СССР] // Радио «Свобода». 19 февраля 1981)*

Людмила Алексеева: – Один экземпляр я отдал куратору из КГБ, один ушел в самиздат, – сказал Алик Гинзбург, протягивая мне машинописный экземпляр рукописи. – А этот можешь спрятать на всякий случай?

Так я впервые увидела «Белую книгу» – неофициальный сборник документов по делу Синявского и Даниэля. Меня поразило, что Гинзбург открыто передал его в КГБ. При этом он декларировал, что запись судебных заседаний вместе с апелляциями к суду, открытыми письмами

протеста и вырезками из советских и иностранных газет не могут расцениваться как клевета на Советский Союз.

Показав, что ему нечего скрывать, Гинзбург намеренно довел гласность до ее логического предела. Он оставался в рамках закона, принимая его буквально – в том виде, в каком он записан на бумаге. Тем не менее ждал, что его арестуют.

Рукопись свела вместе все доступные материалы – первые западные сообщения об арестах, листовку Есенина-Вольпина и его юридический комментарий, статью из «Известий», опубликованные письма редактору, неопубликованные письма редактору, официальное освещение судебного процесса, письма властям от жен осужденных, обращение Пен-клуба, обращения советских и зарубежных писателей, художников, ученых и просто граждан.

Было там и письмо шестидесяти двух советских писателей, предлагавших взять обвиняемых на поруки, а также речь Михаила Шолохова на XXIII съезде КПСС.

«Гуманизм – это отнюдь не слюнтяйство, – поучал он неразумных собратьев по перу. – Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!» *(Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006)*

Александр Гинзбург: В середине 60-х был я рабочим в Литературном музее. Как раз тогда музей на Якиманке поставили на ремонт, из которого он вылез совсем недавно. А начинали ремонт с изготовления новых стеклянных витрин. В дом, где предстояло ломать стены и потолки, завезли огромные листы толстого витринного стекла, и мы, рабочие, перетаскивали его из зала в зал. В каком-то из залов мы прислонили эти листы к стоящему лицом к стене бюсту писателя А.Н. Толстого. После пятого или десятого листа бюст качнулся и врезался носом в стену. Стекло вдребезги, а писатель... Сначала упало на пол одно гипсовое ухо, потом начал проваливаться нос, треснули губы, ото лба к затылку поползли трещины, отлетело второе ухо. Прошла минута, вторая и от головы писателя остался один металлический каркас на вполне сохранившихся плечах. Да гипсовая рука сжимала карандаш над толстой записной книжкой. А мы еще долго стояли как зачарованные. *(Гинзбург Ал-др. Дальше, дальше, дальше... // Русская мысль. 1991. 30 авг.)*

Основная вина, моральная вина этих писателей в том, что они, видите ли, жили под фамилиями Синявский и Даниэль, а печатались, сволочи, под псевдонимами...

Ладно. Попробуем не так. Значит, я это сделал. Вера Лашкова это дело пару раз перепечатала. Оказалось у меня в руках штук десять этих так называемых «Белых книг». Поставил я на них свое имя как составитель, добавил свой адрес, у меня, кстати, и на «Синтаксисе» был мой адрес, мое имя. Нате, берите. И пошел прямо в приемную КГБ на Кузнецкий мост. Прихожу, сижу в очереди. Вызывают. Кладу на стол (я, правда, из десяти экземпляров выбрал для них самый плохой). Вот, говорю, вы посадили двух писателей, я сделал книжку об этом. Я хочу, чтобы вы их выпустили, а иначе мне придется эту книжку печатать. «Выйдите и подождите!» Выхожу, смотрю: мимо меня шмыгают знакомые рожи – одна за другой. Когда они убедились, что я действительно Гинзбург, меня опять позвали и еще часок припугивали: «Вы же понимаете, может ведь и кирпич на голову упасть...» Я говорю: «Чего мне волноваться – вы волнуйтесь. Меня теперь, даже если нечаянно ветер сдует – вы будете виноваты». И на этом мы расстались. *(Расшифровка рабочего материала к фильму «Александр Гинзбург. Человек легенды»)*

Александр Гладков: 4 дек<абря> [о разговорах в ЦДЛ] Оказывается, недавно в «Нью-Йорк таймс» была какая-то статья о процессе Син<явского> и Дан<иэля>. И напечатано пресловутое письмо 65-ти[65] в их защиту. Невероятный рассказ о том, что знаменитый Алик Гинзбург составил

[65] Более известно как письмо 62-х писателей, опубликовано в «Литературной газете» от 19 ноября 1966 года.

«Белую книгу» о процессе и распространяет ее, причем 1-й экз<емпля>р послан Семичастному. Думаю, все же, что это выдумка. *(Дневник Александра Гладкова: 1966 год / публ., подгот. текста и коммент. М. Михеева // Новый мир. 2014. № 5)*

Александр Гинзбург: Чтобы книжку опубликовать, ее нужно переправить на Запад. С другой стороны, надо было делать что-то еще. И с остальными экземплярами я начал ходить к депутатам Верховного Совета СССР.

Они читали, ахали, по ничего не могли сделать. Самое главное, что никаких других моих телодвижений родные чекисты не заметили. А вот то, что я хожу по депутатам, они увидели. А в это время книжка и ушла на Запад. Как уж эти книжки ходят, своими ногами, что ли? Не знаю. *(Гохман М. История в лицах: Александр Гинзбург // Лица. М., 1998. № 3)*

Но ко мне приставили хорошую слежку, и я с этой слежкой стал ходить по депутатам Верховного Совета СССР. А давайте вспомним, что это был за Верховный Совет. Кто-нибудь может вспомнить, чтобы какой-нибудь депутат проголосовал против? Да и собирался он два раза в год на два дня. Но зато там попадались ученые, писатели... Вот я выбрал себе там человек двенадцать-пятнадцать такого рода депутатов и показал эту книжку. Надо сказать, что я, слава богу, ни разу не промахнулся. Я не ждал, что они мне будут помогать. Мне это и не нужно было. Но, когда чекисты начали ходить к этим депутатам, то один из них, великий академик (я в бомбах не разбираюсь, но он, кажется, изобрел атомную – не Сахаров, а Юлий Борисович Харитон[66]) – спустил с лестницы агента КГБ. *(Расшифровка рабочего материала к фильму «Александр Гинзбург. Человек легенды»)*

Показания свидетеля Н.И. Столяровой на «процессе четырех»
11 января 1968

ПРОКУРОР. Приходил ли Гинзбург к Эренбургу <...>?

СТОЛЯРОВА. Да, он пришел к Эренбургу в ноябре 1966 года, чтобы посоветоваться с ним о книге документов по делу Синявского и Даниэля, над которой он работал. Он принес ему рукопись или отдельные документы, которые он хотел ему показать. <...>

ЗОЛОТУХИН. Как отнесся к этой работе Эренбург?

СТОЛЯРОВА. Он сказал мне потом, что кое-что ему в ней не понравилось.

ЗОЛОТУХИН. Знаете ли вы, что именно ему не понравилось?

СТОЛЯРОВА. Ему не понравилось, что Гинзбург привел в ней отклики буржуазной правой прессы, вместо того чтобы привести знаменитое письмо Арагона[67] и высказывания левой интеллигенции, что, по мнению Эренбурга, было бы более убедительным для нашей общественности. На этот упрек, по словам Эренбурга, Гинзбург ответил, что он рад бы использовать эти высказывания, но что левые газеты, в которых они были напечатаны, не поступили у нас в продажу. <...>

---

[66] Харитон Юлий Борисович (1904–1996) – советский и российский физик-теоретик. Академик АН СССР. Основатель, главный конструктор и научный руководитель первого отечественного центра по разработке ядерного оружия. К работе над реализацией ядерно-оружейной программы под его руководством были привлечены лучшие физики СССР. Эти работы завершились испытанием атомной бомбы 29 августа 1949 года.

[67] Письмо Луи Арагона «По поводу одного процесса» было опубликовано в газете французских коммунистов «Юманите» 16 февраля 1966 года. В письме, в частности, говорилось: «Но если их лишать свободы за содержание романа или сказки – это значит превращать заблуждение в преступление, создавать прецедент более опасный для интересов социализма, чем могли бы быть опасными сочинения Синявского и Даниэля».

ЗОЛОТУХИН. Говорил ли вам Гинзбург, куда именно он собирается передать работу по окончании ее?

СТОЛЯРОВА. Да, он говорил, что хочет послать ее в Верховный Суд, кажется в Верховный Совет и в другие наши высокие инстанции. Он надеялся, что сможет таким путем облегчить судьбу Синявского и Даниэля.

ЗОЛОТУХИН. В каких вы отношениях были с Гинзбургом?

СТОЛЯРОВА. Мы были друзьями.

ЗОЛОТУХИН. Какого вы о нем мнения?

СТОЛЯРОВА. Я считаю его высокопорядочным человеком, мужественным, талантливым и, самое главное, патриотом – настоящим, а не мнимым. *(Процесс четырех. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)*

Александр Гинзбург: Было начало ноября 1966 года. Я только что сделал «Белую книгу по делу Синявского и Даниэля», первую копию отправил на Запад, последнюю отнес в КГБ, а с остальными ходил по депутатам Верховного Совета. В тот день я был у Эренбурга, а вечером притащился к Ларе [Богораз] доложить о разговоре. Мне Эренбург сказал, что книга ему не понравилась, а когда через полгода его выспрашивал об этом Палецкис – заместитель председателя президиума Верховного Совета, тому сказал, что понравилась.

Лара была усталая, чем-то расстроенная, а тут еще этот нежданный звонок в дверь. Я пошел открывать.

За дверью стоял парень в темно-серой ушанке, еще не по сезону, в лагерном ватном бушлате, в руках фанерный чемодан. Вид его и для меня был очень непривычен. Я-то сидел в блаженной памяти 61–62 годах, мы лагерной формы почти не видели, разве что зимой на стариках-долгосрочниках, а их у нас мало было. Остальные ходили в своем, то донашивали, что из дому получали. А тут на человеке – все казенное и не новое притом. И глаза настороженные.

– Можно Ларису Иосифовну? – гость спрашивал как-то слишком громко.

Лара моментально втянула его в квартиру и захлопнула дверь.

– Вы из Потьмы?

Он не сразу ответил, сначала огляделся, потом стащил шапку, дождался, когда Лара повторит вопрос, а спрашивала она почти шепотом, и сказал: «Я слышу плохо. Освободился вчера и проездом здесь».

Скоро мы сидели у стола вокруг горячего чайника. <...>

За чаем Лара, а следом и я, засыпали Толю Марченко вопросами, причем очень конкретными. К этому времени через дом Лары Богораз уже прошли многие из зэчьих жен. Чаще других появлялись украинки, чьи мужья были арестованы в то же время, что Синявский и Даниэль. Как позже говорили, «набор 65-го года». От них мы знали многое из происходившего во Львове или в Киеве. А освободившийся зэк – был первый. *(Гинзбург Ал-др. От Потьмы до Тарусы (Памяти Анатолия Марченко) // Русская мысль. 1986. 19 дек.)*

Наталья Горбаневская: К моменту, когда Алик начал работать над «Белой книгой» (которую он, кстати, никогда сам так не называл), мы были с ним в крупной ссоре из-за его статьи в «Вечерней Москве»[68]. То есть мы встречались иногда, но формально, обсуждали только какие-то деловые вопросы. Тем не менее и я в «Белой книге» немного поучаствовала. Я получила (думаю, от Наташи Светловой) «Письмо старому другу», отдала его Галанскову, тот – Гинзбургу. Хотя это письмо и без меня бы до Алика наверняка дошло. *(Видеозапись. Вечер памяти А. Гинзбурга в обществе «Мемориал». Москва. 21 ноября 2006)*

Александр Гинзбург: В конце 1966 года, когда книга уже была готова и я показывал ее многим людям, я случайно встретил Шаламова в Ленинской библиотеке. Своей немного неверной,

[68] «Ответ господину Хьюгесу» (Вечерняя Москва. 1965. 3 июня).

шатающейся походкой он расхаживал по галерее, где располагались каталоги, что-то приговаривал и как будто никого вокруг не замечал.

Увидев меня, он пошел навстречу и стал расспрашивать о книге. Он ее еще не видел. Я рассказал ему, что, как и где расположено, и, в частности, заметил, что кончается это все «Письмом старому другу». Тут он остановил меня резким вопросом: «И сколько Вы думаете получить за это?» Я ответил: «Ну, по статье не больше 7-ми». На его лице промелькнула тень: «Ваше счастье, в наше время минимум 25 схлопотали бы...»

В январе 1967 года меня арестовали. Мои следователи не сразу обратили внимание на это письмо. Потом они попробовали приписать его мне. Но эта версия отпала довольно быстро – даже они поняли, что не мог человек моего возраста и с моим жизненным опытом написать такое письмо. Так что на суде обвинение выглядело уже так: «Автор тенденциозно составил книгу, включив в нее антисоветские документы – "Письмо старому другу" и листовку, подписанную "Сопротивление"».

А о том, что автором «Письма старому другу» был Варлам Тихонович Шаламов, окончательно я узнал, когда уже вышел из лагеря.

Мне сказал об этом Леонид Ефимович Пинский, известный профессор-литературовед, в доме которого и собирался кружок старых зэков – тех людей, благодаря которым появилась «Белая книга по делу Синявского и Даниэля». *(Гинзбург Ал-др. Двадцать лет назад... // Русская мысль. 1986. 14 февр.)*

Варлам Шаламов: Общественный обвинитель Васильев патетически взывал к памяти 73-х писателей, погибших на войне, на фронте, чьи имена высечены на мраморной доске в ЦДЛ. От имени погибших он обвинял Синявского и Даниэля.

Если бы на этом процессе дали выступить общественному защитнику, тот защитил бы Синявского и Даниэля именем писателей, замученных, убитых, расстрелянных, погибших от голода и холода в сталинских лагерях уничтожения.

Это – Пильняк, Гумилёв, Мандельштам, Бабель, Воронский, Табидзе, Яшвили – сотни фамилий включены в этот грозный мартиролог. Эти мертвецы, эти жертвы времени, которые могли бы составить славу литературы любой страны, поднимают голос в защиту Синявского и Даниэля!

По решению XXII съезда партии всем жертвам сталинского произвола обещана посмертная реабилитация и надписи на обелиске. Где этот обелиск? Где мраморная доска в Союзе писателей, где были бы золотыми буквами высечены имена погибших в сталинское время? Этих имен втрое, вчетверо больше, чем на мраморной доске, о которой упомянул общественный обвинитель. *(Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля / сост. Александр Гинзбург. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967)*

Отклики на «Белую книгу» стали появляться в литературной среде русской эмиграции первой волны: в парижской студии Радио «Свобода» состоялся круглый стол с участием писателей Гайто Газданова, Владимира Вейдле, Георгия Адамовича.

Гайто Газданов: Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж, я имел возможность с ними ознакомиться. Это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке, их очень большое количество, и там приведено 185 документов. <...> Надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление, потому что впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства. *(Факты. События. Мнения. Ведущий В. Шиманский // Радио «Свобода». 8 января 1967)*

Георгий Адамович: У меня все-таки радость и грусть по поводу этих документов, я бы сказал, 51 процент радости и 49 процентов грусти. Потому что жертвы советского режима были и будут, и были гораздо более страшные жертвы, чем Синявский и Даниэль по своей участи. Радость, потому что совершенно явно, что что-то в России меняется и теперь происходит то, что не могло произойти 15 лет назад. Мне всегда представляется, что если когда-нибудь произойдет в России не революция, а настоящая эволюция, то под давлением новых поколений. Очевидно, это теперь происходит. *(Факты. События. Мнения. Ведущий В. Шиманский // Радио «Свобода». 8 января 1967)*

Л.И. Гинзбург – Первому секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу
25 февраля 1967

<...> В конце 1966 года сына вызывали в КГБ для беседы по поводу его заявления и собранных им материалов судебного процесса над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем.

Во время «беседы» от него требовали, чтобы он сказал, кто помогал ему собрать эти материалы, кому и с какой целью он их показывал. Угрожали, что за этот поступок его будут судить, если только он не «исправит» его (уговаривали: «Пожалейте вашу мать»). *(Процесс четырех. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)*

Петр Григоренко: Первый взгляд разочаровывает: небольшой ростом, худой, щупленький мальчик, да еще застенчивый. Единственно, что производит хорошее впечатление – заразительный мальчишеский смех и умные, вдумчивые глаза. Но с каждой новой встречей он становился для меня все интереснее. Мальчик незаметно превратился в мужа. Между нами начала складываться дружба. Очень способствовало этому знакомство с его матерью Людмилой Ильиничной. Чувствовалась многолетняя взаимная дружба, любовь и забота друг о друге. И хотя жили они в неблагоустроенной комнате разваливающегося дома, было у них тепло... теплом душ. Это не могло не рождать уважения к обоим.

Мы встречались несколько раз. 26 декабря 1966 года я зашел к нему на работу – в русский Литературный музей на Большой Якиманке. Мы пошли, разговаривая, по улицам. Перешли Крымский мост. Я был рядом с домом. Ему надо было возвращаться. Но еще многое не переговорено, и я решил его проводить через мост. Проводил. Но он не захотел остаться в долгу. И мы еще раз прошли по мосту. Остановились, долго говорили. Я попытался еще раз проводить его, но он воспротивился, заявил, что он уже опаздывает, что ему бежать надо. Я смотрел ему вслед. И как-то тоскливо стало на душе. Расставаясь, мы сказали друг другу «до свидания». Свиделись ровно через 8 лет. *(Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс. М.: Звенья, 1997)*

В декабре 1966 года Алик Гинзбург и Арина Жолковская подают заявление в ЗАГС Кировского района г. Москвы. Бракосочетание назначено на конец января 1967 года.

Ревекка Фрумкина: Точно так же я знаю только то, что один экземпляр Гинзбург сам передал в КГБ, дабы показать, что свою деятельность он считает легальной. Об этом его жесте... я узнала по телефону от Тамары Казавчинской. То, что она мне сказала, сегодня может показаться репликой из глупого шпионского фильма. Тогда же это было, если угодно, следование элементарным правилам гигиены. А услышала я следующее: «Для Иры (невесты Алика. – *Р.Ф.*) книга Фейхтвангера “Успех” стала теперь вполне актуальна».

Суть конфликта в этом романе в том, что в еще до-гитлеровской Германии главный герой – писатель – за свою статью (или книгу – уже не помню точно) попадает в тюрьму, а его невеста посвящает жизнь борьбе за его освобождение. Именно в те годы «Успех» многие из нас перечитывали. *(Фрумкина Р. О нас – наискосок. М.: Русские словари, 1997)*

Андрей Амальрик: – К жене писателя[69] заходил английский журналист и оставил свой адрес. Ты ведь умеешь общаться с иностранцами, не мог бы ты связать его со мной? – сказал мне Александр Гинзбург в декабре 1966 года.

Всего четыре месяца назад я вернулся из ссылки, о суде над писателями Даниэлем и Синявским знал, главным образом, по советским газетам, о демонстрации и письмах в их защиту слышал смутно, я слышал также, что Гинзбург заканчивает «Белую книгу» – сборник материалов о суде – и хочет устроить пресс-конференцию. <...>

Через несколько дней Гинзбург встретился у нас с журналистом, занавесок у нас еще не было, и мы заставили окна картинами, наивная конспирация на тот случай, если бы попытались сфотографировать нас. Договорились о новой встрече на 17 января – но у Гинзбурга с утра до вечера был обыск, в тот же день был арестован Юрий Галансков, составитель сборника «Феникс». <...>

Слишком уж спрессовано было время, отпущенное Гинзбургу оставаться на свободе... *(Амальрик А. Записки диссидента. М.: Слово/Slovo, 1991)*

С 4 января 1967 года Галансков и Гинзбург уходят в учебный отпуск для сдачи экзаменов. Эту сессию Гинзбург сдал хорошо, как следует из характеристики на уже «бывшего студента», представленной в КГБ 5 апреля 1967 года деканом факультета государственного делопроизводства Московского государственного историко-архивного института Л.Н. Качалиной.

В начале января органами КГБ арестован гражданин ФРГ Фолькер Вильгельм Шаффхаузер, который вез Александру Есенину-Вольпину «антисоветскую» литературу.

10 и 16 января 1967 года в приемную КГБ Головановым и Цветковым были сданы материалы: «Письмо Брежневу» и «Открытое письмо Шолохову», которое содержало «измышления, порочащие советский государственный и общественный строй». Материалы были получены ими от Павла Радзиевского, а тем – от Алексея Добровольского.

Леонид Плющ: ...До нас дошли слухи, что провокатором оказался один наш старый товарищ, знакомый по Киеву, Павел Радзиевский. Я знал его неплохо и не поверил слухам. Решил поточнее разузнать о процессе и, в частности, о нем. <...>

Все доказательства провокаторства Радзиевского меня не убедили: уж больно много логических аргументов и мало фактов, да и Павла я все же достаточно знал, чтобы не поверить так быстро. Я поехал к Павлу и, делая вид, что я ни о чем не знаю, стал расспрашивать о следствии. Павел подробно рассказал о том, как попался, как вел себя на допросах, как был обвинен Петром Якиром в стукачестве.

Добровольский принес Павлу несколько статей самиздата:

– Отпечатай на «Эре».

– Здесь нет ничего опасного? Я не ручаюсь за печатников.

– Нет. Тут материалы заседания старых большевиков[70]. (Статьи были в папке с фамилией «Добровольский».)

Павел, идя на работу, просмотрел бегло статьи, одна показалась опасной, остальные – нет. Их он и отдал отпечатать на «Эре». Через неделю к нему пришли, нашли папку с фамилией Добровольского, взяли Добровольского и Павла, затем остальных.

---

[69] Под «женой писателя» имеется в виду Лариса Богораз, бывшая в то время замужем за Юлием Даниэлем («писатель» – обычное именование Юлия Даниэля в письмах Гинзбурга).

[70] 26 июня 1966 года на заседании отдела истории КПСС Института марксизма-ленинизма состоялось обсуждение макета 3-го тома «Истории КПСС». Для обсуждения были привлечены старейшие члены партии. Благодаря присутствовавшим на заседании антисталински настроенным членам КПСС (А.Е. Костерину, С.П. Писареву) стенограмма заседания попала в самиздат, где получила большое распространение.

Павел высказал подозрение, что провокатором был Добровольский («а может, просто сумасшедший, у него не все в порядке с головой»). *(Плющ Л. На карнавале истории. L.: Overseas Publ. Interchange, 1979)*

17 января 1967 года Вера Лашкова была остановлена у себя в институте лицами, предъявившими удостоверения сотрудников Министерства охраны общественного порядка. Они сообщили, что у нее на квартире произошел грабеж и необходимо поехать туда с ними. Однако они отвезли ее в приемную Управления КГБ по Москве и Московской области, где вскоре предъявили ей ордер на обыск и уже тогда поехали к ней домой для обыска. (Процесс четырех. Амстердам: Фонд им. Герцена, 1971)

Вера Лашкова: Они со мной не делали даже вида, что законность соблюдают. Они смеялись мне прямо в лицо. Было такое животное, из следаков, но и в обысках он тоже участвовал. Сережку Ходоровича мучал, забыла фамилию... Он просто гад был, воплощенный гад. Когда отбирал у меня что-то на обыске и я ему сказала, что не могу позволить это отдать, он на меня посмотрел с интересом: «А как это вы не позволите?» Более чем свободно себя вели. До хрена чего отобрали. Книжки хорошие. Жалко, конечно, машинки. Они в ту пору дорогие были очень, и, например, я себе машинку купить никогда не могла. В 60-е годы – в районе ста рублей – это были деньги, которые я даже не могла представить. Я понимала «рубль», «три рубля». Был случай, когда у меня – ну совсем не было денег. Ну совсем! А очень хотелось есть. Я шла по Кропоткинской и мечтала о еде. Еще точнее – мечтала найти три рубля – предел мечтаний – чтобы поесть. И так мечтала, что, когда зашла в подъезд своего дома – а у нас красивый подъезд был, старый, дворянско-аристократический, и увидела в начале лестницы три рубля – то я даже не удивилась. Просто обрадовалась.

Всегда забирали письма. Очень жалко писем Наташи Горбаневской (я же записалась ее сестрой, и она могла мне поэтому писать) – из института Сербского, из Казани. Мамины письма забрали – мы же с родителями отдельно жили. Ладно забирали, им это идет как оперативка, видимо, – просто не возвращали никогда, вот что обидно. Идти просить в эти казенные дома – ноги не шли. Одно дело, когда ведут... *(Интервью составителю. Февраль 2016)*

В тот же день, 17 января, были проведены обыски у Галанскова, Гинзбурга и Добровольского.

Павел Литвинов: Я совершенно случайно пришел со своей знакомой в квартиру Алика прямо во время этого обыска. Это был первый обыск, на котором я присутствовал в своей жизни. Нас не выпускали, и мы просидели там целый вечер, допоздна. Алика тогда не арестовали, арестовали Юру Галанскова, которого я знал меньше. И после этих дней я уже знал, что судьба моя решена. Я связан с этими людьми, я буду их защищать.

После этого вечера Алик сказал: давай я возьму тебя с собой. Мы поехали в поздний час и приехали к Ларисе Иосифовне Богораз. Там был Толя Марченко. С Ларисой у нас сразу возникла большая дружба. И это все произошло в те короткие дни. Таково было свойство Алика – с улыбкой, легко, без нажима он связывал людей вместе. Так было и в лагере, и везде. *(К 70-летию со дня рождения Александра Гинзбурга. Газета «30 октября». М., 2007. № 70)*

Протокол обыска у А.И. Гинзбурга
17 января 1967

Ст. следователь следственного отдела УКГБ при СМ СССР по г. Москве и Московской области капитан Смелов и сотрудники того же управления ст. л<ейтенант>т Забалуев, л<ейтенант>т Барышев, Гутанов, Семашкин и эксперт Хоринов с участием понятых <...> произвел обыск в квартире № 25 дома № 11/14 по ул. Большая Полянка у Гинзбурга Александра Ильича с целью отыскания

и изъятия антисоветских рукописей, а также других предметов, имеющих значение для дела. <...> Обыск начат в 13 час. 30 мин., окончен в 20 час. 15 мин.

Перед началом обыска следователем было предъявлено постановление об этом от 17 января 1967 года, после чего Гинзбург Л.И. (мать Гинзбурга А.И.) было предложено выдать указанные в постановлении рукописи и литературу, на что Гинзбург Л.И. заявила, что она о таких документах ничего не знает. В 14.00 в квартиру возвратился Гинзбург Александр Ильич, который также был ознакомлен с постановлением на обыск, после чего заявил, что рукописей и литературы антисоветского характера у него нет.

При обыске обнаружено и изъято для доставления в УКГБ по г. Москве и МО:

<...>

6. Машинописный текст на листе белой нелинованной бумаги, начинающийся словами: «В политбюро ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР, Сессии Верховного Совета РСФСР, Сессии Верховного Совета СССР. Уважаемые товарищи! Мы, группа советских граждан, считаем своим долгом...» – и заканчиваются: "...может стать препятствием к осуществлению свобод, гарантированных Конституцией СССР".

7. Машинописный сборник "Феникс" под редакцией Ю. Галанскова, Москва, 1966 год, на 379 (трехстах семидесяти девяти) листах в картонном переплете. <...>

19. Машинописный текст на 4 (четырех) листах под названием "Человеческий манифест", начинается со слов: "Все чаще и чаще..." и заканчивающийся: "...На мраморе тела крест". <...>

29. Магнитофонные пленки на кассетах, всего 27 (двадцать семь) штук, из них в кассетах на 250 м – 19 (девятнадцать), в кассетах на 180 м – 6 (шесть) и в кассетах на 100 м – 2 (две). Все пленки упакованы в мешок и опечатаны гербовой сургучной печатью.

В 15 ч. 20 м. в квартиру Гинзбурга А.И. пришли его друзья: Литвинов Павел Михайлович, 1940 г. рожд. <...> и Некрасова Татьяна Михайловна, 1938 года рождения <...>, которые были задержаны в квартире до окончания обыска. У Некрасовой было проверено содержимое имевшегося при ней портфеля, изъято ничего не было.

По окончании обыска в 20 ч. 30 м. к Гинзбургу А.И. пришла Жолковская Ирина Сергеевна, 1937 г. рождения <...>.

Помимо занимаемой Гинзбургом в настоящее время комнаты, обыск был произведен также в двух принадлежащих ему комнатах, где идет ремонт, в сарае, а также в коридоре квартиры, где находятся вещи Гинзбурга. <...>

Протокол следователем прочитан. Записано все правильно.

Понятые: Денисов, Кирягина

Присутствовавшие: А. Гинзбург, Л. Гинзбург.

(Архивы Международного общества «Мемориал». Ф. 118: Александр Гинзбург)

Начинаются допросы задержанных. Реконструировать то, как они проходили, можно на основании сведений из книги «Записки адвоката» Дины Каминской, которая как защитник Юрия Галанскова имела доступ к материалам дела.

19 января состоялся допрос Галанскова, на котором он заявил: «Я составил "Феникс" и готов нести за это полную ответственность». Эти показания он никогда не менял.

19–21 января – допросы Добровольского, он пытается отвести обвинения от себя: «Я ничего не передавал Радзиевскому, пусть он сам отвечает за себя». На очной ставке с Радзиевским он утверждает: «"Открытое письмо Шолохову" передал Радзиевскому не я, а его автор Галансков».

Первой общественной реакцией на произведенные аресты была демонстрация 22 января 1967 года на Пушкинской площади в Москве с требованием освобождения Галанскова, Добровольского, Лашковой и Радзиевского. В демонстрации приняли участие около сорока человек, пятеро были задержаны и четверо предстали перед судом и были осуждены на сроки от 1 до 3-х лет – по новым статьям УК РСФСР, принятым 15 сентября 1966 года.

Александр Гинзбург: Для меня большим сюрпризом было активное участие смогистов, в первую очередь, Вадика Делоне, в демонстрации на Пушкинской площади сразу после того, как арестовали четверых моих друзей – Юру Галанскова, Веру Лашкову, Алешу Добровольского и Павла Радзиевского. Меня не тронули, хотя было совершенно ясно, поскольку уже прошли обыски, что я буду следующим. Больше всего мне не хотелось попасть не по любимой 70-й статье (за антисоветскую пропаганду), а по 190-й, с которой окажешься в уголовном лагере. И эту демонстрацию я наблюдал не так, чтоб издалека, – с другой стороны улицы Горького, и видел, как это все происходило. Арестовали меня на следующий день. Первое, что спросили, – почему вас вчера не было? *(Крохин Ю. Что осталось за кадром // Сайт Юрия Крохина URL:http://yurikroh47.narod.ru/Krohin-kadr.htm)*

Андрей Амальрик: Я увидел Гинзбурга на выставке неофициальных художников в клубе «Дружба». В течение часа, пока выставку не закрыли, едва можно было протиснуться сквозь толпу – и тут мелькнуло его лицо, оживленное, но уже с отпечатком обреченности, ясно было всем, а лучше всех ему самому, что его вот-вот арестуют. Здесь же я услышал о демонстрации на Пушкинской площади в защиту Галанскова и еще троих арестованных. Мне уже рассказывали о демонстрации в декабре 1965 года с требованием гласности суда над Даниэлем и Синявским, но я полтора года не был в Москве и возможность даже маленькой демонстрации казалась мне невероятной. *(Амальрик А. Записки диссидента. М.: Слово/Slovo, 1991)*

Людмила Алексеева: 22 января мы собрались у Ларисы [Богораз] отметить Толин [Марченко] день рождения, ему исполнялось двадцать девять. Он сидел за столом вместе с нами, но почти не говорил, больше слушал. Человеку несведущему могло показаться, что празднуется день рождения Алика Гинзбурга – к нему, составителю «Белой книги», каждый подходил и говорил что-то вроде: «Потрясающая книга! Ее ждет долгая жизнь». Гинзбург принимал похвалы с отстраненным видом. Как и все присутствующие, он знал, что на днях были арестованы трое его товарищей – активистов самиздата, и всем было ясно, что следующим станет он.

Наши похвальные отзывы о книге оказались прощальным словом ее автору. На следующий день его арестовали. *(Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006)*

Арина Гинзбург: Около двенадцати ночи Алик пошел меня провожать. К метро не пошли – мне надо было домой на Тверскую-Ямскую, к «Маяковке», проще было проехать поверху – через мост и повернуть на Горького. По абсолютно пустой Полянке мы дошли до Малого Каменного моста. Пустота поражала – как вымерло всё. Ни на улице, пока шли, ни на набережной, ни около «Ударника», ни в сквере напротив, насколько можно было видеть – никого. Только на стоянке такси перед мостом крутилось человек шесть, даже что-то вроде драки завязалось – Гинзбург, конечно, кинулся было заступаться (ему показалось, что женщину обидели), но я удержала. И как-то сразу драка рассосалась, уехали все, и – уже полная пустота кругом, ни души!

Он меня посадил на такси, я еще оглянулась, когда машина въехала на мост, увидела, как Алик, пригнувшись (от ветра?), руки в карманах пальто, пошел назад, в направлении Полянки. *(Интервью составителю. 2016, 2017)*

Всеволод Некрасов

***

А в Москве –
Как во сне
Москвы нет
Зато есть снег.

Кто такси берет
Кто пешком побредет
И никто не разберет

Назад ли, вперед
Сто, двести, триста лет...

То ли здесь просто лес.

По лесам, по полям, по Солянкам,
Полянкам ни берега, ни брода.

Есть дорога
Только лыжным патрулям[71].

(Архивы Международного общества «Мемориал». Ф. 118: Александр Гинзбург)

Арина Гинзбург: Там они его и схватили, я, наверное, еще до дома не доехала. Как он потом рассказывал, с улицы Димитрова вывернула машина, двое выскочили, заломили руки и запихнули на заднее сиденье. Опомниться не успел, как уже сидел промеж двух молодцов.

Людмила Ильинична его ждала всю ночь – он же вышел просто проводить, не собирался у меня ночевать, иначе бы предупредил. Паша Литвинов с ней еще был – то ли сам зашел (на Полянку можно было в любое время почти, такой был дом), то ли она ему позвонила, чтоб пришел, посидел. В общем-то, было понятно – уже ведь арестовали и Веру, и Юру, и Добровольского, но окончательно убедились, что это арест, только утром. *(Интервью составителю. 2016, 2017)*

Александр Гинзбург – Арине Жолковской
22 сентября 1969

А что обещал я не арест и не лагерь, это ж не совсем точно. Ты ж мне и вопросы не так ставила. Во мне надолго застрял последний твой вопрос – у такси ночью 23 января: «А тебя не обязательно арестуют?» Ну что я мог ответить? И, насколько ты помнишь, я никогда не отказывался от той самохарактеристики, которую когда-то выдал себе ночью в темном троллейбусе на ваших Тверских-Ямских. А та самохарактеристика никак уж лагеря не исключала. Я и сейчас от нее не отказываюсь. *(Stanford, California, USA. Alexandr Ginzburg. Box 5)*.

[71] Стихотворение опубликовано еще в 1959 году в «Синтаксисе» № 1 и, конечно, не имеет отношения к обстоятельствам ареста А. Гинзбурга в январе 1967 года.

Илья СЕМЕНЕНКО-БАСИН

пролетая через точку ♈

Песня, Пенсия? а приглядишься: Пресня
так слово мелькает на газетном листе
тает доверие к неизменному
[снова сезонов смена]
тоску гоните, гоните пар сквозь змеевик
гоните правду
только зиму не трогайте

какая ночь весной? такая же, как и зимой
снег мой ещё кое-где лежит
не хочется ни времени, ни года нового
ни так именуемого буйства, была бы
зима
и хорошо
лью слёзы над попираемой и плавимой зимой

на лестнице

стоматолог рек: рты наши – помойка
более двухсот разновидностей микроорганизмов
вот тебе и подоплёка
ораторского мастерства
посему – пиши

***

линолеумом
как мучает эта форма творительного падежа
линолеумом обоями ум ограничен
и смущена душа
прямо с балкона
открываю шлагбаум, отчалила
служба доставки

Илья Семененко-Басин родился в 1966 г. в Москве. Окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Союза писателей Москвы. Доктор исторических наук. Автор поэтических книг: «Ручьевинами серебра» (2012), «Мои стихи: В память 100-летия кубофутуризма» (2012), «Лира для диких зверей» (2016), «Март 2007» (2017). Финалист Поэтической премии «Русского Гулливера» (2014) в номинации «поэтическая книга».

все слова сии в состоянии
движения
в состоянии ветра – веют красным ветром

Михаил КОРЮКОВ

***

о гибели и о любви,
о половинке
хрипит пластинка.

ничего не осталось от карты мира,
полкруга прожил по секундной стрелке,
на втором этаже нам купил квартиру
для чувства комфорта, своей тарелки.

так бы жил и смотрел на дворы с балкона
и кофе попить отходил из блюдца,
но на первом откроется бар в столовой,
мы спустимся вниз чтобы не вернуться.

посидим-помолчим с обречённым видом
без жёсткой набойки и нежной юбки,
ты захочешь сказать, но собьёшься, либо
протянешь ладони, укроешь руки.

и вот так, без претензий на что-то большее,
но с общей судьбой и почтовым ящиком,
мы пропустим по рюмочке, словно прошлое
нальём в настоящее.

***

Снег падает,
словно отшелушенная краска
с облаков.
Деревня разместилась
у подножия холмов,
как если бы мы стол
поставили между

Михаил Корюков родился в 1991 году в г. Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства. Лонг-листы Волошинского фестиваля (2016), премии им. Евгения Туренко (2016), российско-итальянской литературной премии «Белла» (2017). Стихи публиковались в «НГ-Exlibris», в журналах «Русское эхо», «Новая Реальность», «Вещь», «Графит», в антологии молодой уральской поэзии «Шепчутся и кричат» (Челябинск, 2016) и др. Автор двух книг стихов «Место будущего шрама» (2014) и «Сильнее сейчас» (2016). Живёт в Каменске-Уральском.

холодильником и плитой.
И люди, дорогие мне,
катаются по маслу
на сковороде,
а меня накладывают в тарелку,
чтобы поставить на стол.
Всё бы ничего,
но свет над нами
белей, чем штукатурка.

***

между добром и злом
трещинка на стекле.
дай заменить стекло,
холодно в феврале.

тайные рычаги
у твоего окна:
не целовать щеки,
значит, касаться дна.

кухонно, Вика, мне,
лампочно в голове.
сядешь спиной к стене,
спрячешься в рукаве.

это внутри от нас
холодно в феврале,
и для отвода глаз
трещинка на стекле.

Евгений СТЕПАНОВ

***

я замер азией во льду,
я сшил, как йог, восход с закатом,
я счастлив во втором ряду,
я счастлив – и в сто двадцать пятом.

Евгений Степанов – поэт, прозаик, издатель. Родился в 1964 году Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Стихи печатались в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Арион», «Урал», «Юность», «День и Ночь», «Дон», «Интерпоэзия», «Новый берег», «Крещатик», «Слово», в альманахах «Поэзия» и «День поэзии», в «Литературной газете» и в других изданиях. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии. Живет и работает в Москве. Главный редактор журнала поэзии «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига.

vivat: я жил, vivat: живу,
я счастлив в этой жаркой льдине,
я счастлив: лед, как хлеб, жую,
я счастлив – нет меня в помине.

Зимний дом

прикасаться, пускай еле-еле, к
нескончаемой лжи – недосуг.
я смотрю обезумевший телек,
отключив с наслаждением звук.

лучше так – на кормушке синица,
доктор дятел взлетел на сосну.
разве с чем-нибудь это сравнится?
я и глаз-то теперь не сомкну.

лучше так – день погожий и вольный,
две души что поют в унисон.
лучше – благостный звон колокольный.
хоть порой и не благостен он.

***

на пороге – не ведая – сны – на пороге.
на пароме – туда (в никуда?) – на пароме.
бормотанье – шаман – чахлый сын сибирячки.
очень быстро – алтын (или меньше?) в заначке.
мертвецы в записной тонкой-тоненькой книжке.
ни Юрашки, ни Тани – ни дна, ни покрышки.
а с собою не взять ни рубля, ни дирхама.
непонятно – и, видимо, в сторону храма.
уходя-уходи – возвращайся обратно.
это жизнь, это смерть – ничего не понятно.

Виктор СМИРНОВ

Вихрь

Деревья переносят вихрь
труднее, чем намуркать в рифму,

Виктор Смирнов родился в Свердловске в 1957 году. Окончил филологический факультет УрГУ, работал учителем русского языка и литературы в средней школе. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Урал», в антологиях, альманахах и коллективных сборниках. В 2005 году вышла книга «Соляной столб», в 2014 – «Собрание стихотворений». Живет себе в Екатеринбурге.

и в их стволах, и ветках их
смятенье подданных калифа.
И много-много листьев, веток
валяется среди дороги,
и кто такой был безответен
пред властелином своим строгим
мне ясно, словно дважды два.
По правде же, они сильнее
людей, чьи глупые слова
как свежим опахалом веют.

13.07.15

Светлое в пении

Слепящих вырвалось полос
в темной листве и на ручье,
как из поспелых южных лоз,
как будто бы их сок запел.
Вода и листьев оборот
светлели, по стеклу ручья
текли гирлянды чайных роз,
желтый огонь и теплый чад.

23.08.80

***

Цветок красивый львиный зев,
и колокольчики не хуже,
и только запыхавшись, сев,
понятно, что они снаружи.
А так они живут в душе,
и это будто бы свое,
ты гонишь выдумку взашей,
не полагаясь на нее.
А все ж призор необходим,
я им займу свою тоску.
А у цветов все больше нимб,
все легче реют на брезгу[1].

19.08.15

[1] дрянь, мелочь, хлам (прим. авт.).

Сергей СЛЕПУХИН

ОХОТНИК ЗА ЛЮБОВЬЮ

И растлевая музу и любовь...
Саша Черный[1]

Сегодня очень немногие помнят о существовании писателя Генриха Манна. У одних это имя вызывает буйный восторг, ведь «Молодые годы короля Генриха IV» естественным образом совпали с годами беззаветной любви к «Королеве Марго» Дюма. Другие вновь испытывают хроническое отвращение к «обязательному» в юности – из-под палки – чтению романа «Верноподданный». Им и теперь Манн кажется страшным и ужасным монстром, может быть, даже таким, как о нем писала сталинская довоенная литературная энциклопедия: «представителем сходящей со сцены при господстве монополистического капитализма старой торговой буржуазии, в своем процессе деградации смыкающейся с паразитической буржуазией эпохи загнивающего капитализма, с одной стороны, и мелкобуржуазным активизмом – с другой»[2].

И те, и другие в своей оценке заблуждаются. Они попросту не знают творчества Генриха Манна, не имея ключа.

Случайная находка

В письме к Лу, жене композитора Ханса Эйслера[3], Лион Фейхтвангер[4] писал: «В последний раз я видел Генриха Манна в среду. Он выглядел несколько уставшим, но не допускал мысли, что не сядет на "Баторий", отплывающий 17 апреля. В пятницу я говорил с ним по телефону. Мне представилась возможность сообщить, что вопрос об издании "Учителя Гнуса" в новой редакции решился положительно... В эту пятницу, 10 марта, Генрих до 11 часов слушал музыку, а потом решил прилечь отдохнуть»[5].

Это было за несколько недель до дня запланированного возвращения в Германию. С трапа польского лайнера 28 апреля 1950 года Генрих Манн должен был ступить на европейскую землю и прямиком из Гдыни направиться в ГДР, где его давно ждали. Писатель принял приглашение занять в социалистической Германии пост президента Академии художеств. Но этому событию не суждено было сбыться.

---

[1] Черный Саша. Пошлость.

[2] Литературная энциклопедия в 11 томах. М., 1929–1939.

[3] Эйслер Ханс (1898–1962) – немецкий композитор, педагог. Сотрудничал с Бертольдом Брехтом и Эрнстом Бушем.

[4] Фейхтвангер Лион (1884–1958) – немецкий писатель, работавший в жанре исторического романа.

[5] Feuchtwanger Lion. Briefwechsel mit Freunden 1933–1958. V.2, pub. Harold von Hofe & Sigrid Wasburn, Berlin 1991. P. 142. Перевод с нем. Н. Мищенко.

Ранним утром 11 марта хозяйка не смогла разбудить постояльца и срочно вызвала врача. Доктор диагностировал геморрагический инсульт, случившийся во сне. После кислородотерапии писатель прожил еще несколько часов. Все это время Марта и Лион Фейхтвангеры, а также их секретарь Хильда оставались у постели больного. Генрих казался живым, ненадолго уснувшим.

От этого удара
Кровь брызнула из жил,
И нечестивец старый
Скончался, как и жил...[6]

Его похоронили на кладбище в Санта-Монике рядом с женой Нелли[7]. Скорбная весть разлетелась по всему миру. Лион Фейхтвангер, старинный компаньон Генриха, прошедший вместе с ним весь тяжкий путь из Мюнхена, Берлина, Франции до Соединенных Штатов Америки, ранее, в 1946 году, на праздновании семидесятипятилетия Генриха Манна, назвал коллегу величайшим из немецких писателей, чьи «книги не только сформировали наш век, но и изменили его»[8].

Последние недели перед грустным мартовским событием братья Манн виделись особенно часто. Это было удивительно, ведь овдовев, Генрих в основном проводил время в обществе четы Фейхтвангеров, а не в кругу семьи Томаса[9]. Томас лишь изредка подбрасывал деньги. Когда в марте 1950 года старший брат скончался в своей квартире на Монтана Авеню, 2145 в Санта Монике, Томас сделал в дневнике запись о странном открытии. «К. (Катя)[10] сообщила, что нашла несколько непристойных рисунков в столе покойного. Хозяйка говорит, что Генрих каждый день рисовал жирных голых баб. Эрика[11] забрала из квартиры листы и казусный манускрипт о Клаусе[12]»[13].

По распоряжению Генриха все его наследие было отправлено в ГДР. В 1975 году берлинское издательство «Aufbau Verlag» издало тоненький том, состоявший из тридцати пяти разрозненных рисунков и названный «Первые двадцать лет»[14]. В альбоме можно было увидеть зарисовки дома в Любеке, пейзажи Травемюнде, впечатления от юношеской поездки в Санкт-Петербург. «Рисунки и личные вещи поступили в архив Генриха Манна Академии художеств ГДР из США», – на-

[6] Гладков Александр. «Жил-был Анри Четвертый…» Песенка Лепелетье из оперетты «Давным-давно».

[7] Манн Нелли (урожденная Эмми Иоганна Вестфаль /Нелли Крёгер/ 1898–1944) – вторая жена Генриха Манна.

[8] Feuchtwanger Lion. Speech on Heinrich Mann's 75th birthday. Centum Opuscula. Wolfgang Berndt, ed., Rudolstadt, 1956. P. 562.

[9] «Смерть жены сделала его еще более одиноким. Когда он позвонил нам, я его спросила: "Ну, Генрих, как у вас дела?" Он сказал: "Неважно, Нелли только что умерла"». Цит. по кн.: Катя Манн. Мои ненаписанные воспоминания. Перевод с нем. Л. Миримова. СПб.: Бельведер, 2003. С. 99.

[10] Манн Катя (урожденная Катарина Хедвиг Прингсхайм, 1883–1980) – дочь математика Альфреда Прингсхайма, жена Томаса Манна.

[11] Манн Эрика (1905–1969) – дочь Томаса Манна, актриса, журналистка, писательница, во время Второй мировой войны секретарь отца, издатель его писем.

[12] Манн Клаус (1906–1949) – немецкий писатель-антифашист, автор романа «Мефисто», сын Томаса Манна. Умер от передозировки наркотиков.

[13] Цит. по кн.: Love Affairs and Tales of Atrocity. Heinrich Mann's Unknown Drawings. Edited by Volker Skierka with essays by Hans Wisskirchen and Marje Schuetze-Coburn. Steidl, 2010.

[14] Mann Heinrich. Die ersten zwanzig Jahre. Berlin und Weimar. Aufbau Verlag, 1975.

писано в предисловии к альбому. Все благопристойно, никакой эротики. Разве что одинокое ню да вид на улицу красных фонарей в любекском порту.

Неясно, что стало с рисунками, обнаруженными Катей в письменном столе. Возможно, картинки, изображавшие интимную жизнь покойного сына[15], заставили Томаса распорядиться уничтожить «сомнительную» графику. Кто знает... А может, истинной причиной экзекуции стало давнишнее неприятие эротики в романах старшего брата, да и сам стиль жизни Генриха.

Выбор

Как и другие дети в семье Манн, Генрих с юных лет любил краски и карандаши, оформлял кукольный театр, перерисовывал картинки. Он пронес интерес к изобразительному искусству через всю долгую жизнь. В итальянских поездках 1893–1906 годов – Флоренция, Рим, Палестрина[16] – Генрих много работал кистью, изучал живописную технику Беллини и Боттичелли. Сделанные в те годы зарисовки дворцов, церквей, парков вскоре оживут в его новеллах и романах.

Можно привести с десяток примеров, когда Манн включал в текст сюжеты известных картин – Тьеполо, Буше, Менгс, Гросс. В романе «Верноподданный» всадники дюреровского «Апокалипсиса» проносятся по площади Нетцига, а само название книги[17] вызывает ассоциацию со скандальной порнографикой тех лет. Рубенс становится персонажем второй книги о Генрихе Наваррском, а сцена с Габриэль д'Эстре заставляет вспомнить картину Ганса Бальдунга Грина[18] «Красавица и смерть». В «Молодых годах короля Генриха IV» легко угадывается «инсталляция» знаменитого полотна Фрагонара «Качели».

Члены семьи Манн неоднократно вспоминали большой живописный талант фрау Юлии, вдовы сенатора, матери писателей. Она и сама рисовала, и сумела привить детям любовь к искусству. Овдовев, Юлия Манн устроила в своей квартире в Аугсбурге что-то вроде артистического кружка, его посещали живописцы, музыканты, искусствоведы. Оба ее старших сына хорошо рисовали, особенно Генрих. В семье Манн хранится много «живописных легенд». О том, как из совместной итальянской поездки 1895 года братья привезли иллюстрированную самодельную книгу

[15] Клауса Манна.

[16] Соломон Апт считал Палестрину случайной географической находкой братьев Манн, выбор тура объяснял захолустьем (хорошо работать) и невысокими ценами. Однако можно предполагать, что поездка не была случайной. Палестрину задолго до этого «открыл» Арнольд Бёклин, кумир манновского поколения. Он поселился здесь после женитьбы и прожил с 1854 по 1857 г. В Палестрине окончательно сформировался стиль будущего великого живописца. Тот факт, что именно Бёклин революционно изменил художественную жизнь Мюнхена, дружба и совместная работа художника с Вагнером, могут объяснить выбор молодых немцев. В ранних новеллах младшего Манна нередко встречаются аллюзии с мифологическими и символистскими полотнами швейцарца, а у Генриха пейзажи Палестрины позже оживут в романе «В маленьком городе».

[17] Оригинальное название романа «Der Untertan». Так в начале века называлась популярная садомазохистская игра. «Госпожа» надевала на партнера уздечку, шапку с лошадиной мордой, вставляла в anus хвост, заставляла возить «кучера» по комнате, подстегивала «скотину» хлыстом. Генрих Манн в ночной сцене с Дидерихом и Густой не воспроизводит именно этот сценарий, но делает главу о мазохизме героя кульминационной. К теме «Der Untertan» охотно обращались многие немецкие художники того времени – Георг Гросс, Карл Хуббух, Рудольф Шлихтер.

[18] Бальдунг Ганс (прозванный Грин, 1480/85–1545) – немецкий живописец, рисовальщик, гравер, ученик Дюрера. Маньеризм в его произведениях проявляется в сочетании рационального с мистикой, а пластики – с деформацией.

«Bilderbuch fur artige Kinder»[19] и подарили ее Карле[20]. Как скучными вечерами в Риме они делали для этого манускрипта рисунки и шутливо считали их «Делом всей жизни». «Лучше бы было называть этот цикл “Гражданский порядок”, – вспоминал Томас на праздновании шестидесятилетия Генриха, – поскольку это была галерея социальных типов и групп, начиная с императора и папы, и заканчивая рабочими в обносках и нищими»[21], людское шествие, стилизованное под «Танец смерти» из любекской Мариенкирхе.

Вот еще одна легенда. Виктору Манну[22] запомнились[23] «яркие цветные изображения из жизни буржуа», уникальные графические листы Генриха, потерянные при бегстве семьи из Мюнхена, их сходство с работами Георга Гросса[24] – «бриллианты, величиной с лесной орех, на жирных пальцах, накрахмаленные мужские сорочки». Виктор был намного моложе своих старших братьев. Неудивительно, что первая живописная работа Генриха – Томаса, «Книга с картинками для благонравных детей», позже вспоминалась ему похожей на журналы «Симплициссимус» и «Югенд»[25], а графика ассоциировалась с работами Юлиуса Дейца и Генриха Мальштиля.

В своем романе-биографии о Томасе Манне Соломон Апт[26] утверждает, что Генрих мечтал стать художником. Увы, это большое заблуждение. В одном из писем 1890 года к близкому другу Людвигу Эверсу[27] Генрих отзывается о своих рисунках весьма критично, называя их «грязной мазней». Он признается, что не имеет права тратить время на ерунду, а должен всего себя отдать литературе. Если говорить о его художественном вкусе, то своим идеалом молодой человек считал живопись старой школы, образцом для подражания – художника, способного и безобразное сделать красивым. Моментальный снимок французского фотографа Генрих Манн искусством признавать отказывался.

Для Маннов конец XIX века – время ранней молодости, а начало XX – зрелости. В 1918 году младший из романистов скажет о современном искусстве, что оно «притаскивает жизнь для вивисекции, для чувственно-сверхчувственного разглядывания, интенсивнейшего самопознания и самочувствования»[28]. Движущей силой эпохи стала ницшеанская философия. В духовно-эсте-

[19] «Книга с картинками для благонравных детей» (нем.). Подзаголовок книги: «Семьдесят пять шедевров, сделанных рукой зрелого мастера, в том числе двадцать восемь цветных рисунков и сорок семь гравюр на меди, кроме этого, шестнадцать высокохудожественных стихотворений со множеством заметок, поучающих хорошему поведению и развивающему грусть, собранных и изданных с особым тщанием, а также с учетом того, что книга предназначена для созревающего немецкого юношества».

[20] Манн Карла (1881–1910) – сестра Генриха и Томаса Маннов, актриса, покончила жизнь самоубийством.

[21] Jasper Willi. Der Bruder Heinrich Mann. Frankfurt/M., 1994. Перевод с нем. Н. Мищенко.

[22] Манн Виктор (1890–1949) – младший брат Генриха и Томаса Маннов, написавший автобиографию «Нас было пятеро».

[23] Mann Viktor. Wir waren fünf: Bildnis der Familie Mann. Südverlag, Konstanz, 1949. Перевод с нем. Н. Мищенко.

[24] Гросс Георг (1893–1959) – немецкий живописец, график, карикатурист. Один из основателей берлинской группы дадаистов. Иллюстратор книги Генриха Манна «Кобес» (1925). Жизненные пути писателя и художника неоднократно пересекались. Альбом «Ecce Homo», признанный властями порнографическим, определенно оказал влияние на творчество Манна, неоднократно использовавшего мотивы и композиции рисунков Гросса в своей прозе и графике.

[25] На самом деле эти журналы будут издаваться лишь через несколько лет после подарка Карле.

[26] Апт Соломон. Томас Манн. М.: Молодая гвардия, 1972. – (Серия «ЖЗЛ»).

[27] Mann Heinrich. Brief an Ludvig Ewers. Berlin und Weimar, 1971/1977. P. 39.

[28] Манн Томас. Рассуждения аполитичного. Перевод с нем. Н. Елисеева //Вестник Европы. 2008. №24.

тическом смысле она давала две возможности: «эстетизм бесстыдства и ренессанса»[29] – дорога, которой пошел Генрих, и ирония, избранная Томасом.

Считается, что именно эссе «Размышления аполитичного»[30] развели братьев на долгие годы. Его автор, Томас, Первую мировую войну приветствовал и отстаивал. Он выступил против пацифизма, общественных реформ и оказался противником Генриха, сторонника демократических перемен. Однако при ближайшем рассмотрении причина конфликта обнаруживается не только в политике, но и в эстетике.

В 1986 году, незадолго до смерти, Марта Фейхтвангер, пережившая мужа на двадцать девять лет, дала интервью Гессенскому радио. На вопрос журналиста о любовной теме в творчестве друга их семьи пожилая дама ответила: «До Первой мировой Генрих Манн оказал на коллег мощное воздействие именно своим “эротическим подходом”. Не политика – эротика была у него на первом плане»[31].

«Пробуждение весны»[32]

«Тела девочек чрезвычайно занимали его. Поглядишь, как эти существа раздеваются, ходят, говорят, смотрят, – оказывается, они устроены совсем по-другому, чем он, особенно плечи, бедра, ноги»[33]. Возможно, создавая образ тезки, принца Беарнского, Генрих в 1935 вспоминал собственное детство.

Ах, эти мальчишеские восторги, смутные предчувствия и неопределенные ощущения!

«А вот лежит и чулок, его забыли здесь. Мне хочется поднять его – почему нет? Теперь мне было бы стыдно, если бы я не сделал этого... Он длинный, длинный, блестящий и черный; на ощупь он невероятно мягкий, – это, конечно, шелк. Его, несомненно, уже носили, мне стоит только всунуть в него руку – вот так, – и он сейчас примет форму ноги... Сердце у меня уже опять подкатилось к горлу»[34].

«Панталон... обычно не носили, и когда юбочка задиралась, чего только, бывало, снизу не увидишь!»[35]

Старший отпрыск почтенного купеческого семейства Манн[36] с юности активно интересовался сексом: склонил к сожительству горничную, развратил кузину Алису, был завсегдатаем любек-

[29] Там же.

[30] Манн Томас. Рассуждения аполитичного. Пер. с нем. Н. Елисеева //Вестник Европы. 2008. №24. Манн Томас. Размышления аполитичного (первые главы из книги). Пер. с нем. И. Эбаноидзе // Аристократия духа. М.: Культурная революция, 2009.

[31] Цит. по кн.: Martin Ariane. Erotische politik: Heinrich Manns erzahlerisches Fruhwerk (Epistemata). Konigshausen & Neumann Verlag. Würzburg, 1993. Пер. с нем. Н. Мищенко.

[32] Название пьесы Франка Ведекинда, посвященной проблеме полового созревания и подвергающей резкой критике современную автору буржуазную мораль. См: Ведекинд Франк. Пробуждение весны. Детская трагедия. Перевод Федера под редакцией Федора Соллогуба. СПб.: Шиповник, [1907]. – 204 с. – (Театр; вып. 3).

[33] Манн Генрих. Молодые годы короля Генриха IV. Харьков: Фолио, 1994. С. 7.

[34] Манн Генрих. Диана. Минерва. Венера. Романы. Перевод с нем. А.С. Полоцкой. СПб.: Издательство ТОО «Интерконспект», 1994.

[35] Манн Генрих. Верноподданный. Бедные. Перевод с нем. И. Горкиной. М.: Правда, 1985.

[36] В дневниковых записях 1949–1950 годов (Mann Thomas. Tagebücher. 1949–1950) Томас Манн признается, что сексуальность, ее сложная природа, всегда присутствовала в нем, в его братьях и сестрах – Луле, Карле, Генрихе. Викко казался проще, но изменял жене бесконечное количество раз. Сексуальность определила авторскую индивидуальность и творческий путь братьев Манн.

ского борделя – пансиона Кноопа[37]. Неудивительно, что в тексте завещания сенатор Манн большее внимание уделил среднему сыну, ведь старший отпрыск удрал из дома, не закончив гимназию и поступил учеником в фирму книгопродавца. Позже, вспоминая короткую учебу в Дрездене[38], молодой человек сумел охарактеризовать ее несколькими емкими словами: «театр, концерты, кафе, бордели»[39]. Девятнадцатилетний Генрих уверял закадычного друга Людвига Эверса, что «настоящее лечение – это приличные дозы сексотерапии со страстными, а не траченными молью девицами»[40].

В период возмужания инстинкт, как правило, обнаруживает себя в повышенной душевной возбудимости, в стремлении к самовыражению. В этот момент жизни поэзия души «обретает могучие импульсы полового мира»[41]. О, секс – великая сила![42] Вот яркий пример: начинающий никому не известный писатель Франц Кафка[43] свои первые рассказы несет единственному редактору, которого знает, а редактор этот – издатель порнографических журналов. Молодой человек тайно получает чтиво по подписке, зачитывает до дыр, прячет от родителей в секретном шкафчике в туалетной комнате, а ключик всегда носит с собой. Но именно на страницах этих запретных журнальчиков будущему писателю дано впервые познакомиться с творчеством Казановы[44], Уайльда, Рембо[45], Верлена[46], Келлера[47], Шрёдера[48] и других.

---

[37] Генрих «отдаст» свою интимную биографию герою романа «Погоня за любовью» Клоду Марену. Диалоги Марена с его другом Шпислем о сущности любви полностью повторяют диалоги Генриха с Людвигом Эверсом.

[38] Бросив профессиональную учебу, Генрих поступил работать в издательство С. Фишера в Берлине, но и оттуда вскоре уволился, переехав в Мюнхен.

[39] Mann Heinrich. Brief an Ludvig… Указ. соч.

[40] «Первой влюбленности, если не ошибаюсь, сопутствовало сладкое отвращение к половому акту (нельзя соединяться с очень красивой женщиной, надо избирать для этого только дурных собой)». Блок Александр. Записные книжки 1901–1920. М.: Художественная литература, 1965. С. 149.

[41] Крафт-Эбинг Рихард фон. Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового чувства. Пер. с нем. Н. Вигдорчик, Г. Григорьев. М.: Республика, 1996.

[42] Нет сомнения, фундаментальная работа Крафт-Эбинга была известна брату Генриха. В «Волшебной горе» Томас Манн наделяет доктора Кроковского чертами Крафт-Эбинга, Фрейда и пионера психосоматической медицины Георга Гроддека.

[43] Кафка Франц (1883–1924). Крупнейший немецкоязычный писатель XX века. Подробно о его порнографической коллекции и знакомстве с Францем Бляем в кн.: James Hawes. Excavating Kafka. Quercus, London, 2008.

[44] Казанова Джакомо Джироламо (1725–1798) – известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель, автор обстоятельной «Истории моей жизни». Благодаря этой книге он настолько прославился своими многочисленными любовными похождениями, что само его имя стало нарицательным.

[45] Рембо Жан Николя Артюр (1844–1896) – французский поэт-символист. Представитель группы «проклятых поэтов». Мировоззрение и поэзия Рембо оказали влияние на творчество многих крупнейших поэтов XX века.

[46] Верлен Поль Мари (1844–1896) – французский поэт-символист. Ввёл в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую музыкальность.

[47] Келлер Готфрид (1819–1890) – немецко-швейцарский писатель. Потерпев неудачу как художник-пейзажист и не сумев в силу стеснённых обстоятельств продолжить образование в Мюнхене, вернулся на родину. Роман Келлера «Зелёный Генрих», написанный в жанре гётевского романа воспитания, стал одним из самых интересных произведений немецкой реалистической литературы той эпохи.

[48] Шрёдер Рудольф Александр (1878–1962) – немецкий христианский поэт и переводчик. Один из активных антифашистов.

Молодость... Пробуждение эстетических чувств, пыл фантазии, пламя ощущений... Любовь – это своего рода религиозно-нравственный обряд. «Плоть моя приняла муки вместо распадающегося христианства»[49], – произносит героиня пьесы Клоделя[50]. То же самое мог бы сказать и Генрих Манн, если бы религия была в его уме и сердце. Но нет, мысли будущего литератора очень далеко, и вера – в другое.

«Для меня "любовь" такое же заблуждение, как и все остальное, – пишет «вырвавшийся на волю» Генрих Эверсу. – Я испытываю возбуждение моих сексуальных нервов не от их отсутствия, а от того, что они есть – со всей их физиологией и патологией. Первая же доступная женщина, что встретится на пути и придется по вкусу, способна вызвать во мне невоздержанность»[51].

Из другого письма: «Для меня доказательство этой теории заключается в частой смене партнера. Гамбургская блондинка, о которой я недавно говорил тебе, за последние недели дважды стала причиной острой и неожиданной ситуации, которая нарушила привычный порядок моей жизни. Когда позавчера я, побуждаемый темным влечением, снова искал ее, то нашел выставившей себя на продажу в кафе. Пришлось утешиться дикой брюнеткой из Берлина: пикантной и жестокой. Даже в кровати она не вынимала сигарету изо рта и между соитиями рассказывала об опробованных извращениях. Примерно через час (когда женщина развлекает, собственная веселость почти всегда меня оставляет) ей, наконец, пришло в голову, что мы должны снова одеться. Она хотела обойти еще пару кафе. Мы пробыли там до трех-четырех пополудни, а затем снова вернулись в каморку заниматься сексом».

Не только любовная практика, но и теория (литература вольного содержания) всегда интересовала старшего сына Маннов, подстегивала воображение. Конечно, в юности он читал Стендаля, Гонкуров, Золя и других «безнравственных» – с точки зрения отца – французских романистов. Когда, наконец, парень стал жить самостоятельной жизнью, ему страстно захотелось попробовать собственные силы в изящной словесности, поведать современникам (и, конечно, современницам!), что «*для меня "любовь*"».

В первые годы наступившего века книги Генриха будут иметь шумный успех. За границей, в России, в 1909–1912 годах выйдет даже два его многотомника, первые собрания сочинений – и не на немецком, а на русском языке! В нашем отечестве он был чрезвычайно популярен[52]. Андрей Белый называл Генриха Манна «шикарным модернистом», а молоденькая Марина Цветаева читала и перечитывала любовные романы (на русском и немецком!), страстно рекомендовала друзьям. Она напишет 5 января 1911 года Максимилиану Волошину: «Будьте хорошим: достаньте Генриха Манна. Если хотите блестящего, фантастического, волшебного Манна, – читайте «Богини», интимного и страшно мне близкого – "Голос крови", "Актриса", "Чудесное", "В погоне за любовью", "Флейты и кинжалы"»[53].

[49] Клодель Поль. Благая весть Марии. Мистерия в четырёх действиях с прологом. Перевод с франц. Л. Цывьяна. М., 2006. С. 180.

[50] Клодель Поль (1868–1955) – французский поэт, драматург, эссеист, крупнейший религиозный писатель XX века.

[51] Mann Heinrich. Brief an Ludvig Ewers. 1889–1919. Berlin und Weimar. Aufbau Verlag, 1980. Перевод с нем. Н. Мищенко.

[52] Первое произведение Генриха Манна на русском языке, новелла «Молодые девушки», была опубликована еще в 1905 году в «Вестнике иностранной литературы».

[53] М. Цветаева – М. Волошину. Письмо от 5. 01. 1911 // Цветаева Марина. Собр. соч. в 7 томах. М.: Эллис Лак, 1994-1995. Т. 6. С. 40.

Однако ироничный брат Томас назовет творения Генриха всего лишь «афродизиаками школярских фантазий»[54] и в письмах к брату выступит с резкой критикой.

«Эротический демократ»

«Ломать все вредное, отжившее самым решительным, самым беспощадным образом» – именно в этом видел предназначение революционера русский социал-демократ Владимир Ульянов. Его сверстник, немецкий бунтарь Генрих Манн, свое призвание искал в ниспровержении общепринятых законов благопристойности. Со всем пылом молодости, смело и легкомысленно он взялся разрушать изолгавшуюся и лицемерную пуританскую аскетическую мораль. Годы спустя Эрика Манн скажет о дяде – «эротический демократ»[55]. Молодость всегда настроена бурно, для нее на первом плане – конечная цель.

Что же не устраивало то поколение в морали викторианской эпохи? Согласно установившимся правилам, хорошо воспитанные молодые люди в надлежащее время влюблялись, делали предложение руки и сердца, сочетались церковным браком. Исключительно ради продления рода супруги время от времени в темноте и под одеялом совершали половой акт. Кодекс двойной морали разрешал некоторые плотские радости мужчинам, но требования к женщине были крайне суровыми: лежать тихо и смирно.

Ну и, конечно, непорочность юной девы! Маттео, герой ранней новеллы Генриха Манна «Тониета» выгоняет из дома молодую жену, поверив навету. Чуть позже он узнает, что ошибся, однако отказывается признать свою вину: «Ты бы, наверное, не допустил, господи, чтобы я ошибся в ней в нашу брачную ночь: не допустил бы этого, если бы она была невинна»[56].

Обыватель стойко сопротивлялся натиску таких, как Генрих, «эротических демократов». «Соблюдайте внешние приличия» – гласил закон буржуазного общества, которому все и каждый должны были подчиняться. Главная сущность внешнего приличия – решительное исключение из публичного поведения всего полового. Даже упоминание «причинного места» считалось крайне безнравственным. Писатель Ханс Фаллада[57], родившийся в 1893 году, на двадцать два года позже Манна, в автобиографической книге «У нас дома в далекие времена» вспоминает, как однажды в гостях у старой тетки мать сделала ему, одиннадцатилетнему мальчику, замечание: «Сиди смирно, Ханс! Не болтай ногами!» Тетка пришла в ужас: «Настоящей даме лучше не упоминать про *это*, внизу, – она глазами показала на мои ноги, – лучше не упоминать, Луиза! Как будто ей ничего неизвестно, Луиза! Но если уж ей необходимо *это* назвать, то она говорит “пьедестал” или, во всяком случае, “постамент”... Ханс, оставь в покое свой постамент, вот так звучит прилично, Луиза!»[58]

В конце века отношение к эротике было крайне противоречивым. То, что еще недавно считалось чрезвычайно пикантным, вскоре признавалось невинным и благопристойным.

На рисунке Рене Арман-Поля[59] «Медовый месяц» молодая хорошенькая женщина на удоб-

---

[54] Цит. по кн.: Love Affairs… Указ. соч.

[55] Цит. по кн.: Martin Ariane. Erotische politik: Heinrich Manns erzahlerisches Fruhwerk (Epistemata). Konigshausen & Neumann Verlag. Würzburg, 1993. P. 259. Перевод с нем. Н. Мищенко.

[56] Манн Генрих. Рассказы. Перевод с нем. М. А. Зельдович. М.: Акц. изд. О-во «Огонек», 1928. С. 16.

[57] Фаллада Ханс (1893–1947) – немецкий писатель, автор романов в духе критического реализма.

[58] Фаллада Ханс. У нас дома в далекие времена. Пер. с нем. Н. Бунина. М.: Правда, 1983. С. 521.

[59] Арман-Поль Рене Жорж (1864–1940) – французский художник. Иллюстрировал журналы «La Faridondaine», «Le Courrier Français», «Le Cri de Paris», «Le Figaro», «Le Petit Bleu», «Gil-Blas», «Le Rire». Приобрел популярность как критик буржуазных нравов.

ном диване тесно прижалась к мужу и нежно шепчет что-то на ухо. Подпись: «Научи меня неприличным словам»[60]. Фу, отвратительнейшая порнография! Оброненное мужем во время любви непристойное слово возбудило эротическое любопытство героини.

Генрих всегда с неослабевающим интересом следил за эротическими «новинками». Впечатления от Арман-Поля находим в рассказе Манна «Гретхен». Героиня говорит жениху: «Наше свадебное путешествие мы совершим в Берлин. Обещаешь, что возьмешь меня в притоны?.. А дома любви? Поклянись, что ты покажешь мне их!.. Вообще, мы женщины, должны все изведать, что дозволено вам»[61].

Обыватель негодует, он возмущен «Медовым месяцем»! Однако уже буквально на следующий день бюргер будет покорен Фелисьеном Ропсом[62]. «Сатана засевает землю семенем, которого она ждет». Картина внушает современникам истинный ужас, но публика тем не менее поспешит сделать бельгийца идолом. Затем Ропса оттеснят Бёрдсли[63], Кубин[64], появятся и другие...

Была ли борьба художника с общепринятыми нравственными законами геройством, сулила ли успех? Нет однозначного ответа, случалось всякое.

С одной стороны, полиция проводит конфискацию графической серии Вилли Гейгера[65], а с другой, фривольное панно Вильгельма фон Каульбаха[66], одного из главных тайных фабрикантов порнопродукции в Германии, выигрывает муниципальный конкурс на право оформления выставочного зала. Признанный классик и глава венского Пен-клуба Феликс Зальтен[67] в 1906 анонимно издает «Жозефину Мутценбахер»[68], при этом ни у кого не возникает сомнения, кто истинный автор австрийской «Фанни Хилл»[69]. В то же время Оскару Уайльду[70], Обри Бёрдсли,

[60] Описываемая сцена может вполне быть названа галантной. Существует убеждение, что на картинах XVIII века шепчут дамам на ухо непристойности. См.: Герман Михаил. Антуан Ватто. Ленинград: Искусство, 1984.

[61] Манн Генрих. Рассказы. Перевод с нем. Н. Соколовой. Москва-Петроград: Государственное издательство, 1923. С. 39-40.

[62] Ропс Фелисьен (1833–1898) – бельгийский художник-символист, сочетавший мистику и эротику. Иллюстратор Шарля де Костера и Бодлера. Оказал влияние на Эдварда Мунка и Макса Клингера.

[63] Бёрдсли Обри Винсент (1872–1898) – английский график, декоратор, иллюстратор и поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма и модерна. «Король дендизма», он был редактором журнала «The Yellow Book» («Желтая книга»), сборника работ талантливых писателей, поэтов, художников, преимущественно гомоэротической направленности.

[64] Кубин Альфред (1877–1959) – австрийский график, писатель, книжный иллюстратор.

[65] Гейгер Вилли (1878–1971) – немецкий живописец, график, книжный иллюстратор.

[66] Каульбах фон Вильгельм (1805–1874) – видный представитель немецкой исторической живописи, известен российскому читателю блестящими иллюстрациями к поэме Гете «Рейнеке-Лис».

[67] Зальтен Феликс (1869–1945) – австрийский писатель, журналист, критик, автор всемирно известных повестей об олененке Бэмби.

[68] «Жозефина Мутценбахер. История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой» – эротический бестселлер, тираж которого к настоящему времени составляет более 3 миллионов экземпляров.

[69] «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех» – первый оригинальный английский порнографический роман, мировой эротический бестселлер Джона Клеланда, опубликованный в 1748 году, иллюстрированный Джорджем Морландом и Джоном Рафаэлем Смитом, известными представителями «золотого века» английской живописи.

[70] Уайльд Оскар (1854–1900) – английский философ, эстет, писатель, поэт. Один из самых известных драматургов Викторианской эпохи. Лондонский денди, позднее осуждённый за «непристойное поведение» и после двух лет тюрьмы и исправительных работ уехавший во Францию, где жил в нищете и забвении под другим именем.

Франку Ведекинду[71], Францу фон Байросу[72] не удастся уйти от судебного преследования. Одним (Фелисьен Ропс, Генрих Лоссов[73] и Жюль Паскен[74]) суждено на эротике разбогатеть, а другим (Макс Пехштейн[75], Оскар Кокошка[76]) – потерять, ибо в те годы даже в страшных снах не могло присниться, что созданное позже назовут «лжешедеврами», признают образцами «дегенеративного искусства», уничтожат...

На рубеже веков интерес к эротике вспыхнул ярким пламенем – в литературе, в изобразительном искусстве, в кинематографе. Это не удивительно, ведь эротика – своеобразный индикатор мастерства. Укрепилось мнение, что только виртуоз способен заставить читателя испытать всепоглощающие чувства, незабываемые эмоции, то, что Генрих называл «жизнелюбием», «сладострастием», «плотоугодием». Творить эротику стало престижно. Порок в это время получил общественную санкцию. Деструктивность сексуальности становилась нормой, а позже превратилась в угрозу.

Укротитель «прекрасного зверя»

Вспоминая молодость, Лион Фейхтвангер напишет: «В мировоззрении, в литературе, на сцене тех лет непомерно большую роль играли проблемы пола. Все на свете возводилось к женщине – очень неприязненно у Стриндберга, патетически и доктринерски у Ведекинда, с некоторой сентиментальностью у венцев, у Шницлера и более молодого Хофмансталя, которые прямо заявляли, что смысл и содержание жизни – это любовь, комедия и смерть. Из англичан тогда больше всего читали Оскара Уайльда. Саломея владела воображением юношества. Из женских образов, созданных немецкими драматургами, на сцене безраздельно царила ведекиндовская Лулу, этот “дух земли”, самая безыскусственная и как раз потому самая демоническая героиня»[77].

[71] Ведекинд Франк (1864–1918) – немецкий поэт и драматург, друг братьев Манн, их коллега по журналу «Симплициссимус». Пьеса «Ларец Пандоры», написанная в 1904 году, вызвала судебное разбирательство как оскорбляющая общественную нравственность.

[72] Байрос фон Франц (псевдоним – маркиз де Байрос, 1866–1924) – австрийский художник, известный благодаря своим эротическим гравюрам в стиле барокко и модерн. Публиковал работы под псевдонимом Choisy Le Conin. Одна из первых эротических книг «Рассказы туалетного столика» шокировала общественность, но сделала Байроса известным. В 1911 из-за порнографии отправлен в ссылку.

[73] Лоссов Генрих (1843–1897) – немецкий художник и график, иллюстратор Шекспира, Гете, Шиллера.

[74] Паскен Жюль (Паскин, Пасхин, собственно Юлиус Мордехай Пинкас, 1885–1930) – болгарский живописец Парижской школы, автор смелых и поэтических ню, моделями которых служили проститутки.

[75] Пехштейн Макс (1881–1955) – немецкий живописец и график, один из лидеров экспрессионизма.

[76] Кокошка Оскар (1886–1980) – австрийский художник и писатель, крупнейшая фигура экспрессионизма. Автор либретто пьесы «Убийца, надежда женщин», первой части трилогии Пауля Хиндемита.

[77] Фейхтвангер Лион. Автобиографические заметки. Перевод с нем. С. Апт, В. Вальдман. М.: АСТ, 2003.

Встреча с Франком Ведекиндом во многом изменила жизнь Генриха Манна. Ведекинд уже имел титул вождя театральной богемы, слыл «разрушителем кумиров» и «возбудителем душ»[78]. О нем говорили разное: уроженец Швейцарии, мать – певица, отец – доктор, разбогатевший на аферах в Новом свете. Рассказывали об удивительных приключениях, скитаниях и невзгодах, выпавших на долю Франка. Поэта и актера Ведекинда заметили, когда он впервые стал исполнять свои трагикомические песни и баллады, аккомпанируя себе на гитаре в литературных кафешантанах, так называемых Ueberbrette. Вместе с другими поэтами в Мюнхене он организует литературное кабаре «Elf Scharfrichter» («Одиннадцать палачей»). Но это произойдет позже, в 1911, когда братья Манн уже давно освоятся в баварской столице, и старший из них будет считаться близким другом Франка.

Генрих познакомился с этим необычным человеком, скорее всего, в Берлине, где, начиная с 1904, Ведекинд выступал в труппе знаменитого театра Макса Рейнхардта[79]. Вперемежку с балладами об «униженных и оскорбленных» Франк Ведекинд писал дерзкие и циничные куплеты, рассказы и пьесы. Все они были посвящены одной теме – теме пола, брака и семьи. Ведекинд в полный голос насмехался и издевался над «предрассудками морали».

В творчестве писателя выразился его мятежный, демонический дух. За бесстыдный тон сочинений драматург неоднократно подвергался преследованию. Наконец, его должны были арестовать и заключить в крепость за оскорбление императорского величества, но Ведекинду удается бежать в Швейцарию, где он пробудет до амнистии.

Еще в 1891 году драматург написал «Пробуждение весны», пьесу, которая быстро привлекла внимание широкой публики. Эта трагикомедия стала своего рода «прологом» дальнейшего творчества. Она рассказывала о встрече юного поколения с «загадками» пола[80].

Современники считали, что художественной манере Ведекинда свойственна яркая экспрессия, однако кое-кто в этом сильно сомневался и находил немало недостатков. Героями пьес короля богемы, как правило, становились болезненно нежные юноши и полубезумные чудаки, их образы публика воспринимала как карикатуру. Автор ставил задачу показать «кошмарность жизни», для чего намеренно громоздил хаос неправдоподобных событий, стремился придать драме фантастичность. После премьеры «Пробуждение весны» Блок, придя домой, сказал всего три слова: «Скука пересилила порнографию»[81], а его жена в письме к близкой подруге пролила весь запас яда, который имела: «девочки язвительно взвизгивали, бросались на пол, хватали друг дру-

[78] Венгерова Зинаида. Статья «Франк Ведекинд» в Большом энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона. Т. 5. С-Петербург: Типография И. А. Ефрона, 1892.

[79] Рейнхардт Макс (1873–1943) – австрийский актер и режиссер, основатель и руководитель Немецкого театра в Берлине.

[80] В 1906–1907 гг. пьесы Ф. Ведекинда много переводились на русский язык, имя драматурга в России становилось модным, с некоторым оттенком скандальности. «Пробуждение весны» появляется в трех переводах, ставится сразу двумя театрами, на спектакле В. Мейерхольда в Театре В. Ф. Комиссаржевской присутствовал Блок. Однако, несмотря на растущую популярность, постановка пьесы «Пробуждение весны» в 1907 г. была встречена крайне холодно.

[81] В театральной рецензии А. Блок напишет: «Талантливый Ведекинд относится к тем эпигонам литературы, которые достаточно увертливы, так что с них “взятки гладки”; эпигоны эти обладают такой техникой, которая позволяет за тысячей смыслов спрятать неуловимо-ядовитый и приторно-сладкий смысл их произведений… “Пробуждение весны” – несложный и непоследовательный набор как милых, так и нелепых картинок, где остроумный водевиль соединяется с высокопарным ломанием. В центре стоит вопрос, над которым автор по-немецки сюсюкает» (Пробуждение весны. Эссе // А.А. Блок. Собр. соч. в 7 томах. М.: Наука, 2003. Т. 7. С. 100–101).

га за ноги и хохотали, рыча», «один мальчик заставлял другого бить себя хлыстом, потому что приятно, чтобы было больно»[82].

Однако находились и другие театралы. Они сумели разглядеть в новой драматургии знаковое явление эпохи, угадали всеевропейскую тенденцию. Таким был, например, молодой Лев Бронштейн (Троцкий)[83]. Это он назвал пьесы мюнхенской знаменитости «продуктом разложения». «Пришла Проблема Пола, / Румяная фефела, /И ржет навеселе»[84].

Будущий постановщик грандиозного революционного перформанса так написал о Ведекинде для «Neue Zeit» в 1908: «Он предложил русской интеллигенции как раз то, что ей нужно было: комбинацию социального нигилизма, этого брезгливого неверия в судьбу коллективного человека, с эротическим эстетизмом. Первый облегчает ей ликвидацию революционного прошлого, второй – утешает ее в том щелчке, который нанесла ей история в 1905 г.»[85].

Генриха всегда раздражало, что журналисты и критики видели истоки его эротизма в лирике Д'Аннунцио[86]. Старший сын любекского сенатора прекрасно отдавал себе отчет, что именно Франк Ведекинд был его духовным отцом. По некоторым причинам Генрих Манн не желал произнести это признание вслух.

Особое потрясение у молодого писателя вызвали пьесы о «прекрасной, словно грех» Лулу[87]. «Гибкая, как змея, трепещущая чувственностью в каждом движении, думающая бедрами, обнаженная в каждом наряде, не знающая ни жалости, ни сомнения, ни угрызения совести, она стихийна, как пол, воплощением которого она стоит пред миром. Она – злой дух земли. Пассивная, как пассивен магнит, вокруг которого распределяются железные опилки, Лулу сеет вокруг себя адскую страсть, непреодолимым безумием пола заражает стариков и юношей, разбитыми существованиями и трупами отмечает свой победный путь»[88].

Декадентская художественная интеллигенция увидела в Лулу женщину-вамп, жрицу пола, изводящую мужчин. Однако для автора пьесы главным в образе героини были первоприродное и детское начала. Ведекинд создал и впустил в жизнь «прекрасного дикого зверя». Этот «зверь» погибнет между эросом и цивилизацией на жертвенном камне буйной похоти, уничтожится рукой Джека-Потрошителя. «На этом пути все взято, что можно было взять, и итог подведен кровавой чертой»[89].

Генрих надолго попадет под влияние личности автора и созданного драматургом образа. В 1906 его друг женится на молодой актрисе Тилли Нойес[90], сыгравшей роль Лулу в «Духе земли». Поздравляя «молодых», Генрих постарается тщательно скрыть, что положил глаз на невесту. Тилли была неотразима. Образ, созданный актрисой, запомнился не только Манну, фрау Ведекинд понравилась миллионам мужчин. Фотокарточка, изображающая роковую Лулу в нижнем белье и чулочках, в начале века была весьма популярной у эротоманов. После скоропостижной смерти Ведекинда в 1918 году Генрих и Тилли станут любовниками на долгие годы. Манн будет делить ее с Готфридом Бенном.

---

[82] Там же. С. 314.

[83] Троцкий Лев (урожденный Лейба Бронштейн, 1879–1940). Революционный деятель XX века, идеолог троцкизма, одной из разновидностей марксизма.

[84] Черный Саша. Стихотворения. 2-е изд. Ленинград: Советский писатель, 1960. – (Библиотека поэта. Большая серия).

[85] Троцкий Лев. Франк Ведекинд // Троцкий Л. Сочинения. Москва – Ленинград, 1926. Т. 20.

[86] Д'Аннунцио Габриэле (1863–1938) – итальянский прозаик, поэт, драматург, политический деятель.

[87] «Дух земли» (Erdgeist, 1895) и «Ящик Пандоры» (Die Büchse der Pandora, 1904).

[88] Троцкий Лев. Указ. соч.

[89] Там же.

[90] Ведекинд Тилли (сценическое имя Тилли Нойес, 1886–1970) – немецкая актриса тетра и кино, жена Ф. Ведекинда.

Наш герой был человеком впечатлительным, обладал переимчивой художественной натурой. Под влиянием Ведекинда в романах Генриха «пол пробудился и расправил крылья». Так, наверно, Троцкий сказал бы и о Манне.

В эти годы писатель ищет образ телесной красоты. Как Ведекинд, он начинает боготворить женское тело, женскую стать – благородную посадку головы, плавность и законченность движений. В романах первого десятилетия XX века Генрих поет гимн плоти, страсти, эротике. Он старается перенять у кумира и учителя правила мировосприятия, мирочувствования.

Воссоздание грубого типизма, утрированная вульгарность, намеренный цинизм – вот те задачи, которые ставит перед собой Генрих. Конечно, Манн понимает, что может оскорбить читателя, но надеется, что эти-то приемы и позволят покорить аудиторию.

Деклассированные герои пьес Ведекинда теперь на долгие годы переселятся в книги Генриха, артистическая богема станет выразителем идеи справедливости, равноправия и свободы[91].

«Трюфельная Рыба»

Внимание публики берлинских, венских, мюнхенских кафе неизменно было обращено на необычного господина. Он появлялся в сопровождении свиты послушных воспитанниц и молодых сочинителей, а впереди него бежали слухи о бурных сексуальных скандалах. Бледный, в круглых роговых очках, с белыми волосами, безупречно одетый, весь в черном. Денди и сноб Франц Бляй[92] – высокий, тощий, лысеющий – заслуженно считался покровителем начинающих писателей и патриархом европейской порнографии. Молодой Генрих тоже был завсегдатаем кафе, возможно, в одном из берлинских заведений и состоялось столь важное для Манна знакомство с венским Казановой[93]. А может, это произошло в Мюнхене, где после Америки и Берлина надолго осел австриец.

Почти забытый сегодня[94], Франц Бляй был великим импресарио эпохи модерна, многосторонне образованным литератором, культурным толкователем своего времени. Он сумел создать общеевропейскую литературную сеть, объединившую британцев, французов, австрийцев, немцев, шведов и русских. Бёрдсли и Штернхайм[95], Сомов[96] и Уайльд, Борхардт[97] и Рильке[98], Майоль[99] и

[91] Достаточно вспомнить Вольфганга Бука из романа «Верноподданный», которому Генрих Манн придал свои черты. Защищать вольнодумца, отстаивать справедливость в суде приходит труппа местного театра.

[92] Бляй Франц (1871–1942) – австрийский издатель, эссеист, драматург, культуртрегер, выступавший под псевдонимами Dr. Peregrinus Steinhövel, Amadée de la Houlette, Franciscus Amadeus, Gussie Mc-Bill, Prokop Templin, Medardus, Heliogabal, Nikodemus Schuster, L. O. G., Hans Adolar. Перевел на немецкий Мольера, Уайльда, Уитмена. Кафка сказал о нем: «Франц Бляй гораздо умнее и больше, чем то, что он пишет».

[93] В Америке в самом начале войны, друзьям с большим трудом удастся устроить старого, потерявшего родину, без копейки денег в кармане Бляя на должность библиотекаря. Даже этим он повторит судьбу своего кумира – Казанову.

[94] Написанная в 1933 году «Автобиография» Ф. Бляя увидела свет совсем недавно, она вышла десять лет назад с послесловием Урсулы Пиа Яух: Franz Blei, Ursula Pia Jauch. Erzählung eines Lebens. Paul Zsolnay-Verlag, Wien, 2004.

[95] Штернхайм Карл (1878–1942) – немецкий драматург и новеллист, чье творчество по направленности близко поискам Ф. Ведекинда. Вместе с Ф. Бляем издавал журнал «Гиперион».

[96] Сомов Константин (1869–1939) – русский живописец и график, мастер портрета и пейзажа, книжный иллюстратор. Один из основателей общества «Мир искусства».

[97] Борхардт Рудольф (1877–1945) – немецкий прозаик, поэт и переводчик.

[98] Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт.

[99] Майоль Аристид Жозеф Бонавентюр (1861–1944) – французский скульптор.

Кубин, Жид[100] и Ведекинд. Список впечатляет. Плюс неизвестные или забытые персонажи.

Самодовольный и обаятельный, он – мэтр. У него консультировались крупные издатели, такие как Самюэль Фишер, Курт Вольф и Эрнст Ровольт. Он ввел в литературу Вальзера[101], Броха[102], Кафку, Музиля[103], Генриха Манна.

Собственные литературные амбиции Бляя скромны. Он неизменно присутствует почти в каждом грандиозном европейском литературном проекте, но, скорее, в качестве кукловода. Ему нравится быть музилевским «человеком без свойств». Бляй – бескорыстная «трюфельная рыба»[104], невидимая благодаря литературной мимикрии. Он хорошо чувствует себя в любой воде, в том числе и в аквариумах, украшающих дамские гостиные, где скуки ради развлекает зрительниц не совсем безобидными пируэтами.

У Бляя было хобби, наваждение – он коллекционировал редкие книги, составлял роскошные антологии, издавал вычурно оформленные журналы для библиофилов.

Франц прославился странной любовью к авторам-отщепенцам и пристрастием к библиографическим лакомствам, которыми потчевал литературных гурманов. Собственные творения чудаковатого господина имели удивительные названия: «Учебник любви», «Гимназия похоти», «Роща наслаждений», «О влюбленных женщинах», «Пуховка из пудреницы»[105]. Стиль был отточен, парадоксален, отмечен головокружительным ритмом («дерзкими периодами») и изысканными эллипсисами – на грани возможностей грамматики.

В центре интересов Бляя всегда находилась эротическая графика, всё, что связано с барокко и рококо. В этом он не знал равных. Главным в жизни были любовь и искусство.

---

[100] Жид Андре (1869–1951) – французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1947). Для его произведений характерно скептическое отношение к традиционному западному обществу и морали, которые, по мнению автора, препятствуют самореализации свободной личности.

[101] Вальзер Роберт (1878–1956) – швейцарский прозаик и поэт. Один из участников мюнхенского литературного журнала «Die Insel», на страницах которого он публиковался вместе со Стриндбергом, Ведекиндом, Шрёдером, Рильке, Хольцем, Хофмансталем, Метерлинком.

[102] Брох Герман (1886–1951) – австрийский прозаик и эссеист. Автор прославившего его романа-трилогии «Лунатики» и многочисленных трудов по философии, математике, массовой психологии.

[103] Музиль Роберт (1880–1942) – австрийский прозаик, драматург и эссеист.

[104] В 1922 году Бляй выпустит «Большой бестиарий современной литературы», где каждому из писателей даст точную характеристику (Das grosse bestiarium der modernen literatur. Ernst Rowohlt Verlag. Berlin, 1922.). Например, Кафка – «редко встречающаяся роскошная лазоревая мышь, которая не питается мясом, а кормится горькой ботвой. Её взгляд чарует, так как у неё глаза человека» (пер. с нем. О. Боченковой). Ведекинд – «Сфинкс, состоящий наполовину из головы, наполовину из половых органов. Эти части тела находятся в постоянном движении, так что меняются местами, и гениталии оказываются выше живота, а голова ниже» (пер. с нем. А. Кузьменкова). Братья Манн – «жуки-древоточцы... обитающие на одном и том же дереве, но на разных его участках, потому что терпеть не могут друг друга» (пер. с нем. О. Боченковой). А себя автор называет «одаренной и влюбленной во все необычное трюфельной рыбой», видимо, по аналогии со свиньей, способной выискивать трюфели (пер. с нем. О. Боченковой).

[105] Г. Манн помещает в текст романа «Учитель Гнус» почти не измененную цитату из «Пуховки из пудреницы» Ф. Бляя: «Он вскоре понял, что осязать и обонять можно не только ткани и пудру, но, пожалуй, и самую душу женщины, и что пудра и ткани почти и есть ее душа». Цит по кн.: Манн Генрих. Учитель Гнус. В маленьком городе. Серьезная жизнь. М.: Правда, 1990.

В завитках иллюзорного ума
Четко вырисовываются предметы,
Прекрасные и чистые, как незапятнанная совесть,
Как чистая душа в толпе мошенников[106].

Так напишет о Бляе архитектор и поэт Пауль Энгельманн[107], человек из стана идейных противников, сподвижник реформатора Адольфа Лоза[108], чей фундаментальный труд «Орнамент и преступление» (1913) будет направлен как против декоративной эстетики[109] венца, так и против эстетики стиля модерн, в целом.

Бляй – универсальный знаток, которому все легко дается, который везде успевает. Он может увлекательно написать о Грете Гарбо[110], а может – о святой Терезе[111], но всякий раз его интерес – в сфере телесного.

Пристрастие к пикантному и интеллектуальная острота зрения – вот что сблизило Генриха и Франца. Они были сверстниками, имели похожий сексуальный опыт. Обоих отличала характерная антиромантическая самоирония, а также природная неспособность отдать предпочтение какой-либо одной женщине. Мужчины не знали постоянства. А еще, похоже, оба были воспитаны на одних и тех же книгах, и книги эти – о любви.

В начале века Франц Бляй издавал порнографические журналы «Аметист» (1905–1906), «Опалы» (1907) и «Гиперион» (1908–1910). Каждый номер имел тираж несколько сот штук и распространялся исключительно по подписке. Публиковались тексты сексуального характера Гёте и Казановы, Готфрида Келлера, Рембо и Верлена, Рудольфа Александра Шрёдера, Роберта Вальзера и Оскара Уайльда. Журналы выходили с иллюстрациями общепризнанных нарушителей нравственности, модернистов Обри Бёрдсли, Фелисьена Ропса, Франца фон Байроса, Томаса Теодора

[106] Цит. по статье: Kalka Joachim. Der Trüffelfisch. Der Spiegel, 2004. Подстрочный перевод с нем. О. Боченковой.

[107] Энгельманн Пауль (1891–1965). Австрийский архитектор, построивший Stonborough House в Вене. Любимый ученик А. Лооса, секретарь К. Крауса, друг Л. Витгенштейна.

[108] Лоз (Лоос) Адольф Франц Карл Виктор Мария (1870–1933) – австрийский и чехословацкий архитектор, виднейший представитель венской богемы и интеллектуальной элиты. Критик эстетики Венского Сецессиона, разработал теоретические основы европейского модернизма. Патронировал журнал «Der Sturm», оказал большое влияние на формирование Оскара Кокошки.

[109] Наиболее полно эстетические взгляды Ф. Бляя отражены в монографии «Рококо», 1923 / Blei Franz. Das Rococo. Salzwasser-Verlag, 2013.

[110] Гарбо Грета (урожденная Грета Ловиса Густафссон, 1905–1990) – шведская и американская киноактриса. Одна из самых романтических и одновременно загадочных фигур в мировом кинематографе. На экране поражала силой страсти, стала символом той самой женственности, которую мужчинам не дано постичь. В отличие от прочих «фатальных» женщин американского кино, игра Гарбо отличалась богатством драматических оттенков, глубоким психологизмом и волнующей искренностью.

[111] Св. Тереза, Тереза Авильская (1515–1582) – католическая святая, испанская монахиня-кармелитка, автор мистических сочинений. «Экстаз Святой Терезы» – популярная тема в искусстве барокко. В одном из писем Святая Тереза поведала об испытанном экстазе. Однажды во сне «к ней явился ангел в плотском образе» и пронзил ей чрево золотой стрелой с огненным концом, отчего она испытала «сладостную муку». Американский психолог Вильям Джеймс, оценивая мистический опыт Терезы Авильской, писал: «…ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством».

Гейне[112], Альфреда Кубина. Использовались новейшие полиграфические технологии, приглашались лучшие переводчики и авторы. «Каждый знает, чем заканчивается расстегивание пуговиц. Однако достаточно жеста, чтобы мир замер в ожидании. Вот она – магия литературы»[113]. Так высокомерно Бляй скажет о «примитивном», на его взгляд, эксгибиционизме 20-х.

В 1907 году Франц привлек Генриха к участию в грандиозном проекте, который давно вынашивал. Это было издание франко-германской антологии эротической литературы эпохи рококо. «Похождения» и «Продавщица цветов» Ж.-Ф. Кальявы д`Эстанду, «Шелковые туфли» Ф.-М. Аруэ де Вольтера, «Одна ночь и не больше» Д.-В. Денона, «Соблазнение» Ж.-Ж. Ле Риш де Ла Попелиньера, «Молодой петушок и пожилая дама» Л. А. Беффруа де Реньи – вот неполный список «шедевров», любовно отобранных Бляем. В этом же году книга вышла в издательстве «Гиперион» – тиснение золотом на корешке и по крышке роскошного тома, рамки, заставки, концовки, виньетки. На роль художника и книжного дизайнера был приглашен Константин Сомов, молодое дарование из Санкт-Петербурга. Сомову удалось создать великолепную поэтическую эросюиту ненавязчивой и изящной фривольности рококо XVIII века. Из трех десятков листов, подготовленных графиком, цензура пропустила только восемь: «Похвала любви», «Прогулка», «Туалет», «Бал-маскарад», «Поцелуй», «Настойчивый влюбленный», «Альков», «Фейерверк». Книга увидела свет и сразу же привлекла большое внимание художественного бомонда, библиофилов и эротоманов. Она называлась «Книга Маркизы»[114].

Для антологии Бляя Генрих подготовил перевод фрагмента любимого романа – «Опасные связи»[115] Шодерло де Лакло[116]. Через два года «Опасные связи» в полном объеме будут изданы в том же «Гиперионе»[117]. Работа над «Книгой Маркизы», знакомство с Бляем, непревзойденным ценителем и знатоком галантного века, навсегда оставили след в творчестве Манна. Можно сказать, с той поры его писательский глаз на все стал смотреть «через рокайль», сквозь причудливый завиток раковины. Спустя десятилетия Лион Фейхтвангер шутливо заметит, что Генрих Манн «всегда питал слабость к великосветскому быту»[118].

---

[112] Гейне Томас Теодор (1869–1939) – немецкий художник-график и писатель. Один из соучредителей еженедельника «Симплициссимус». Иллюстрировал новеллу Т. Манна «Кровь Вельсунгов» (“Wälsungenblut”).

[113] Pia Jauch Ursula. Franz Blei. Erzählung eines Lebens. Paul Zsolnay-Verlag, Wien, 2004.

[114] Das Lesebuch der Marquise: Ein Rokokobuch von Franz Blei und Constantin Somoff. Hyperion. Munchen, 1907.

[115] Choderlos de Laclos. Les liaisons dangereuses, Амстердам и Париж, 1782. В переводе Генриха Манна книга выходила в 1905 году под названием Gefahrliche Freundschaften («Опасная дружба»), в 1920 как Schlimme Liebschaften («Отчаянные связи»), а в 1909 под общепринятым названием Gefahrliche Liebschaften («Опасные связи»).

[116] Лакло Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де (1741–1803). Французский генерал и писатель, секретарь герцога Орлеанского.

[117] Laclo de Choderlos Pierre-Ambroise-François. Gefährliche Liebschaften, Hyperion, München, 1909.

[118] Фейхтвангер Лион. Автобиографические заметки. Пер. с нем. С. Апт, В. Вальдман. – М.: АСТ, 2003. Любовь Манна к рококо была навязчивой. Во многие романы он вносил приметы XVIII века. Действие часто происходит в парковых лабиринтах, в общественных зданиях встречаются «Приюты любви», секретные комнатки, заимствованные из дворцов галантного времени. Он не мог не рассказать о том, что при нажатии особой кнопки пастушка перепрыгивает через ручей и оказывается в объятиях кавалера. Манн всегда вольно обходился со временем. В его позднем романе «Лидице» героиня разгуливает по улицам оккупированного фашистами чехословацкого городка, одетая по моде начала века. Он не только не видит реальности – он ее подменяет.

Парик Вальмона

Афродита носила чудесный пояс, источающий волшебный аромат эфирных масел. Благодаря им небожительница могла соблазнить не только смертного мужчину, но и бога. Для Генриха Манна афродизиаком подобной силы стала литература галантного века.

Трилогию «Богини» и последовавший за ней роман «В погоне за любовью» немецкая публика приняла неоднозначно. Книги подверглись жесткой критике, не понравились они и Томасу. Юлия Манн в письме попыталась приободрить старшего сына, выражая уверенность, что уж с переводами-то у Генриха «дело обстоит очень хорошо»[119]. Действительно, в это время Манн много переводил. Это были не только книги Альфреда Капю[120] и Анатоля Франса[121], но и знаменитый роман, о котором мы уже говорили – «Опасные связи». Больше столетия он шокировал читающую публику.

Всякая эпоха декаданса склонна к рафинированности наслаждения. Fin de siecle заимствовал такое наслаждение из времени абсолютизма, так называемого галантного века.

Слово «галантный» в русском языке воспринимается достаточно однозначно. Галантный человек – человек вежливый, даже, возможно, чрезмерно вежливый. В понятие «галантность» входит некоторая изысканность, не лишенная легкомыслия. Сначала слово «gallant» означало придворное празднество, затем «благопристойность», «честность», нечто родственное «комильфо» (comme il faut). Позже в слово стали «прокрадываться» нежные чувства. Во времена Ватто «la lettre galante» – «любовное письмо». В романе о Ватто Михаил Герман пишет: «Заметим, что до сих пор не только во французском, но и даже в русском языке выражение “галантная женщина” не привилось. Точнее во Франции такое выражение существует, но в смысле ином: оно значит “легкомысленная женщина”, и французы говорят: “Кокетливый мужчина и галантная женщина – хорошая пара”»[122].

Историк нравственности Эдуард Фукс заметил[123], что XVIII век обнаружил себя «в двух типических явлениях – в беззастенчивом разврате, часто доходящем до противоестественности, гоняющемся за все новыми техническими ухищрениями в сфере физического наслаждения, а также в резиньяции, известной под названием сентиментальной любви. И то и другое служит теми возбуждающими средствами, в которых нуждаются в первом случае натуры сильные, во втором – натуры слабые, чтобы испытать ощущения, которые эти люди уже не могут испытать при нормальных условиях». По мнению Фукса, литература галантного века выдвинула двух главных героев – преступного сладострастника Вальмона и разочарованного, слабого Вертера.

В жизни Генриху очень хотелось играть роль виконта де Вальмона, но почему-то всякий раз его литературным героям доставалась судьба Вертера. Тезис «Du nouveau, toujours du nouveau!»[124] стал девизом Генриха. Как хотелось воплотить его и в книгах, но не получалось, выходило искусственно и натужно!

---

[119] Юлия Манн – Генриху Манну. Письмо от 20.10.1904, перевод с нем. Л. Лунгиной // Генрих Манн – Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. Переписка, статьи. М.: Прогресс, 1988. С. 404.

[120] Капю Альфред (1858–1922) – французский журналист и драматург. В 1901 году вышла книга Капю «Тот, кто смеется последним» в немецком переводе Г. Манна.

[121] Франс Анатоль (1844–1924) – французский писатель и литературный критик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1921). Автор романа «Таис» (1890), истории знаменитой древней куртизанки, ставшей святой. В переводе Г. Манна вышла «Театральная история» А. Франса (1904).

[122] Герман Михаил. Антуан Ватто. Ленинград: Искусство, 1984. С. 113.

[123] Фукс Эдуард. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. Пер. с нем. В. М. Фриче. М.: Республика, 1994.

[124] «Нового, всегда нового!» (фр.)

Здесь-то и обнаруживается трагический парадокс. Генрих никогда глубоко не любил, и его тоже никогда по-настоящему не любили. Он был тем, кто *любит любить*. Его жизнь была заполнена псевдолюбовью, но она-то всегда и оставляет в душе привкус подлога. От женщин наш герой требовал лишь подтверждения своих иллюзий. Генрих влюблялся, чтобы не чувствовать одиночества, но его любовные отношения в большой степени были плодом фантазии. Однако любовь всегда умирает, если родилась по недоразумению. То, что Генрих принимал за любовь, на самом деле было лишь его преданностью и покорностью, результатом многих и многих усилий. Этим он и удовлетворялся. Основное свойство любви, стремление раз и навсегда раствориться в другом человеке, то, что делает любовь любовью, увы, было неизвестно Генриху Манну. Он был убежден, что любовь всегда со временем убывает, хотя в действительности все обстоит как раз наоборот.

Переизбыток сексуальных фантазий всегда вырождается в сладострастие. Ясно, что, в отличие от любви, крайняя похоть – точнее, даже бескрайняя похоть – существует независимо от объекта любви. Инстинкт никогда не знает предпочтений, когда он не более чем инстинкт. Поэтому-то он и не является порывом к совершенству.

Для донжуанов XVIII века эпикуреизм, флирт, распутство были настоящим спортом. Это кредо Вальмона, Казановы, графа Тилли и многих других прославленных героев той эпохи. Их заветам старался следовать и молодой Генрих. И вот во время итальянской поездки судьба неожиданно свела его с красивой девушкой, которую он вскоре назвал невестой. Инес Шмид[125]– дочь разбогатевшего в Аргентине немецкого эмигранта. Генрих встретился с ней во Флоренции. Они увлеклись друг другом на несколько лет.

Сохранилось почти сто писем и открыток, написанных в 1905–1909 годах Генрихом и его невестой. Эту переписку редко публикуют[126]. Она откровенно интимная, это своего рода аналог де Лакло, ведь «Опасные связи» – роман эпистолярный. Книгу, переведенную на немецкий, Манн назовет «Опасная дружба», что в полной мере характеризует его отношения с Инес Шмид. «Диана», «Минерва», «Венера» – части трилогии «Богини», вернее, это три лика одной женщины. Любовь земная? Любовь небесная? Нет, исключительно земная, в романе ее имя – герцогиня Виоланта де Асси. Позже, редактируя книгу, Генрих будет вносить поправки, придавая герцогине де Асси черты Инес.

Похоже, писатель постоянно думал о виконте де Вальмоне, маркизе де Мертей, Сесиль де Воланж[127]. Вольно или невольно получалась стилизация, но текст изобиловал историческими несоответствиями. Это век восемнадцатый, но звучат в нем песни Гарибальди.

То, что мы сейчас называем «рококо», в свое время называлось «живописным вкусом». Рококо – формула величия, позы, представительности, мир будуара, грез, карнавала, фантазии, театрализованной игры, мифических и пасторальных сюжетов с обязательным налётом эротизма.

Действующие лица «Богинь» – высшая аристократия. Принц Фили, герр фон Зибелинд, леди Олимпия, графиня Альбола, синьора Амелия Кампобассо... Дамы и господа, царственные особы, бароны, банкиры, турецкий султан с гаремом... Персонажи не обременены тяготами жизни. Манн

[125] Шмид Инес (1883–?) – певица, невеста Генриха Манна. Генрих дружил с ее братом, Рудольфом. Инес стала прототипом героинь нескольких романов Манна.

[126] Mann Heinrich & Schmied Inés. Briefe einer Liebe 1905 bis 1909. Gunter Berg, Anke Lindemann & Ariane Martin, eds, Heinrich Mann Jachbruch 17 / 1999. Перевод с нем. Н. Мищенко.

[127] Лакло Шодерло де. Опасные связи, или Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Шодерло де Лакло в назидание некоторым другим. Перевод с франц. Н. Рыкова. М.: Правда, 1985.

рисует беззаботный быт итальянских дворцов и салонов. Именно здесь происходит знакомство читателя с главной героиней, ищущей ответ на вопрос, в чем смысл жизни.

«Книге Маркизы» будет суждено увидеть свет через несколько лет после «Богинь», но Манн уже в 1903 мог бы предложить Сомову стать иллюстратором трилогии[128].

Основной тон повествования – изящно-декоративный. Гибкие очертания, грациозность, галантность. Как вдохновляют Генриха румяна, белила, мушки и пудреные парики! Действие начинает разворачиваться в 1870-х, но в книге царит «век суетных маркиз», как сказал бы Брюсов, век напудренных париков, ведь по-немецки рококо – Perückenstil[129]. Манн старается придать книге серьезность, но не в силах скрыть ее легкомысленности.

Палаццо, пьяцца, парки, павильоны, китайские домики, укромные гроты. Атмосфера cercle intime[130]. Перегруженность декором. Затейливая орнаментация, вычурная, богатая, полная мелких украшений и тончайших деталей проза. «Изысканный», «изящный» – ключевые слова. На них все и построено. Если бы к литературе было применимо слово «нарядный», то именно так можно было бы охарактеризовать почерк автора-сибарита. Арабески, рокайли, мелизмы. Камерные формы, отсутствие ярких противопоставлений и драматических эффектов. Генрих стремится к изысканности и утонченности. Кажется, автор ни на минуту не забывает, что выбрал путь эротомана, что главный читатель книги – мадемуазель Инес. Он – ее виконт де Вальмон, она – его Сесиль де Воланж.

В эпоху рококо была живописная специализация – квадратурист. В «Богинях» Генрих Манн именно такой художник. Он хочет предстать философом, но способен изобразить лишь иллюзорные формы, обрамление, фон, антураж. В романе-трилогии все театрально и ненатурально.

Познание смысла жизни у героини книги начинается с революционного порыва. У себя в Далматинском герцогстве дама неожиданно обнаруживает... народ. Оказывается, на этой земле проживает коренное население – морлаки. Им герцогиня де Асси стремится дать свободу, справедливость, просвещение, благосостояние. Но длится это, увы, недолго. За революционностью вскоре последует период постижения красоты, а он, по замыслу автора, неминуемо приведет герцогиню к «погоне за любовью», раскрепощению и сексуальной свободе. Искусственное холодное величие в финале романа сменяется не столько фривольным наслаждением, сколько безграничной похотью, торжеством порока. Это чувственность без огня и творческой силы.

Генриху казалось, что «Богини» и роман «В погоне за любовью» остались полностью непонятыми. Публика посчитала, что это всего лишь излияние сластолюбия, не более. Писатель пишет невесте 27 июля 1905 года: «Я хочу сказать о неудовлетворенности, связанной с книгой. Провозглашенная в ней громадная языческая чувственность не во всем идеальна. Она не подменяет то высокое, во что надо верить. Запомни: я не столкнулся ни с любовью, ни с тем, что стоило бы полюбить. Так как нет того, к чему можно было почувствовать привязанность, я объявил, что значение имеет только плотоугодие, говорю это все громче и искренне верю. Не кривлю душой: только оно способно многое объяснить. По этой причине я вынужден был бороться с юношеской похотью. Тем не менее, потребность в настоящей любви на самом

[128] «Мимо прошли господин с дамой. У дамы была молочно-белая кожа, и точно нарисованные пастелью, лежали в мягком углублении между плечом и грудью и пепельно-белокурых волосах бледно-лиловые ленты. Она плутовски показала герцогине черную мушку в углу своего бледного ротика. Напудренный кавалер в атласе и розах с улыбкой кивнул своей последней родственнице…» (Цит. по кн.: Манн Генрих. Диана. Минерва. Венера. Романы. Перевод с нем. А.С. Полоцкой. СПб.: Интерконспект, 1994).

[129] Perückenstil (нем.) – стиль париков.

[130] Cercle intime (франц.) – интимный круг.

деле становится все более сильной, и это возникает само собой. Верю, что в погоне за любовью есть своя страстная жила»[131].

Генрих и в последующих письмах к Инес старается оправдаться. Он пишет, что у него полностью отсутствует вера в идею, что его «гнусная порочность» в жизни и работе может быть понята только через отрицание от обратного, а страстность для него – не более чем суррогат веры. Проще говоря, Генрих Манн пытается убедить невесту, что предавался пороку, чтобы от него отказаться[132].

Однако Инес не ощущала сходства с героинями романов жениха. После выхода «Учителя Гнуса» она напишет Генриху о его герое: «Он намного гуманнее герцогини и потому более мне понятен. Ты будешь шокирован, но он похож на меня, ту, которая тебя любит. Поэтому сегодня я вряд ли чувствую свое сходство с “Богинями”»[133].

В следующих романах – «Погоня за любовью» и «Между расами» – Манн стремится углубить, развить темы, уже обозначенные Ведекиндом. В первой из книг он рассказывает о чувственных удовольствиях, которые могут быть доступны мужчине, во втором – предлагает разнообразные рецепты сексуального воспитания женщины. «Осквернение рта» Лолы, «сладострастная жестокость»... Останавливаться на подробностях нет смысла.

«Жажда воздействия», «кричащая безвкусица», «голая, не одухотворенная сексуальность» – вот вердикт младшего брата. «Эта постоянная вялая похоть, этот непрестанный запах плоти утомляют, вызывают отвращение. Слишком, слишком много “ляжек”, “грудей”, “чресел”, “икр”, “тела”»[134], – пишет Томас Генриху 5 декабря 1903 года. И еще замечает, что единственная преследуемая братом цель – желание произвести эффект, «переплюнуть» Франка. Напрасно! Ведекинд – демоничнее! «У него чувствуешь жуткость, глубину, вечную сомнительность пола, чувствуешь страдание из-за пола, словом, чувствуешь страсть»[135]. А в книгах Генриха – страсти нет!

Да еще приторные галантные красивости[136]: «элегантная белокурая жестокость», «прыжок в открытое окно за пределы ее тела», «рококо – суррогат женщины»... Да, без XVIII века здесь не обошлось! Ширмы-занавески, женские силуэты. Очертания дома, «заимствованные из какого-то вавилонского рококо». Ручка кресла в виде откинутой женской шеи, «упругая подушка, хранящая форму женской груди, как ее ни тискай». «Изображенная на потолке женщина, на конце ее волос, безжизненно висящих рук и ног – электрические лампочки». Ну, и, конечно, графиня среди подушек на кушетке. Как без этого – без графинь и без кушеток!

---

131 Mann, Heinrich & Schmied Inés. Briefe einer Liebe 1905 bis 1909. Gunter Berg, Anke Lindemann & Ariane Martin, eds, Heinrich Mann Jachbruch 17 / 1999 Перевод с нем. Н. Мищенко.

132 Герой романа «Учитель Гнус», гимназист Ломан, которому Манн придает собственные черты, так оправдывает свое влечение к артистке Розе Фрелих, исполнительнице пошловатых песенок в портовой таверне: «Он желал ее – чтобы унизить, чтобы ощутить в ее ласках вкус мрачного порока и этим пороком запятнать собственную свою любовь, в этой на коленях молящей девке унизить другую, Дору Бретпот, а затем упасть к ее ногам и вволю выплакаться». Нечто подобное автор приписывает и антиподу Ломана – учителю Гнусу, который вынужден ежедневно наносить раны своей любви, чтобы этим «питать ненависть» (Цит. по кн.: Манн Генрих. Учитель Гнус… Указ. соч.).

133 Mann, Heinrich & Schmied Inés. Указ. соч.

134 Генрих Манн – Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. Переписка, статьи. М.: Прогресс, 1988. С. 58–66.

135 Там же.

136 Там же.

Пастораль революции

У слова «революция» много значений. Для Генриха Манна она в первую очередь означала разрыв с общепринятыми этическими нормами, отказ от приличий.

Порнография всегда имела политическое влияние и представляла разрушительную силу. У нее как у политического инструмента долгая история. Древние греки, добиваясь реформ, стремились опорочить сексуальную нравственность властителей. Пьетро Аретино[137], этот прославленный «бич государей», в своих похабно-куртуазных «Позах»[138], высмеивал папский двор и политиков. Королева Мария-Антуанетта[139] накануне Великой французской революции стала символом падения нравственности и героиней множества дешевых порнографических книжонок, наводнивших Пале-Рояль. Маркиз де Сад[140], заключенный в Бастилию, в романе «120 дней Содома» выступил с утверждением идей мальтузианства и отрицанием деления на гражданские сословия.

Поскольку нагота находилась в опале, в кругу единомышленников писателя бесстыдство считалось революционным. Герои, и особенно героини Манна, постоянно бравируют словом «испорченность». Мужчины без устали добиваются права «обладать любой женщиной». «Важно только явиться вовремя. Это, конечно, дело счастливого случая, но в жизни каждой есть момент, когда ею можно овладеть»[141], – говорит Клод Марен, главный герой романа «В погоне за любовью». А женщины, как Ута, возлюбленная Марена, борются за свое право на свободную любовь: «Пусть же булавка станет кинжалом!»[142] Да здравствует émansipé! Да здравствует Nacktkultu[143], культ наготы!

Можно подумать, что Гретхен из одноименного рассказа Манна, девушка, упрашивающая жениха Клотче показать ей в Берлине дома терпимости, всего лишь безудержный полет фантазии автора, приманка для читателя. Однако если вспомнить, как Лиля Брик просила мужа ровно о

---

137 Аретино Пьетро (1492–1556) – итальянский писатель Позднего Возрождения, сатирик, публицист и драматург, «праотец журналистики».

138 «Позы» Аретино (ит. I Modi) – знаменитая эротическая книга эпохи Ренессанса (1524–1527). Она была иллюстрирована шестнадцатью художественно исполненными гравюрами Маркантонио Раймонди (1470-82 – 1527-34), которые воспроизводили порнографические фрески Джулио Романо (1492–1556) из зала Константина Ватикана, уничтоженные по приказу Папы Климента VII. В «I Modi» изображены любовные позы, каждой из которых соответствует сонет Аретино.

139 Мария-Антуанетта (урождённая Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбургско-Лотарингская, 1755–793) – королева Франции, младшая дочь Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года. После начала Великой французской революции была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Осуждена Конвентом и казнена на гильотине.

140 Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (известный как маркиз де Сад, 1740–815) – французский аристократ, писатель, философ. Проповедовал абсолютную свободу, не ограниченную нравственностью, религие и правом. По его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли и/или унижений в работах Рихарда фон Крафт-Эбинга получило название «садизм».

141 Манн Генрих. В погоне за любовью. Перевод с нем. В. М. Фриче //Полное собрание сочинений в 10 томах. М.: Книгоиздательство «Современные проблемы»., 1910. Т. 5. С. 88.

142 Там же. С. 31.

143 Впервые термин «Nacktkultur» появился в 1893 году в книге «Nacktende». Ее автор, Генрих Пудор (1865–1943), видел важную взаимосвязь между нудизмом (Freikörperkultur, «движением свободного тела»), вегетарианством, социальными реформами и расовой гигиеной. Nacktkultur считалась надежной терапией неврозов, обусловленных «декадентской городской средой».

том же[144] и действительно совершала с Осипом походы в публичные дома в Нижнем Новгороде, Чите, Верхнеудинске, Туркестане, то убеждаешься, что подобные мотивации были востребованы и имели место.

Кредо Манна ясно выражено в романе «Погоня за любовью» в монологе Шписля. Обращаясь к другу Марену, нигилистически настроенный молодой человек говорит следующее: «В твоей крови что-то мечтает о старых насилиях путем чувств. В тебе охотится что-то, что ты, как современный человек, понял и презираешь, но оно охотится»[145]. Автор не делает прямых отсылок к теории Фрейда, но говорит определенно: «охотится» – «первобытный человек». Очевидно, что речь идет все о том же: противоречиях, преодолении внутреннего контроля, «загнанном инстинкте», конфликте между «оно», «эго» и «супер-эго». Теперь это аксиома, но в начале века, вероятно, было ультрасовременно и производило фурор.

Шпислю поручено озвучить мысль, которая станет главной в творчестве Генриха Манна: «Ты хотел бы отдаться этой охоте, но тщетно, потому что ты слишком высокоразвитый индивидуум. Ты всю жизнь будешь жаждать таких переживаний и состояний, к которым твой тонкий вкус будет чувствовать отвращение»[146]. Для русского издания книгу «Die Jagd nach Liebe»[147] перевели как «Погоня за любовью». Напрасно, «Охота» – правильнее! В первое десятилетие века тема сексуальной охоты – главная для писателя. Мужчина, женщина, инстинкт, охота – формула романа «В маленьком городе»[148]. Манн не только воплощает ее в художественной прозе, но и философски обосновывает ее в эссе «Der fall Muri»[149]. «Охотник за любовью» – вот точная характеристика Генриха Манна, художника и человека.

«Половая способность и половое наслаждение подчинены теперь задачам и целям всего человечества»[150]. Сегодня лозунг рубежа веков может показаться смешным и наивным, а тогда, сто лет назад, таким не был. Борьба за сексуальную свободу быстро радикализировалась, приобретала все более извращенные формы. В кругах, где вращался Генрих, скоро возникло пресыщение естественным возбуждением, возрос интерес к гомосексуализму, садомазохизму, оргиям и прочим перверсиям.

Излюбленный литературный прием Генриха – описание сцены мимолетной любви в chambres separe[151]. В начале девятисотых героиней европейского романа все чаще становилась проститутка. По книгам Манна можно составить полнейшее представление о разновидностях кокоток: содержанки-демимонденки[152], актрисы, кельнерши, уличные проститутки... Подражание проституткам входило в моду[153]. В литературе утверждался грубый и вульгарный идеал красоты, грани

---

144 Янгфельдт Бенгт. Ставка – жизнь. М.: КоЛибри, 2009. С. 55.

145 Манн Генрих. В погоне за любовью. Указ. соч. С. 82.

146 Там же.

147 Mann Heinrich. Die Jagd nach Liebe. Albert Langen, München, 1903.

148 Манн Генрих. Учитель Гнус… Указ. соч.

149 «Der fall Muri» – «Дело Мури» (нем.) Цит. по кн.: Martin, Ariane. Erotische politik: Heinrich Manns erzahlerisches Fruhwerk (Epistemata). Konigshausen & Neumann Verlag. Würzburg, 1993. P. 259. Перевод с нем. Н. Мищенко.

150 Фукс Эдуард. Иллюстрированная история нравов...

151 Chambres separe (фр.) – «задняя комнатка», отдельный кабинет. Помещение в ресторане, служащее для встреч с проститутками и для адюльтеров.

152 Демимонденка (от фр. demimondaine) – дама полусвета.

153 «Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки – обык-

в восприятии между женщинами порядочной и продажной стирались[154]. Самка, вселяющая беспокойство, возбуждающая неведомые желания, – сексуальный символ.

В Германии и, разумеется, прежде всего в ее столице, Берлине, шантаны и варьете появлялись десятками. Обыкновенно это были пивные, где в углу на невысокой эстраде сильно декольтированные женщины в коротеньких пестрых юбках распевали двусмысленные песенки. Непристойность, облаченная в слова, музыку, пляску, костюм, цвета. Все оттенки – от грубой сальности до высшей артистичности. Сюда захаживает Генрих[155], в такой вот «Голубой ангел» поглазеть на «артистку Фрелих» он приводит и главного героя романа «Учитель Гнус». Здесь, в шантане, в варьете, по убеждению немецкой богемы, происходили настоящие этические и эстетические реформы.

«Главными номерами программы шантана долгое время были куплеты, более или менее плохо исполняемые двусмысленные песенки, или, вернее, для знатоков вовсе не двусмысленные. Секрет публично произносимой скабрезности в том именно и заключался, что она облекалась в невинную внешнюю форму. Скабрезность состояла в скрытом двойном смысле ловко подобранных слов, в рафинированных паузах, в подчеркивании известных мест, в мимических движениях, сопровождающих шансонетку...

С цинизмом слов соединяется цинизм жестов. При помощи соответствующих жестов все перекидывается в область эротики, все получает, таким образом, порнографический характер»[156].

Артистическая богема в каждой стране – наиболее интернациональная группа населения. Все эти люди, как правило, деклассированы. «Выходцы, выскочки или неудачники, они лишены социальных традиций и социальных привязанностей. За презрительной гримасой или анархической фразой по адресу “существующего порядка” у них никогда не будет остановки... Пестрая публика, которая одним флангом соприкасается с ночлежными домами, а другим входит в самые блестящие салоны. Непременным условием ее расцвета является большой капиталистический город, этот новый социально-культурный тип. Миллионы людей обречены здесь на тесное физическое общение. Телефон и пневматическая почта, трамвай и автомобиль создают постоянную возможность общения и передвижения. Ночь превращается в день. Обезличивается и исчезает жизнь семьи, создаются новые очаги; ночное cafe, редакция, variete. Формируется новая психика»[157].

Троцкий в эссе, посвященном журналу «Simplicissimus»[158], сумел рассмотреть за издевательством над условностью и глумлением «манеру» и «элегантность». «Simplicissimus» был питомником новой немецкой литературы, становление Маннов неразрывно связано с этим проектом. Революционный критик назвал свой текст «Лукавый бес мещанства». Главная мысль статьи такова: «Под борьбой с мещанством скрывается в лучшем случае хаотический интеллигентский радикализм, питающийся преимущественно эстетическими восприятиями и не знаю-

новенно презираемые, проститутки на долгие – обыкновенно уважаемы» (Крейцерова соната. Цит. по: Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 12 томах. М.: Правда, 1984.. Т. 12. С. 114).

[154] В «Верноподданном» Манн использует прием контраста: у него шлюха предстает в обличье скромной пасторской дочки.

[155] Многие завсегдатаи театров-варьете приходили сюда специально ради проституток. Особо красивые здешние кокотки, как правило, имели бесплатный вход и получали известный процент от дохода с напитков. Встреченная в подобном месте богиня любви стала женой и последней музой «охотника» Генриха.

[156] Фукс Эдуард. Иллюстрированная история нравов... Указ. соч. С. 164.

[157] Троцкий Лев. Указ. соч.

[158] Симплициссимус (нем. Simplicissimus). Сатирическо-юмористический еженедельник, издававшийся с 1896 по 1944 год в Мюнхене. Журнал тесно связан с творчеством братьев Манн, Г. Гессе, Э. Кестнера, Л. Тома, Г. Майринка, К. Арнольда, Ф. Ведекинда, Я. Вассермана, А. Кубина, Б. Пауля, К. Кольвиц, К. Тухольского, Г. Цилле, Х. фон Хофмансталя, Г. Гросса и др.

щий, куда приткнуться. Он лихорадочно мечется из стороны в сторону, пока не успокоится – на чем-нибудь очень маленьком... С теми или другими ограничениями это относится и к судьбе “Симплициссимуса”»[159].

Генрих был уверен, что артистическая богема – двигатель прогресса. В его романах «Верноподданный» и «В маленьком городе» актеры и театр символизируют реформы, они же становятся причиной смерти «тирана» – учителя Гнуса. Марта Фейхтвангер заметила[160], что эротизм и лицедейство были главными чертами манновской натуры и прозы. «Жизнь – варьете», – говорит он в одноименной пьесе[161]. Генрих любил актеров, театральное действо, и сам нередко устраивал представления и провокации. Вспоминая деверя, Катя так его характеризовала: говорил гнусаво, колко, подчеркивая каждый слог, намеренно допускал какие-нибудь неточности, был «смесью крайней сдержанности с полным отсутствием сдержанности».

Генрих считал, что корни романтических демократий содержатся в эротической возбудимости. Революционный порыв для него всегда был неотделим от сексуальности, Geschlechtlichkeit. Неудивительно, что разбираться в революционных теориях Манну никогда не хотелось. Узость, наивность, недостаточная образованность в этих вопросах роднит Генриха с племянником Клаусом, который, как говорил другой племянник, Голо, «из Маркса знал “Манифест” и больше ничего»[162]. Вот и дядя не считал нужным погружаться в глубины философии и легко ставил знак равенства между Ницше и Лениным[163].

Поиски формулы гармонического миропорядка в окружавшей Манна среде неминуемо вели к моральному релятивизму. Любовники, les consubenage, в новой гармонии были «свободными радикалами». Результатом их единения мог быть ménage à trois, ménage à quatre, commune[164] с неизбежными в этом случае «афинскими вечерами», или попросту оргиями. Законом поведения на заре века становится полиамория[165], основанная на «теории стакана воды»[166]. Во время войны эту теорию ошибочно приписывали Кларе Цеткин[167], а после русской революции – Александре Коллонтай[168]. Однако впервые фраза «Любовь, как стакан воды, дается тому, кто его попросит»

---

159 Троцкий Лев. О Симлициссимусе. // Троцкий Л. Сочинения. Т. 20. Москва–Ленинград, 1926.

160 Цит. по кн.: Martin Ariane… Указ. соч.

161 Mann Heinrich. Variété, Ein Akt. Berlin, 1910. P. 89.

162 Соколянский Марк. Диалог историка и критика. О книге Golo Mann, Marcel Reich-Ranicki. Enthusiasten der Literatur. Ein Briefwechsel. Aufsatze und Portraits. Hrsg. von Volker Hage. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 2000 // Иностранная литература. 2001. №3.

163 Блюм Арлен. «Интернациональная литература»: подцензурное прошлое // Иностранная литература. 2005, №10.

164 Ménage à trois (фр.) – «жизнь втроем», ménage à quatre (фр.) – «жизнь вчетвером», commune (фр.) – коммуна.

165 Полиамория – система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования множественных любовных отношений у одного человека с несколькими людьми (а также между несколькими людьми) одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений. Полиаморией также называют практику любовных отношений, воплощающую эти взгляды в действительности.

166 «Теория стакана воды» – уподобление половых отношений любому другому физиологическому акту, например, утолению жажды. Достигла пика популярности в 1920-е годы.

167 Цеткин Клара (урожденная Айсснер, 1857–1933) – немецкий политик, деятельница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей КПГ, активистка борьбы за права женщин.

168 Коллонтай Александра (урожденная Домонтович, 1872–1952) – русская революционерка, государственный деятель, дипломат, активистка борьбы за права женщин. В литературных

появилась опять-таки у французов, и задолго до Манна, Ведекинда и Коллонтай. Ее произносит Жорж Санд[169] в биографическом романе Ференца Листа «Ф. Шопен»[170].

Многие писатели верили в обреченность старого мира. Эстетический авангардизм сочетался с политическим радикализмом. Но Генриха, конечно, нельзя назвать революционером, его даже к либералам в полном смысле этого слова нельзя отнести. Лучшее определение для таких, как он, – либертины[171].

В 1904 году Манн активно сотрудничал с литературно-эротическим альманахом «Die Aktion», который издавал немецкий анархист номер один Иоганн Хольцманн[172]. В этом издании публиковались радикалы: как художники, так и политики – от анархистов до большевиков. Именно радикализм объединял всех этих людей. Иногда в одном человеке уживалось несовместимое. Яркий пример – Франц Бляй. Изучая политэкономию в Цюрихском университете, он стал убежденным марксистом, рано примкнул к рабочему движению. При этом Бляй исповедовал эстетический неокатолицизм. После Октября Карл Краус[173] изобразит друга в «магической оперетте», пьесе «Аббат Красной гвардии», облаченным в мантию католического священника, с фуражкой комиссара на голове, выкрикивающим лозунг: «Да здравствует коммунизм и католическая церковь!»[174].

Начавшаяся вскоре Первая мировая война стала для художников настоящим эстетическим вызовом. Она обнажила новые проблемы, но не отменила старые. В частности, вопрос пола она обострила.

Через три года после поражения Германии композитор Пауль Хиндемит[175] создаст триптих

произведениях разрабатывала «концепцию новой женщины», раскрепощенной, не желающей связывать себя семьёй.

[169] Жорж Санд (урожденная Амандина Аврора Люсиль Дюпен, 1804–1876) – французская писательница. Гейне называл ее «человеком необыкновенной чувствительности». Имела много любовных романов с деятелями культуры XIX века.

[170] Лист Ф. Ф. Шопен. М.: Государственное музыкальное издательство, 1956.

[171] Либертины (фр.) – вольнодумцы, распутники, развращенные. Слово «либертин» в XVIII веке означало свободу от ограничений, в частности социальных, моральных и религиозных норм. Либертинами называли участников кружка Тампля, которым покровительствовала распутная герцогиня дю Мэн, внучка «великого Конде», любовница кардинала Полиньяка и многих других господ. Прославились как авторы пикантных стихов и эпиграмм. В настоящее время к понятию «либертины» относят приверженцев свободной любви, доминирования и свинга.

[172] Хольцманн Иоганн (псевдоним Зена Хой, 1882–1914) – писатель, анархист, международный революционный деятель. Активный борец с гомофобией, пропагандист гей-культуры, основатель Лиги по правам человека. Организатор и активный участник эксов в Польше. В России был приговорен к 15 годам каторжных работ, позднее замененных принудительным лечением в психбольнице.

[173] Краус Карл (1874–1936) – австрийский писатель, поэт-сатирик, литературный и художественный критик, фельетонист, публицист, уникальная фигура немецкоязычной общественной и культурной жизни первой трети XX в. В издаваемом Краусом журнале «Факел» публиковались проза и эссеистика Генриха Манна.

[174] Kalka Joachim. Der Trüffelfisch. Der Spiegel. 2004. Перевод с нем. О. Боченковой.

[175] Хиндемит Пауль (1895–1963) – немецкий композитор, альтист, скрипач, дирижёр, педагог и музыкальный критик. Нацистская критика относила творчество Хиндемита к «дегенеративному искусству». Геббельс назвал композитора «атональным шумовиком».

одноактных пьес, авторы либретто – Оскар Кокошка, Август Штрамм[176] и Франц Бляй. Второй духовный отец Генриха напишет либретто оперы для бирманских марионеток и назовет ее «Нуш-Нуши́». Опус Хиндемита вызовет в Германии грандиозный скандал[177].

Пьеса Бляя – это скабрезная история о Кайзере Мун Та Бья, его четырех женах, их соблазнителе, похотливом господине Затвае, проказливом слуге Тум-Туме и страшном плюшевом звере Нуш-Нуш´и. В монологах было много непристойностей, сюжет строился на сексуальных интригах вокруг ожидаемой кастрации. Это страшное наказание должен был произвести игрушечный Нуш-Нуш´и – откусить половой член Кюце Ватн, главного военачальника, кайзеровского полководца. Фаллос, таким образом, в пьесе нес главную смысловую нагрузку. В конце истории зритель узнавал, что мужского достоинства у генерала отродясь не бывало.

Если можно скрестить анархизм и католицизм, то почему бы «эротическому демократу» Генриху Манну не совместить галантный век с революцией, этот век низвергнувшей?

Культ необузданной и утонченной чувственности был законом эпохи абсолютизма, но поскольку каждому новому периоду общественного бытия соответствует новая половая мораль, то с победой Великой французской революции началась и новая эра половой нравственности, провозгласившая равноправие.

Евангелием буржуазной идеологии любви стал роман «Новая Элоиза» Руссо[178]. Взгляды на любовь поменялись: она должна быть естественной, чистой, целомудренной; красивую внешность должно любить только ради ее прекрасного внутреннего содержания.

Полтора столетия женщина стояла на пьедестале в позе официально признанной высшей богини, заполняя умы и сердца. Доминировала «женская вселенная», поощрялось идолопоклонство[179]. Но дамское господство было искусственным, иллюзорным, всего лишь театральным приемом сексуальной игры, скрывающим истинное положение женщины – ее глубочайшее унижение.

Однако на переломе эпох, во времена Жака Луи Давида[180], богиня обрела новые черты – облик мадам Рекамье[181]. На великом портрете работы депутата Национального Конвента она пред-

[176] Штрамм Август (1874–1915) – немецкий поэт, драматург, представитель раннего экспрессионизма. Погиб на войне. Лучшие стихи изданы посмертно в книге «Капля крови» («Tropfblut», 1919). Автор либретто пьесы «Св. Сусанна», третьей части трилогии Хиндемита.

[177] Премьера постановки состоялась 4 июня 1921 г.

[178] Руссо Жан-Жак (1712–1778) – французский писатель, мыслитель. Разработал концепцию государственного правления – прямую демократию.

[179] Томас, оппонируя брату, в «Размышлениях аполитичного» ссылался на Карлейля, называвшего XVIII век «женственным и лживым».

[180] Давид Жак Луи (1748–1825) – живописец, основоположник французского неоклассицизма. Активный участник революции, в 1792 избран депутатом Национального Конвента, примкнул к монтаньярам во главе с Маратом и Робеспьером, голосовал за смерть короля. Являлся членом Комитета общественной безопасности, в качестве которого подписывал приказы об аресте «врагов революции». В 1794 году после термидорианского переворота был заключён в тюрьму за революционные взгляды.

[181] Рекамье Жюли (1777–1849), жена парижского банкира, салон которой был модным политическим и литературным центром, постепенно объединившим людей, оппозиционно настроенных по отношению к Наполеону I. По распоряжению Наполеона I в 1811 г. была выслана из Парижа, куда вернулась в 1814 г. В 1819 г. переселилась в монастырь Аббе-о-Буа,

стает не только сладострастной одалиской, безумствующей вакханкой, но и девственно чистой весталкой, олицетворяющей хороший вкус, образованность, гражданскую смелость и революционную устремленность.

Что очень важно, идеалы новой нравственности родились не на немецкой земле. Поскольку поэты и философы Германии, современники Великой французской революции, в ужасе от нее отвернулись, надолго впали в пессимизм и ступор, роль пропагандистов новой морали в этой стране досталась сверстникам франкофила Генриха.

Живописец Давид хронологически следует за Буше и Фрагонаром, но Манн действует согласно логике своего чувственного развития: он должен в себе совместить и Revolution Sexuelle in Permanenz[182] Франка Ведекинда, и Рококо Франца Бляя[183]. Этим-то и объясняется ретроградная эволюция герцогини де Асси: в трилогии «Богини» из ревнительницы гражданских свобод она закономерно превращается сначала в интеллектуалку, любительницу искусства, а затем в ненасытную, чувственную, похотливую самку. Это, если можно так выразиться, «динамический» образ героини Манна, а «статический» такой: «породистая женщина из высшей аристократии с пикантными причудами в красивой головке»[184].

Примеров сочетания рококо и революции в прозе Манна много. В вестибюле исторического здания «Гармония», которое в романе «Верноподданный» является для горожан Нетцига центром культуры и символом буржуазной революции, писатель помещает статую Дружбы и надевает ей на голову высокий парик. Новое содержание плюс старая форма. На фресках здания писатель изображает городских должностных лиц, одетых в «цвета французской триколоры, трехцветного знамени»[185], а вместе с героями 1848 года рисует... пастушек. Получается веселая революционная пастораль. Вольфганг Бук говорит Дидериху Геслингу: «Мы с вами антиподы, мы внедряем в здешнюю жизнь передовые течения нашей аморальной эпохи. Мы подхлестываем жизнь. Дух времени пока еще бродит по этому городу в войлочных туфлях»[186]. Напомним, время действия – конец XIX века, царствование Вильгельма II.

В пьесе «Мадам Легро»[187] моральный подвиг героини выражен в ее готовности выкупить свободу заключенного ценой любви – отдаться кавалеру д'Анжело из службы охраны Бастилии. Сам же офицер по замыслу автора за свободу заплатит бóльшую цену – отдаст жизнь. Мадам Легро достигает цели и тем самым вызывает начало революции. В этом произведении Генрих Манн впервые отводит женской страстности роль движущей силы общественных процессов.

В уста д'Анжело Манн вкладывает ёмкую фразу: «Мы из революции делаем пастораль»[188]. Вот и сам автор революционной пьесы на протяжении всей творческой жизни «делал пастораль из революции».

где в её салоне собирались политические деятели, литераторы, учёные (Ф. Р. Шатобриан, Ж. Ж. Ампер).

[182] Сексуальная перманентная революция (франц.).

[183] Ненависть буржуазии к Рококо объяснялась страхом и отрицанием скрывавшегося за Рококо политического принципа. Возможно, реабилитация этой эпохи впервые была предпринята через три четверти века после революции, задолго до Бляя братьями Гонкурами. Буржуазия, когда-то бывшая борцом, к этому времени превратилась в сибарита.

[184] Манн Генрих. Диана. Минерва. Венера. Романы. Перевод с нем. А. С. Полоцкой. СПб.: ТОО «Интерконспект», 1994.

[185] Манн Генрих. Верноподданный. Бедные. Перевод с нем. И. Горкиной. М.: Правда, 1985.

[186] Там же.

[187] Манн Генрих. Мадам Легро. Пьеса в трех актах. Перевод с нем. В. Ирецкого. Петроград: Центральное Кооперативное издательство «Мы», 1923.

[188] Там же. С. 26.

По правилам сексуальной игры, установленным в галантном веке, женщина-повелительница с самого начала готова уступить. Ее колебания – лишь средство увеличить томление мужчины. Мужчина как таковой в этой игре упразднен, превращен в суррогат эротического чувства. Из характера мужчины должно исчезнуть все маскулинное[189]. Пик наслаждения достигается при погружении на самое дно верноподданнического чувства. Однако у Генриха все это не игра, все – всерьез.

Из личных писем писателя мы знаем, что Генрих с юных лет испытывал тягу к мазохистским удовольствиям. Заставляет об этом думать и рассказ о мальчике Нино[190] в «Минерве». Манн оправдывал себя[191] и находил утешение[192] в том, что в эпоху абсолютизма флагеллация, как известно, являлась неизменной составной частью общей половой жизни. То было «лакомство в области наслаждения»[193]. Возведение женщины на престол естественным образом предполагало унижение мужчины. Поругание мужчины в обществе, построенном на мужском господстве, объясняет желание «сменить полярность», дав женщине право унижать.

«Исповедь» Руссо и ее главная мысль – «Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, – и этим человеком буду я» – чрезвычайно важны для понимания эротических откровений Г. Манна в литературе и его поведения в жизни. Эксгибиционизм и мазохизм роднили Манна с Руссо. Генриху нравилось, когда его в глаза и за глаза называли Жан-Жаком.

«Можно было бы полагать, что поэты – лучшие психологи, чем профессиональные психологи и философы, но вся суть в том, что они люди чувства, а не логики и, по меньшей мере, односторонни в исследовании интересующей нас области. Свет и тепло любви, вдохновляющей их, заслоняют им теневые ее стороны», – начинает свой знаменитый труд Крафт-Эбинг. Чувственная сила способна перейти во всепоглощающую страсть и стать источником величайших пороков. «Проблематично достичь мудрости через чувственное», – предостерегает Генриха Томас[194].

Если говорить о флагеллации, нельзя не отметить, что чувство подчиненности в сексуальной игре сродни таковому в религиозном обряде. Половое чувство способно усиливаться ожиданием безмерного блаженства, и это, как правило, извращает цель величия. Истинная величина объекта, на который направлено чувство, под влиянием непреодолимой силы нередко искажается. Ожидание необъятного счастья вызывает потребность безграничной подчиненности. Модель, опробованная и принятая в сексуальной игре, нередко экстраполируется на абстрактное, распространяется на человеческое общество в целом, на понятие всеобщего счастья и справедливости. В этом случае сила и слабость оцениваются извращенно. Это относится к оценке как отдельной личности, так и человеческой массы.

«Кто нарушает общественный договор, тот ставит себя вне государства, он враг обществу, его надо уничтожить», – учил Жан-Жак, столь обожаемый Генрихом. Неудивительно, что и сам

---

189 Маскулинность (от лат. masculinus, мужской) – комплекс телесных, психических и поведенческих особенностей (вторичных половых признаков), рассматриваемых как мужские.

190 «А в своей каморке он истязал себя булавками, ремнями, щипцами – только для того, чтобы иметь преимущество перед отцом и учителями, которые были так злы: преимущество перенесенных страданий, суровых мыслей».

191 В «Богинях» Манн говорит, что художник – это «куртизанка мужского пола».

192 По Крафт-Эбингу, «истощенные плотскими излишествами развратники, желая поднять свою снизившуюся половую способность, заставляют себя иногда сечь перед совершением полового акта».

193 Фукс Эдуард. Иллюстрированная история нравов… Указ. соч.

194 Манн Томас. Рассуждения аполитичного. Пер. с нем. Н. Елисеева. «Вестник Европы». 2008. №24.

Манн имел «две главные исторические привязанности – Бисмарка и СССР»[195], считал советского диктатора великим человеком, видя в Сталине черты и Бисмарка, и Генриха IV[196].

В общении полов на долю нормального мужчины выпадает активная, даже агрессивная роль. Мужчина видит себя стоящим лицом к лицу с препятствием, преодоление которого составляет его задачу, для этого природа и наделила его агрессивным характером. У тирана, диктатора, садиста природный агрессивный характер способен вырасти до чрезмерной величины и всегда стремится безгранично подчинить себе предмет вожделения, вплоть до уничтожения и умерщвления. Психопату-садисту неважно, что это за предмет – другая личность, страна или все человечество.

Мазохист подчинен не страху, а влечению с целью достижения *иного* удовлетворения. Именно это и приходит на ум, когда рассуждаешь о политических пристрастиях Генриха Манна.

Эрменонвиль[197]

Нет сомнения, каждый, кто в юности прочел дилогию Манна об Анри Четвертом, никогда не забудет сцены встречи славного французского короля с Прекрасной Габриэль, визите Генриха в замок Кэвр, залитое лунным светом ложе, на котором престарелый беарнец возлежал с двадцатилетней д'Эстре в то время, как третий любовник, герцог Бельгард, чавкал, поедая брошенные ему под кровать конфеты. Помните? – «"А что, если это дух Блеклого Листа? Я давно не видал его – может быть, он умер?" – сказал Генрих и бросил под кровать еще несколько конфет».

В 1928 году Генрих Манн переехал в Берлин, город, в котором прошла его молодость. Через два года писатель развелся с женой, чешской актрисой Марией Кановой[198], а еще через какое-то время его бросила многолетняя любовница Тилли, обидевшись, что не получила главную роль в фильме «Голубой ангел»[199], снятом по роману Генриха «Учитель Гнус». Молодая, набирающая силу Марлен Дитрих[200] оттеснила конкурентку, и автор сценария, увы, ничего поделать не мог.

Было ему уже шестьдесят. Как писатель Генрих давно получил широкое признание и коммерческий успех, с 1931 являлся председателем секции поэзии Прусской академии искусств, а в апреле следующего года даже принял предложение стать ее президентом. Его называли наследником Флобера. Манн жил в престижном районе города, на Уландштрассе, 126. Однако это была жизнь одинокого стареющего мужчины. «Все миновалось, молодость прошла!»[201]

По вечерам Генрих нередко отправлялся на собрания СДПГ[202], проходившие в рабочих районах города. Сборища обычно заканчивались попойками и уединением с дружественно настро-

[195] «При всей своей реальности СССР для чужестранца представляется иногда сказкой» (Цит. по книге: Манн Г. Велик образ СССР // Манн Г. В защиту культуры. Сборник статей. М.: Радуга, 1986. С. 84).

[196] Марк Соколянский. Указ. соч.

[197] Шато д'Эрменонвиль (Château d'Ermenonville) – усадьба в селе Эрменонвиль, деп. Уаза, 40 км от Парижа. Замок, впервые упоминаемый в IX веке, связан с именами Гуго Капета, Жанны д'Арк, Людовика XI, Генриха IV, Габриелы д'Эстре, Жан-Жака Руссо. Парк Жан-Жака Руссо, разбитый в 1760-х гг. маркизом де Жирарденом в сотрудничестве с Ю. Робером и Ж.-М. Морелем, в 1930 г. объявлен историческим памятником Франции.

[198] Канова Мария (1886–1947). Чешская и немецкая актриса, первая жена Генриха Манна (развод в 1930).

[199] «Голубой ангел» («Der blaue Engel»). Фильм режиссёра Джозефа фон Штернберга (1930).

[200] Дитрих Марлен (урожденная Мария Магдалена Дитрих, 1901–1992). Немецкая и американская актриса и певица. По выражению биографа Дитрих, Дональда Спото, «Голубой ангел» стал не просто синонимом Дитрих, он сформировал её личность.

[201] Блок Александр. «О доблестях, о подвигах, о славе…»

[202] СДПГ (SPD) – Социал-демократическая партия Германии.

енными кельнершами. Выходя из дома, писатель, как правило, заглядывал в бар. В одном из них – то ли в «Баядерке», то ли в «Какаду» – ему встретилась высокая, пухлая, белокурая хостес[203] Нелли Крёгер. Девушка была довольно успешна в этой карьере. Генрих сразу же обратил на нее внимание. Блондинка жила в Берлине не так давно, но уже успела неосмотрительно выйти замуж, развестись, родить ребенка и отдать чадо в приют. В разговоре выяснилось, что Нелли приехала в столицу из рыбацкого городка, расположенного недалеко от Любека. Земляки прониклись друг к другу симпатией. Завязался роман.

Какая она была? Существует много мнений. Альфред Канторович[204], близкий друг Генриха, запомнил Нелли такой: «...Занятная, возбуждающе привлекательная женщина необычайной живости и полного неведения о правилах светской сдержанности. Она была родом из прибалтийской деревушки, имела пристрастие к выпивке и сквернословила, как матрос. И я был заворожен любовными отношениями между стареющим знаменитым писателем и этой молодой, красивой, но неотесанной женщиной. Она и вправду стала его “Голубым ангелом”»[205].

У Нелли был любовник, и вскоре завязался ménage à trois. Всех троих сблизила общность политических убеждений. Руди Кариус был коммунистом, активистом КПГ[206], убежденным противником нацистов.

Беззаботная жизнь закончилась в начале 1933 года, когда наци пришли к власти. Руди сразу же был объявлен в розыск, но успел вовремя скрыться. Генриху тоже повезло, он уехал во Францию за день до того, как в его дом пришли штурмовики. Пострадала Мария Канова-Манн, первая жена. Она попала в концлагерь Терезианштадт, где пробыла до конца войны, хоть ей и посчастливилось выжить. Нелли тоже арестовали, правда, через какое-то время все же выпустили из тюрьмы. С помощью отчима она переехала в Данию, а затем в Ниццу.

Вся троица воссоединилась. В Ницце у Генриха был дом и еще достаточно денег для комфортной жизни. Нелли жила с мужем на Английской набережной, Руди Кариус для отвода глаз обитал отдельно в небольшом отеле неподалеку. Позже товарищ Руди в составе интернациональной бригады ушел воевать против Франко, в Испании попал в плен, был интернирован и отправлен в Германию, где до 1945 года содержался в концлагере Заксенхаузен. После освобождения Кариус жил в Восточной Германии и скончался в 1971 году.

Все свободное время и силы писатель отдавал антифашисткой борьбе. Генрих уделял Нелли всё меньше и меньше времени. Женщина страдала, пристрастилась к алкоголю, дважды пыталась покончить с собой.

Отношения Нелли с семьей Томаса Манна сразу не сложились. Брат Генриха называл ее не иначе, как «страшной девкой» и «злой шлюхой», а его жена Катя – просто «das Stück»[207]. Однако Генрих, несмотря ни на что, зарегистрировал брак с Нелли. Это произошло через восемь дней после начала Второй мировой войны.

В эти годы, в 1935–1938, и были написаны книги о короле Генрихе Наваррском. Портрет

---

[203] Хостес (от англ. hostess – хозяйка; старшая официантка, хозяйка гостиницы) – специалист ресторанной службы, «лицо» ресторана, «хозяйка зала». Во времена Манна в обязанности хостес входила встреча посетителя и «раскрутка» его на выпивку.

[204] Канторович Альфред (1899–1979). Немецкий писатель, журналист и литературный критик. Публиковался также под псевдонимом Хельмут Кампе. Редактор произведений Генриха Манна (Собрание сочинений в 12 томах, 1951–56). Автор биографических записок «Изгнание из Франции» (1971).

[205] Evelyn Juers House of Exile. The Lives and Times of Heinrich Mann and Nelly Kroger-Mann. Farrar, Straus & Giroux, 2011.

[206] КПГ (KPD) – Коммунистическая партия Германии.

[207] das Stück (нем.) – слово имеет много значений, от вполне терпимого «штучка» до малоприятного «наглая, мерзкая баба».

писателя легко угадывается в морщинистом старике с «испорченными желтыми зубами», седой бородой и «плохо вымытой шеей». Таким Генрих рисует себя в романе «Зрелые годы короля Генриха IV», а воспоминания о недавно пережитых менажных отношениях запечатлены в названной сцене о пребывании тезки писателя в спальне Прекрасной Габриэль.

Есть два различных мнения о любовнице Генриха Наваррского. Одни считают, что была она скромной и уравновешенной, обладала сметкой, умом и способностью принимать взвешенные решения. Другие убеждены, что Габриэль д'Эстре имела молодое цветущее тело, источающее аромат любви, но скудный умишко и неразвитую душу.

После смерти Манна семейная история Нелли и Генриха, пикантные подробности m nage trois, были рассказаны еще раз. Лион Фейхвангер опубликовал в 1952 году «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо»[208]. Действие романа происходит в замке Эрменонвиль, возведенном в XVIII веке на месте описанного в «Зрелых годах Генриха IV» Кэвра, позднее превращенного в грандиозный ландшафтно-архитектурный памятник французскому философу. В образе Руссо мы узнаем Генриха Манна, в Терезе – Нелли, злодей Никола замыкает треугольник.

Легенда гласила, что ко времени переселения в усадьбу Руссо с женой и свекровью от старой крепости в Эрменонвиле сохранилась лишь башня. Ее называли башней Габриэль. Именно здесь якобы Генрих IV встречался с любовницей. Владелец шато и его челядь охотно эксплуатировали эту историю. По комнатам замка были разбросаны сувениры, а в деревне о тайных визитах короля весело распевались песни пристойного (и непристойного) содержания. Фейхтвангер приводит своего героя в то место, которое уже описал прототип великого философа.

Сходство характеров и судеб – Руссо и Терезы, Генриха и Нелли – и не только оно объясняет выбор темы и художественного решения «Мудрости чудака». В последние годы Манн и Фейхтвангер крепко дружили, много часов проводили в душевных беседах. Возможно, Генрих не раз возвращался к истории давнего конфликта – к эссе Томаса «Размышления аполитичного». Современники братьев оценивали текст как политический. Антипацифистские взгляды Томаса подверглись тогда резкой и жесткой критике. Против статьи, в частности, выступил Ромен Роллан. Но, как уже отмечалось, размышляет «аполитичный» Томас в первую очередь об эстетике, в ее мутациях видит корень зла и причину европейской катастрофы. Перечитывая эссе, понимаешь, что оно является продолжением того эпистолярного диалога между братьями, который из-за обид и разногласий прекратился на долгие годы. Этот важный текст содержит, как говорит Томас, «трагический элемент». «Размышления» – «труд, в котором есть непосредственность, несдержанность частного письма»[209].

Томас протестует, но обращается не к абстрактному оппоненту, он взывает к брату. «Интимный конфликт... разыгрывается в духовной сфере и, стало быть, поэтому, без сомнения, обладает символическим значением в такой степени, что имеет право на публичность»[210]. Младшего брата возмущает, что «безоглядность, откровенность о самом себе, радикализм в отдаче всего самого сокровенного обществу может дойти у художника до проституирования, до оставления на произвол публики собственной биографии, до абсолютного жан-жаковского бесстыдства». Томас старается спасти Генриха (и общество) от внутриличностного распада. Это отсылка к «Исповеди» Руссо, в которой Жан-Жак, как известно, поведал о многих своих грехах и пороках, потряс современников неожиданным эксгибиционизмом. Аллюзия и объясняет замысел Фейхтвангера.

[208] Фейхтвангер Лион. Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо. Пер. с нем. И. Горкина, И. Горкиной. Кишинев: Литература артистикэ, 1982.
[209] Манн Томас. Манн Томас. Размышления аполитичного (первые главы из книги). Пер. с нем. И. Эбаноидзе // Аристократия духа. М.: Культурная революция, 2009.
[210] Там же.

Нелли-Терезе в романе Фейхтвангера лет тридцать семь – тридцать восемь. Каштановые волосы, простенькое платьице. Кажется вульгарной, однако не без привлекательности. Бесстыжие глаза, «ленивый и грудной голос, зовущий»[211]. «Ее несколько полное лицо было маловыразительным, но большие спокойные глаза и ленивые движения, вероятно, нравились мужчинам. Неторопливо, наивно, без стеснения и скромности разглядывала она людей и предметы. Говорила мало, и казалось, будто ей стоит усилий подобрать нужное слово». «Бесспорно, красотой не отличается, лицо толстое и невыразительное, глупа она и ленива, как стадо коров, а мужчины льнут к ней, как мухи к падали».

«Жаркая похоть, исходившая от нее, ее запах, ее бездонная невинная развращенность, ее медлительная, дразнящая походка, усилие, с которым она нанизывала слова, чтобы выразить свое глухое нутро, даже отвращение, которое она... внушала, – все это были звенья одной цепи, которой она... опутывала». Глупа: «у меня, знаете ли, голова плоховатая, вся эта писанина мне не по зубам»...

А сам Генрих, мосье Руссо? Сказано максимально точно: «любил женщин, которыми никогда не обладал, и обладал женщинами, которых никогда не любил», «жил чудовищной, бесстыдной жизнью»[212]. К жене «влекла ее глубокая первобытность, сама природа, воплощенная в ней. Она – кусок глины, лишенный каких-либо признаков мысли, болото, грязь, в то же время она и свет, отраженный в болоте. Но ее тоже влекло к нему нечто большее, чем простое вожделение.

Как она сказала: “Для вас я не только это сделаю”, – в бархатном тембре ее голоса прозвучала такая нежность, что он в жизни этого не забудет. Она любила его, любила». «Впервые переспав с ним ночь, повела загадочные речи о каком-то признании, которое она должна ему сделать. Он с ужасом подумал, что она больна и заразила его. Несколько дней, встречаясь, они избегали прямого разговора, пока, наконец, она не спросила, не заметил ли он, что она уже не девственница».

Какую «низкую тварь, этакое полуживотное выбрал себе в подруги величайший мыслитель»! Вот он, жалкий, смехотворный, нечистоплотный, слабодушный, больной и «неаппетитный человек», заглядывает в комнату и видит, как «жена его, женщина, с которой он прожил десятки лет, лежит в объятиях этого подонка, этого куска глины, в который создатель вдохнул лишь намек на душу. Они что-то бормочут и стонут в угаре животной похоти». Перекошенные звериные морды. Все семь грехов – на лице молодого любовника. Ее щеки отвисли, тяжелые веки опустились на глаза. Праздная, расплывшаяся. Темное в ней, грозное! Глупая, развратная, обольстительная, покладистая. Хочется ее унизить, растоптать! Туша, глыба, неповоротливая слониха... Ей «представлялось, что она занимается любовью с обоими сразу, и это было очень сладостно».

В 1940 году Франция потерпела поражение. Для немецких мигрантов ситуация стала угрожающей. В сентябре вместе с группой близких друзей Генрих и Нелли перешли испанские Пиренеи. Мужчине этот поход дался очень тяжело – ему уже было шестьдесят девять. Он часто останавливался и дальше двигался лишь с помощью жены. Потом были Мадрид и Лиссабон, долгий морской путь до Нью-Йорка и, наконец, Калифорния, Голливуд. На студии «Уорнер Бразерс» Генриха определили на низкооплачиваемую работу сценариста. Он не справлялся, семья прозябала, питалась скудно, в зимнее время мерзла. Генрих утратил статус и веру в себя. Популярный и известный в Европе, в Америке он был практически никому не известен. За его спиной говорили: вот идет человек, причастный к фильму «Голубой ангел»[213].

Семья брата оказалась более удачливой. Томас и Катя по-прежнему игнорировали жену Ген-

---

[211] Здесь и далее цит. по кн.: Фейхтвангер Лион. Мудрость чудака… Указ. соч.

[212] Как уже отмечалось, в «Погоне за любовью» образ Клода Марена автобиографичен. Автор говорит о нем (о себе) так: «Он брал других женщин, но то жуткое опьянение, которое они обещали, он не испытывал» (Указ соч. С. 115).

[213] Марлен Дитрих спросили: «Что вы помните о Генрихе Манне, по роману которого был сделан прославивший вас фильм?» Звезда удивилась: «Я не знаю, о ком это вы говорите».

риха. В Америке Нелли почувствовала себя в мышеловке. Кроме всего прочего, за семьей Генриха следили агенты ФБР. Маннов подозревали в сочувствии коммунистам. Все, буквально все вызывало тревогу и страх. Подруга Нелли, актриса Салка Вертель, вспоминала: «Она боялась полиции. Живя с семидесятилетним Генрихом, она, сорокалетняя, боялась старости. Она боялась английского языка, который не могла освоить, и алкоголизма, с которым безуспешно сражалась»[214].

Нелли устраивалась уборщицей, но бросала работу, которая ей казалась унизительной. Снова потянулась за рюмкой, пьяная, гоняла ночью на автомобиле, это был вызов судьбе. Ее задерживала полиция, миссис Манн опять и опять пыталась наложить на себя руки. Через год после лечения в психиатрической клинике Нелли, наконец, удачно совершила самоубийство.

Генрих пытался спасти жену, в пьяном угаре проглотившую две упаковки снотворного. Такси останавливалось то у одной больницы, то у другой. Все отказали подозрительному старику, с трудом говорящему по-английски. В надежность чека иностранца никто не верил, наличные не принимали. Бедняжка Нелли так и скончалась в машине...

Муж пережил ее на пять лет. В молодости он написал роман «Учитель Гнус», а через годы повторил судьбу своего героя.

Генрих и Нелли были похоронены на кладбище в Санта-Монике. В этот маленький городок Генрих переехал после смерти жены, когда стало нечем платить за квартиру на окраине Лос-Анджелеса. Позже родственники писателя семью «разлучили». На родину в Германию отправился лишь прах Генриха.

Полвека спустя

Это случилось в самом конце двадцатого века – невероятное, но ожидаемое. В один прекрасный день архивист Мемориальной библиотеки Фейхтвангера при Университете Южной Калифорнии (USC) Марье Шютце-Кобурн совершила открытие. Разбирая один из тридцати тысяч томов, ранее хранившихся в резиденции Фейхтвангеров, вилле «Аврора», библиотекарь обнаружила папку эротической графики. В результате исследования было установлено, что это рисунки Генриха Манна, сделанные им в 1940-х. Тогда, пятьдесят лет назад, их аккуратно разложили по циклам, но потом, по-видимому, надолго забыли...

Кто знает, может быть, добиваясь правдивости и убедительности романа о Жан-Жаке, Лион Фейхтвангер перекладывал и вновь рассматривал листы с эротическими зарисовками, оставленными другом на бессрочное хранение.

Позже графика Г. Манна издана в виде книги[215]. Это 396 рисунков на оборотной стороне деловых бумаг компании «Уорнер Бразерс», разбитые на 30 циклов. Некоторые – «книжка в картинках». Дат нет, кроме одной: 7 марта 1942 года. На рисунке стоит надпись: «Лучшие подарки муз».

Толстая карандашная линия. Бережное обращение с перспективой и пространством. Фигуры по всей плоскости листа. Мужчины, женщины, разнообразные виды соитий...[216]

Почти все дамы на одно лицо: широкий рот, полные губы, крупные глаза, длинные ресницы, густые брови. Это, скорее, маски, или плоские, условно выполненные лица надувных кукол для сексуальных утех. Акцент на любимом фетише автора – это рот и губы. Они изображены так, что невольно заставляют вспомнить о Ехидне из средневековых бестиариев, «выедающей» у муж-

214 Evelyn Juers. Указ. соч.

215 Love Affairs… Указ. соч.

216 Составители альбома графики Г. Манна выбрали для книги удачное название: «Love Affairs and Tales of Atrocity». «Tales of Atrocity» – это не только «Рассказы о зверствах», слово «Atrocity» в современном английском (на городском жаргоне) ассоциируется с обозначением клана экстремально развращенных людей (NAMBLA), декларирующих крайнюю половую распущенность, современный либертинаж.

чины «тайный уд», бесстыжей Баубо, говорящей ртом-вульвой, или фривольных «Нескромных сокровищах»[217] Дидро.

Девы полуодеты, на них бусы, короткая комбинация, бюстгальтер. Конечно, корсет, он еще в молодости покорил воображение художника.

Доминирующая женщина... Повелительница, чей внешний вид соответствует темной внутренней силе. Холодный взгляд, туфли на высоких каблуках, яркий и агрессивный макияж, хлыст в твёрдой руке. Мужчина «любит глазами»... Корсет на Госпоже и Богине делает ее царственной и властной, придает фигуре мужские очертания.

Начиная с романа «Между расами», тема доминирования в любви стала у писателя любимой.

Немолодые, крупные, рыхлые, пышногрудые – вот каких любит Генрих. Стройные и нежные хрупкие девы, героини его ранней прозы, уступили место роковым дамам, бой-бабам бальзаковского возраста. Нагота? Лучше сказать, женщины голы. Тела не ведут диалога со зрителем, не распаляют инстинкты, чувственности – ноль. А мужчины находятся в подчинении, они благопристойно одеты, и всего лишь беспомощные, хилые идиоты.

Эти люди любят друг друга. Неправильно! – Совокупляются, занимаются сексом, разнообразным сексом. Но вот что удивительно: манновская графика в зрителе похоти не будит! Чувства мертвы. Художник просто документирует действия.

Что нам эти рисунки? Говорят, сделано человеком, учившимся в Италии, сто с лишним лет назад пытавшимся повторить божественную линию Боттичелли. Верится с трудом – неряшливо и неаккуратно!

А не проявление ли это невроза, старческой гиперсексуальности? Навязчивой мании, ведь кто только не видел[218] Генриха, рисующего голых женщин?! Нет, все-таки лучше убедить себя в другом!

С ноября 1940 по октябрь 1941 прежние надежды Генриха умирали. Манн ничего не знал об Америке, а Америка ничего не знала о Манне, они были чужды друг другу.

Старик прилежно ходил на работу. Над ним стояло начальство – контролеры, «ридеры» . Необходимо было периодически отчитываться. Один из менеджеров писал на полях: «Никогда не доводилось читать такой сложной штуки. Это отлично написано, но сгодится, пожалуй, только для книги, и только для немцев». Другой, держа в руках сценарий киноверсии «Молодых лет короля Генриха Четвертого», делал пометку: «Это, безусловно, заслуживает рассмотрения». Но господин Мэтьюс мнение младшего коллеги отнюдь не разделял. Вся эта Европа с ее дикой историей, странными религиозными войнами, ужасными и жестокими! Вряд ли это придется по вкусу американскому кинопотребителю!

Когда контракт истек, Генриха перевели на унизительную зарплату 18 долларов в неделю. Смехотворная сумма для дорогого Лос-Анжелеса! Вмешались знакомые, стодолларовую ставку восстановили, но это продлилось недолго...

Отчаявшийся Schriftsteller[219] часами в ступоре сидел за конторкой. Ничего не сочинялось, но рука держала карандаш и сама по себе продолжала работать. И это был текст, но текст иного рода – графический.

---

[217] Дидро Дени. Монахиня. М.: АСТ, 2011.

[218] Альма Малер-Верфель вспоминала, что слышала от Голо Манна, будто, навестив дядю, он застал Генриха рисующим пышногрудых голых красоток. Mahler-Werfel, Alma. Mein Leben. Frankfurt / M / 1963. P. 320.

[219] Schriftsteller (нем.) – сочинитель.

С детства их с братом приучили представлять прочитанное и задуманное в картинках[220]. Увы, сегодня из графического наследия братьев Манн мы имеем лишь крохи. Большое количество дневников погибло во время войны, а с ними безвозвратно утеряны и рисунки. Тем и ценна калифорнийская находка, что способна многое рассказать о последних годах жизни старшего Манна – времени изгнания, духовной изоляции, одиночества.

Вот она, папка: водевильные, бордельные, трактирные, оперные, цирковые сцены, политическая сатира, изображения литературных и исторических персонажей, подготовительные эскизы и наброски.

Снова Генрих перечитывает Вольтера. На рисунке остроумный насмешник в гостях у сластолюбивой герцогини дю Мэн[221], рассказывает ей весьма пикантную историю об одноглазом крючнике Мезруре[222]. Перевернем страницу, еще, еще одну. Принцесса Мелинада нечаянно оступается и падает навзничь, платье задирается, открывая Мезруру дивное зрелище. Стать очевидцем запретного – одно из самых любимых лакомств Генриха! И, наконец, художник рисует «сокрытое во тьме истинное блаженство Мезрура и мнимое злосчастье Мелинады».

За историей крючника следует цикл о Фридрихе Великом[223]. Это и закономерно, ведь похоронив маркизу дю Шатле[224], Вольтер отправился в Берлин, приняв предложение прусского короля, благоговевшего перед философом.

Перед нами разворачиваются сцены из ненаписанной драмы «Фридрих», работу над которой Генрих начал еще в начале 1942 года, несколько раз откладывал, вновь возвращался, но, похоже, так и не завершил[225]. Альфред Канторович, бывший директор Немецкой свободной библиотеки

[220] Виктору Манну удалось сделать 6 фото из «Книги с картинками», которую старшие братья привезли из итальянской поездки. С. Апт расценивает один из сохранившихся рисунков Томаса как иллюстрацию к рассказу «Луизхен», другой – к новелле «Маленький господин Фридеман». Третий рисунок, названный «Мать Природа», по мнению биографа Томаса Манна, впоследствии «оживет» в монологе Пеперкорна («Волшебная гора»). Томас создает образ «отталкивающего безобразия и губительности слепой… жизни». «Упершись руками в широкие бедра, нагло ухмыляясь и дразняще высунув язык, на нас глядит с рисунка старая шлюха. Нос ее напоминает свиное рыло, жидкие волосы растрепаны, лоб в морщинах, но она… убеждена в своей неотразимости, она глядит победительно и самоуверенно, она знает, что и сама ее мерзость способна завлечь» (Цит. по кн.: Апт Соломон. Томас Манн. М.: Молодая гвардия,. 1972. С. 23–24. – (Серия «ЖЗЛ»)).

[221] Герцогине дю Мэн, урожденной Луизе Бенедикте де Бурбон (1676–1753), внучке Конде, было около шестидесяти, когда, получив по завещанию замок Ане, она решила создать в нем литературный кружок. Времена, когда дама блистала в свете, собирая вокруг себя настоящий двор остроумия, увы, уже прошли. В 1746 г. по приглашению дю Мэн в Ане гостят Вольтер и его подруга-любовница герцогиня дю Шатле, а в следующем году они вновь наносят визит, чтобы поставить комедию к празднику Сен-Луи.

[222] Рассказ «Кривой крючник». В кн.: Вольтер. Философские повести. Пер. с франц. С. Брахмана. М.: Правда, 1985.

[223] Фридрих II Великий (1712–1786). Король прусский (1740–1786), один из самых видных деятелей в истории XVIII в., прославившийся как государь и писатель, как полководец и дипломат, которому Пруссия обязана своим возвышением как великая держава, и который играл первенствующую роль в международной политике своего времени.

[224] Вольтер жил в замке Сире у своей подруги маркизы дю Шатле, муж которой весьма добродушно допустил официальное сожительство блестящего поэта с супругой.

[225] Генрих Манн возвращался к «Фридриху» трижды – после написания романов «Лидице», «Обзор века» и «Дыхание». В октябре 1947 г. Манн сообщил Максимилиану Брантлу, что вскоре закончит составлять книгу, но для окончания работы понадобится еще шесть лет. Незадолго до смерти Генрих написал эссе «Фридрих, король прусский» (1949).

в Париже, позднее сожженной нацистами, а позже профессор немецкой литературы в Университете Гумбольдта в Берлине, был организатором возвращения Манна в ГДР. В 1947 году в письме к одному из друзей Генрих обмолвился, что его новое творение будет сопоставимо с «Анри» (так в переписке Генрих Манн называл дилогию о Генрихе Наваррском). Понятно, почему после смерти Манна Канторович так настойчиво добивался от Фейхтвангера пересылки рукописи «Фридриха». Какое глубокое разочарование пережил душеприказчик Генриха, когда среди четырех тысяч томов, содержащих двадцать две тысячи разного рода материалов, желанного текста так и не обнаружилось! Это были лишь разрозненные фрагменты.

Поэтому для нас графический текст о Фридрихе очень важен, ведь он дает представление о замысле автора драмы. Жестокий родитель на глазах семьи избивает принцессу Вильгельмину[226]. Лейтенант Катте[227], осужденный на смертную казнь за неудачный побег с наследником престола, прощается с другом. Молодой полковник стоит перед строем солдат. Прекрасная обнаженная графиня Ожельска[228] возлежит на кушетке, готовая отдаться королю-философу, королю-музыканту. А еще упоительно думать о ее любви к алкоголю, курению и многочисленным амурам! Какой простор для фантазии! Кроме того, говорят, графиня часто появлялась в мужском костюме и даже – в военной форме. Невольно возникают приятные аллюзии!..

Не все рисунки сохранились. В бумагах Генриха запись: «Поздние гомосексуальные наклонности Фридриха. Непринужденно показать, как эротические отношения с привлекательным ничтожным молодым человеком, подобно отношениям между мужчиной и женщиной, рождаются и с годами приобретают все большее значение».

Много, много ассоциаций с прочитанным и задуманным. Манон Леско с кавалером де Гриё, Дафнис и Хлоя, Шахерезада, Федра, Вертер. А это иллюстрация к роману «Голова», а вот сцена с качелями, сюжет с подглядыванием, особо любимый Генрихом и кочующий из романа в роман. «Будденброки», «Волшебная гора»... Томми, собственной персоной, сидит за пианино в музыкальной гостиной давосского санатория.

«Лидице», «Дыхание», «Плохая наследственность» – поздняя проза Манна тоже здесь. Сначала ее видели задники машинописных листов, зарисованные карандашом. Потом истории переместились в иные пространства – девственно чистые. Иногда один рисунок способен был родить два рассказа.

---

[226] Лист подписан «Семейная жизнь». Мать и старшая сестра восстанавливали Фридриха против отца. Королева София-Доротея конфликтовала с мужем, а принцесса Вильгельмина, связанная с братом узами тесной дружбы, провоцировала его на ссоры с отцом.

[227] Лейтенант Катте был другом кронпринца Карла Фридриха, не успевшего спастись бегством в Англию от тяжкого домашнего гнета. Обоих поймали и обвинили в дезертирстве. Катте по приказанию короля казнили на глазах у пленного кронпринца. Фридриха отец помиловал.

[228] Ожельска Анна Каролина (1706–1769). Политическая авантюристка, внебрачная дочь короля Польши, курфюрста Саксонии Августа Сильного (1670–1733) и мещанки французского происхождения Генриетты Ренар-Дюваль. Заслужила любовь и признание Августа не только своей исключительной красотой, но и невероятным внешним сходством с ним. В 1728 году во время визита в Дрезден прусского короля Фридриха-Вильгельма I Ожельска была представлена его сыну, кронпринцу Карлу-Фридриху, будущему Фридриху Великому. Красивая, лишённая комплексов женщина стала первой (и, вероятно, единственной) возлюбленной кронпринца. В начале 1729 года Ожельска тайно приезжала в Берлин, чтобы встретиться с прусским наследником; он посвящал ей стихи и музыкальные произведения собственного сочинения. Существует мнение, что Ожельска, общаясь с Фридрихом, выполняла задания разведывательного характера.

Все десять американских лет Генрих последовательно иллюстрировал литературные тексты. В эти годы в его эротике появилась новая, мрачная краска, восторжествовала мысль, что любовь неразделима с преступлением. Убедительное подтверждение этого – графические серии «Хильда, девушка Гитлера» и «Рассказы о зверствах».

В рисунках калифорнийской папки много личного, да иначе и быть не может. Мы уже знаем, что здесь есть портрет Томаса, были рисунки с Клаусом. А это лежит Руди в постели с общей женой-любовницей, а сам художник, «третий лишний», смущенно стоит в дверях...

На листе 293 запечатлен портрет Нелли, это бесспорно. Однако ее черты угадываются и в других женских лицах, иногда кажется, что только ее он и рисовал. На каком-то из рисунков Нелли надписала: «Если это не для Лиона, то лучше бы я умерла»...

Ну, а что сам Генрих? Он оставил много автопортретов. Пожалуй, самый выразительный из них – на листе, изображающем Саломею[229]. Вот она, обнаженная, красивая, желанная, несет на блюде отрубленную голову молодого возмутителя спокойствия, заносчивого пророка, всю жизнь проповедовавшего любовь.

[229] Саломея Уайльда и Манон Леско Прево – вот что такое Лулу Ведекинда, образ, покоривший воображение молодого Генриха.

Михаил ДМИТРИЕВ

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ

Публикация, предисловие Георгия Квантришвили

Там, где Волга, подковой обогнув Жигули, снова выправляет течение к югу, треть тысячелетия назад на правобережье был основан город. Чуть позже в тридцати верстах к северу от Сызрани разместилось родовое поместье Дмитриевых. Здесь родился будущий министр юстиции и генерал-прокурор Российской Империи Иван Иванович Дмитриев. Часто и подолгу бывал тут наездами из столиц, писал здесь стихи. Благодаря чему остался в памяти потомков скорее как литературный соратник и друг Державина и Карамзина.

«Поэты гораздо нужнее, чем политики. Самого захудалого поэта кто-нибудь да вспомнит. А кто вспомнит о худом губернаторе?» – съязвит племянник поэта Михаил Александрович Дмитриев. Племянник поэта и сам унаследовал дядину музу. Но талант дружбы с литературными знаменитостями не унаследовал. Михаил Александрович умудрился нажить врагов в Грибоедове и Вяземском, Белинском и Писареве, либералах и славянофилах, чиновниках и нигилистах. Впрочем, надобно ли рассказывать о том, кто способен рассказать о себе сам? Мемуары Михаила Дмитриева по праву считаются одними из значительнейших свидетельств о своей эпохе.

Вслед признанию заслуг за мемуарной ипостасью Михаила Дмитриева справедлива была бы реанимация ипостаси поэтической. Литературная деятельность Михаила Дмитриева длилась полстолетия, выбор какой-либо части наследия для начала знакомства неизбежно субъективен.

Стихотворный цикл «Деревенские элегии» увидел свет лишь единожды, еще при жизни автора, в авторском двухтомнике. Он писался в родовом поместье, куда поэт вернулся после многолетней службы, окончившейся карьерной катастрофой. В конфликте с помощником шефа корпусов жандармов уверенный в своей правоте Дмитриев не уступил. Итогом был выход в отставку без пенсии. Стихотворения, составившие цикл, начали писаться по приезде 52-летнего поэта в село Богородское, в 53-летнем возрасте к написанной дюжине добавлено еще два стихотворения.

«...[Ч]еловек никогда не бывает доволен совершенно: всегда чего-нибудь недостает ему! – Мне недоставало просвещенного общества и литературного круга, к которому я привык с молодости. И это-то самое чувство неудовлетворенной потребности умственной и потребности общежития выразилось в моих «Деревенских элегиях»! – Рассудок бывает часто в противоречии с чувством. Следуя рассудку, можно было сказать, что никогда я еще не пользовался такою спокойною жизнию, как в это время: независимость от службы, полная свобода, чистый воздух, зеленый сад – я имел именно то, о чем вздыхал, живучи в Москве; уединение я тоже любил; но совершенное отчуждение от людей и от центра просвещения – вот что было тяжело в этой жизни!

А теперь пишу я эти строки опять в Москве и рвусь в деревню...» – таковы комментарии поэта на склоне лет.

Дюжину лет спустя, в январе, 63-летний поэт завершил цикл шестью стихотворениями. Еще пять лет спустя подоспела оказия их публикации.

Публикация осталась незамеченной. Кому пришло бы в голову читать стихи дряхлеющего аристократа из провинциального поместья в десятилетие, главными словами которого были «разночинцы» и «нигилизм»?! В следующем году Михаил Дмитриев был похоронен на кладбище московского Данилова монастыря. В тридцатых годах следующего века захоронение уничтожено. Делались попытки разорить и родовое поместье, достигшие успеха не полностью: еще видны следы сада, рассаженного поэтом, и одно из помещений (для дворни, ныне – жилой деревенский дом).

Церковь с родовой усыпальницей также осилить не удалось, вызванные на подмогу саперы, осмотрев колокольню, сказали, что скорее на воздух взлетит все село.

В мировой сети из двух десятков элегий пока циркулируют лишь шесть (половина – благодаря нашей публикации в самарском журнале «ЛитСреда»), из них элегия XVIII удостоена наибольшего читательского внимания. Шестнадцать элегий из цикла перепечатывались в книге, завершившей почти полуторастолетнюю паузу книжных изданий М.А. Дмитриева: «Московские элегии», М., 1985. Отсутствие в ней элегий IV, V, XII и XIII, к тому же более тридцати лет, прошедших после издания, делают актуальной републикацию «Деревенских элегий» – и впервые именно как целостного цикла.

Остается добавить, что Михаил Дмитриев, составляя цикл, не придерживался строго принципа хронологической последовательности составных частей. Для читателя, который пожелал бы при перечитывании восстановить этот принцип, дается ключ: после первых шести элегий должна бы следовать XV-я, далее после девятой XI-я и вслед ей XX-я, за десятой XIX-я и за четырнадцатой XVII-я.

Dilexi justitiam, et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio[1].
Greg. VII

Si quis in hac ipsum terra posuisset Homerum, Esset, crede mihi, factus et ille Getes[2].
Ovid. Nas. Ex. Ponto. L.4. ep. 2.

I

Чего желал бы я теперь, мои друзья!
Не смейтесь! – На пример, желал бы очень я,
Надев мой черный фрак красиваго покрою,
Сказать: «Карету!»[,] сесть, проехать мостовою,
Между двойных рядов блестящих фонарей,
Войти в гостиную, где целый рой гостей
Хозяйку окружил, сидящую за чаем;
Где зелень и цветы и в зиму дышат Маем;
Где в каждом уголку душисто и светло;
Где бронза и фарфор; паркеты, как стекло!
На вычурных столах роскошныя изданья;
И где, сквозь гул речей, и смех, и восклицанья,
Услышишь Байрона и Гете имена;
Где все замолкнет вдруг, и в тишине слышна
Речь звучная чтеца, песнь новая поэта,
И снова гул речей, блестящий говор света!
Вам это нипочем! – Придет зимы пора,
И придут в свой черед, как прежде, вечера,
И может быть, как мне к концу зимы[,] бывало,
Они наскучат вам! – Вам этой жизни мало!

[1] « Я любил правосудие и ненавидел беззаконие, поэтому протестую в ссылке» – слова папы Григория VII, потерпевшего поражение в борьбе с императором Генрихом IV.

[2] Если б на этой земле самого поселили Гомера,
Он превратился бы тут в дикого гета, поверь.
Овидий Назон. Письма с Понта. Книга IV. 2. Северу. Перевод Надежды Вольпин.

А не хотите ли попробовать моей?
Избави Боже нас, в невинности своей,
Жить этой сельскою хваленой простотою,
Жить этой жизнию, заботливо-пустою,
Жить идиллически – без сердца и ума!
Вот – ляжет в саване безмолвная зима
И спит! – И жизнь заснет! – лишь вздох невольной груди
Вопросит иногда: «где я?.. где эти люди,
И этот мысли лоск, и этот мнений шум,
Где все на что-нибудь – талант, душа и ум!»

29 Окт. 1848. с. Б.

II

Когда за скучным днем ночь тихая приходит
И благодатный сон видений мир низводит,
Желал бы и во сне я видеть – все Москву,
И вас, кого всегда в мечтах моих зову,
Чтоб на две жизнь моя делилась половины:
Пусть днем бы был в глазах край дикий и пустынный[,]
А ночь, виденьями любимыми полна,
Была бы и Москве и вам посвящена!
О! я доволен бы вставал опять на скуку,
Чтоб снова подавать во сне вам дружбы руку,
Чтоб видеть всякой раз желанную Москву!
Не все ли жить равно – во сне иль на яву?
Прекрасный сон, когда желанным дышет раем,
Не лучше ль истины, с которой мы скучаем?..

5 Ноября 1848. с. Б.

III

Сад снегом занесло: мятелица и вьюга!
И это всякой день! Нет мыслящаго друга.
Кому мне передать со скукою борьбу?
Ветр воет и свистит в каминную трубу!
Читаю и пишу все утро до обеда;
Но с книгами, с пером – безмолвная беседа!
Мне нужен разговор; его-то здесь и нет!
В двенадцати верстах от нас живет сосед,
Забытый человек котораго-то века.
Поехал посмотреть живаго человека –
К нему – проезду нет! Снег по-грудь лошадям,
В ухабах – пропадешь; как по морским волнам
Кидает каждый миг ныряющия сани!
«Пошел назад!» – А там, подалее к Сызрани,
Где верст пятнадцать степь в длину и ширину,
Обоз и спутники, в ночь вьюжную одну
Дорогу, как в степях Сагары, потеряли,

Увязли, и в снегу рассвета ожидали!
Той ночью волк поел у мельницы гусей,
А нынче на мосту перепугал людей!
Вот наши новости! – О людях уж ни слова!
Подкатится к крыльцу вдруг тройка станового...
«О! чтоб его совсем!» – «Поставьте самовар;
Да рому!» – Вот чем здесь поддерживают жар
И тела, и души! – О родина святая!
Чье сердце не дрожит, тебя благословляя!

9 Февр. 1849. с. Б.

IV

Все грезится еще мне прежней жизни сон!
Вы помните, друзья? – Весь Кремль народом полн!
И звон торжественный над древнею столицей!
В мундирах золотых, пред матерью-царицей,
Мы все в соборный храм вступаем по два в ряд;
Вся гвардия в ружье! – Торжественный обряд
Коронования свершается владыки!
Гром пушек; радости исполненные клики!
И вот выходит царь, в порфире и венце.
Звон, залпы, крик: ура! – А радость на лице
У каждого в толпе необозримой блещет,
И сердце каждаго надеждою трепещет!
А день – прекрасный день! – А мы – во цвете лет,
Довольны, веселы и думаем: наш след
Весь будет торжество такое же, как ныне!
О! грустно мне теперь, забытому, в пустыне!
Взглянул в мое окно сквозь тусклое стекло:
Вьюгами зимними все поле занесло;
Степь снежная лежит, недвижная, немая,
Необозримая, безлюдная, пустая!
К кому моим словам отсюда долететь?
Кто слышит этот звук? – Здесь страшно умереть!

18 Марта 1849. с. Б.

V

Упрямая зима! – Точь-в-точь народ упорный,
С которым я живу! – Обычаю покорный,
Ленивый – и труда, и всякой мысли враг,
Упрется в чем, и стал, не сдвинешь ни на шаг!
Засело в голове – не выбьешь и долбнею;
А новой истиной, понятной и простою,
Которую у нас поймают на лету,
Не думай убедить глухую простоту!
Упрямая зима! – Лежит себе лениво,
Не сходит! – А давно сошник трудолюбивый

Готов; из теплых стран слетелись уж грачи,
Ждут солнца и тепла. Но тусклые лучи
Не в силах растопить ея снегов глубоких!
Так просвещение из стран своих высоких
Бросает тщетно луч на закоснелый край!
Ключ к ржавому замку, как хочешь, подбирай:
Не входит ни один! – где грубый быт заржавел,
Не своротить его, как на своем поставил!

31 Марта 1849.

VI

Ночь с вечера была морозна и ясна!
Вот стала в высоте и полная луна;
Снег яркий отливал ночною синевою,
И тени, черною и длинной полосою,
Легли от двух церквей, белеющих вдали.
Вдруг с севера заря! – и по-небу пошли
Кровавые столбы! – согнулися дугами,
Рассыпались в лучах потешными огнями,
Слились, и вспыхнули! – Поверье, что к войне!
Я вышел на балкон; но грустно стало мне!
Огни погашены; село давно уж дремлет;
Безжизненная глушь! – Однообразно внемлет
Мой слух голодный лай собак сторожевых,
Да караульный звон! – Но вот и он затих!
Один кричит в саду неугомонный филин!
Все спит! – Как ночь светла! – Мороз однако силен!..

31 Марта 1849.

VII

И почта не пришла! – Жду писем от детей;
Жду вести, может быть, от вас, моих друзей;
Жду голоса Москвы, с издетства мной любимой,
Где незаметно дни мои промчались мимо,
Как говорят в стихах, до сребреных власов!
Вот и на мне уже лежит печать годов;
А больше горестей! – Я пережил немало;
Но сердце под грозой мое не увядало,
Но дух под бурями сберегся свеж и юн,
Но дар веселости и непритворных струн,
Но в дружбе живость чувств, в беседе мыслей живость:
Вот чем я побеждал судьбы несправедливость!
За них-то здесь боюсь: страшна мне старость их!
Привычку покорить лишь в летах молодых
Легко; но гибкость их давно мне изменила!
Мне весть с Москвы была – живительная сила!
А почта не пришла! – То слякоть, то снега;

Весной – разливы рек; зимой – степей вьюга!
Бог знает, правда ли! – Мы здесь среди природы
Живем, забытые; ждем у моря погоды!

2 Апр. 1849 с. Б.

VIII

Мне кажется, когда здесь люди в первый раз
Явились на житье, и дичь им поддалась,
И начали леса редеть под топорами,
И стали жить они с медведями, с волками,
Тревога страшная должна произойти
У прежних жителей: куда от них уйти!
Но вскоре все меж них уладилося дружно!
Тут доказательства, мне кажется, не нужно!
С аборигенами пришельцев новый род
Слился в одно: теперь никто не узнает[,]
Который новый род, который самый древний!
Волк тутошный придет и ходит вдоль деревни!
А человек глядит медведем и мычит!
Но всмотришься: лицо! и что-то говорит!

12 Апр. 1849.

IX

Здесь есть у нас зверок; живет он под амбаром!
Счастливец одарен завидным самым даром
Для здешняго житья! – Шесть месяцев проспит;
Весна – он из норы выходит и глядит
На травку свежую, на зелень молодую!..
С зимой он незнаком; и сторону глухую
Считает раем он, который круглый год
Под солнцем и теплом и зелен, и цветет!
Но нынешней весной и он, сойдя с ночлега,
Ошибся несколько! – Глядит: сугробы снега!
«Что это!»– думает с досадой знатока:
«Вот спал, да выспал что!» – Однакож для сурка,
Котораго тепло обрадует весною,
Все лучше здесь, чем нам, с разумною душою!

11 Апр. 1849.

X

Нет! худо и ему! – Напрасно же в поэте
Он зависть возбудил! – Его уж нет на свете!
Бедняк! кому вредил он жизнию своей?
Был смирен, боязлив; и из руки моей
Насилу приучил его я хлеб есть чорный,
Который наш петух, и бойкий и проворный,

Нередко, наскочив, нахально отнимал
Из самых лап его, покуда он глодал!
Его уж нет в живых! – И кто же! сторож храма,
В ограде мирных стен молитв и фимиама,
Его убил! – За что? – Да так, как автомат,
Чай, поднял руку, хвать! – Попробовал! – Солдат
Привык не размышлять, и бить, кого попало!
«Зверь, как его не бить!» – А чувства – не достало!

4 Июля 1849.

XI

Вот наконец весна! Тепло, и солнце снова!
Но снег еще лежит у тына садовова,
И снег еще в лесу белеет на горе!
Нигде нет зелени; а сухо во дворе,
И птички гнезда вьют! – В саду деревья голы;
Но уж чиликает на ветвях рой веселый!
О русская весна! куда-то ты бледна!
Куда печальна ты, о русская весна!
За Клейстом в след и нам[,] бывало[,] в прежни леты
Весну, весну поют старинные поэты!
Но не картинна здесь, не радостна она!
Растает лед в пруде, и грязная волна
Помчит навоз, прорвет у мельницы плотину,
Сломает старый мост – и кончила картину!
А там – настанет труд, труд тяжкий, потовой:
Пойдет соха; пройдет клячонка с бороной,
И выгонит пастух в лохмотьях – стадо в поле;
А зелени все нет! – Бредет, как по неволе;
Ни песен, ни рожка, лишь хлопает кнутом!
Насилу наконец оденется листом
Береза; а потом, когда позеленеет
И липа – только тут земля помолодеет!
Лениво на Руси приходит к нам весна!
О красная весна! куда-то ты бледна!

14 Апр. 1849.

XII

Дождя ни капли нет! – Крестьянам, братье нищей
Сухая грудь земли отказывает в пище!
Который год уже у нас неурожай,
Хоть нашей стороны степной, далекий край
За хлебный изстари преданием прославлен;
И тот же самый миф недавно был поставлен
В отчетах! – Говорят: «Не грянет Божий гром,
Мужик не осенит лице свое крестом!»
Гром Божий всякой день; а тучи идут мимо!

В тяжелом воздухе – все душно, недвижимо,
Как будто позабыл небесный нас Отец!
Вот православные решились наконец!
Молебен о дожде! – Несут кресты, иконы,
Хоругви подняты – церковныя знамены;
В парчевых ризах поп и дьякон рядом с ним
В нарядном стихаре; и фимиама дым
Его рукой к Творцу возносится, кадильный!
За ними, полосой пестреющей и длинной
Народ! – Прекрасная картина для очей!
И в умилении сонм Божиих людей
Колена преклонил, в безмолвии внимая
Мольбе – и грудь крестом широким ограждая,
И вторя вздохами возгласам эктиньи:
«Пошли, о Спасе, дождь в грудь жаждущей земли».
И тучи собрались, и небо потемнело,
И ливнем к вечеру все поле зашумело!
О еслибы на дух подействовать возмог
Небесной милости столь видимый залог,
И навык победить наследственный народа!
Но нет! упорна в нем животная природа!
Вот праздник на дворе! – Забыт минувший страх!
Забыта благодать[,] нисшедшая на днях,
Дар милосердия, плод кратких сокрушений!
Гульба, крик, песни, брань – и море по колени!
Как мухи осенью, весь православный люд
Тащится по грязи; и к ночи чуть ползут;
И спят, где кто упал, хмель к утру высыпая,
И целой улице сон храпом возвещая!

16 Янв. 1860.

XIII

Ночь поздняя сошла за медленной зарею!
Давно храпят отцы; одолены дремою,
Давно с завалинок, зевая, убрались
И матери: все спят! – А девицы сошлись
С закатом солнышка с парнями в хороводы,
И на пролет всю ночь звенит их песнь природы,
Однообразная, протяжная, как вой!
Поют: как старый муж колотится с женой;
Как дочь от матери гуляет потихоньку;
Как злая – со свету сжила свекровь бабенку;
Как бьет и за-косы таскает муж жену,
Где просто в знак любви, а где и за вину;
Как подколодныя змеи и колотовки,
Колотят и грызут сноху свою золовки;
И эта нравственность – идет из рода в род!
А хоровод идет, чуть двигаясь, вперед;
Потупя головы, рука с рукой, ступают,

Без жизни, как на казнь – и пляской называют!
Им весело! – А ночь темнее, и темней,
И благосклоннее; и сон бежит очей!
Невинность сельская при свете дня стыдлива:
День говорлив; а ночь скромна и молчалива!
И слышно издали, сквозь песни иногда
Где хохот прогремит; где взвизгнет красота!
И жмется в темноте невинная голубка,
Прикрытая милым полою полушубка!
А там, где на задах приютов уголки,
Мелькают и манят по кельям огоньки!

17 Янв. 1860.

XIV

И путник, едущий дорогой столбовою,
Услышав дальний хор, и осенен мечтою,
Быть может сладостно воспомнит давний сон,
Когда в младенчестве слыхал те песни он,
И, придержав коней, обманом насладится!
О! пусть ему обман счастливый продолжится!
Вот, миновав село, он снова поскакал!
Скачи, минутный гость! – Меж тем уже зиял
Широким заревом весь свод небес над ними,
Над этими людьми, веселыми, простыми,
Всегда безпечными, особенно в те дни,
Как разгуляются, запразднуют они!
О жалкий люд! – Пойдет с зажженною лучиной,
Воткнет в солому, в тын: забудет; а причиной
Все воля Божия! Все случай виноват!
На утро, где был пир, лишь головни горят!
Но к осени опять село кой-как построят!
И осторожности нисколько не удвоят;
И в праздник сельский вновь такая же гульба!
Не всякой же ведь год карает нас судьба!
Ковш пива, штоф вина – мужик забыл тревогу!
А праздник Господа – он празднует не Богу!

19 Янв. 1860.

XV

И рощи темныя, и светлыя долины,
И каменистых гор лесистыя вершины,
Здесь все есть для тебя, причудливый поэт!
Чего недостает! – О! многаго здесь нет!
Нет вас! – Привычных дум живаго нет раздела!
Внезапной мысли нет, которая б вскипела,
И мигом вспыхнула в внимающих очах!
Что горы и леса! – Есть много лучших благ!

Здесь люди добрые по-своему счастливы!
И Лафонтен сказал: «Деревья молчаливы!
Что лес внушает мне, нельзя не пожелать,
Чтоб кто-нибудь тут был, кому бы передать!»

1 Апр. 1849.

XVI

Я видел нравы здесь не только в деревнях!
Здесь сильных нет страстей! – В столичных городах –
Там гордость тонкая; там честолюбья жало;
Там роскошь вкуса; там – искусства покрывало
Блестит на всем! А здесь – корысть, пороков мать,
Одна господствует, кладет на все печать!
Здесь роскошь – тяжела; жизнь мутная, без шума,
Без блеска движется; надежда, или дума,
Не оживляет мысль, и духа не гнетет!
Здесь для дохода жизнь; а не для ней доход!
Здесь не в почете ум, талант, наука, честность;
Заслугой для граждан – не приобресть известность!
Одно богатство здесь великой честью чтут!
Ум не заметят здесь; таланта не поймут;
Наука – цвет во ржи, и вредный, и безплодный!
А честность, а порыв высокий, благородный,
Всем ненавистные, помеха и упрек,
Бревно, лежащее дороги поперек!

22 Янв. 1860.

XVII

Далеко от Москвы, в объятиях природы,
Где мирно я скучал в младенческие годы,
И в старость тошно мне с природою родной!
Однообразен быт, не ласков взгляд людской!
В них сердце бедное, как руки, зачерствело,
И зеркало души – как будто потускнело!
В чем день проходит мой? – И радостно ли с ней,
Прославленной в стихах, картиною полей?
О нет! – Поедешь в лес – там не густыя сени
Манят тебя под свод своей прохладной тени;
А смотришь, нет ли где порубки; за тобой
Полесовщик трясет на кляче бородой!
Глядишь ли на поля, на нивы молодыя,
Как ветр волнует их колосья золотыя,
И за волной бежит красивая волна,
Боишься, чтобы ветр не выбил их зерна!
Здесь нива хороша тогда лишь, как смолотят,
Да всыплют хлеб в амбар, да лишний рубль сколотят!
Вот здесь и я уже – на рощи, на поля,

Смотреть корыстно стал: такая здесь земля!
Там бьет ключом родник холодный, и глубокий,
И посреди села запружен пруд широкий,
И жорнов мельничный, вращаем колесом,
Шумит без устали; и льется молоком
Из-под него мука согретою струею;
А ветлы, наклонясь над синею водою,
Плотину берегут упором их корней!
Остановился бы: картина для очей!
А спросишь: много ли помолу; или к сроку
Сполна ли заплатил наемщик треть оброку!
Жизнь жалкая души! – А я, я в те лета,
Когда обманчиво лелеет нас мечта,
Я тоже пел леса и золотыя нивы;
И родину мою, неведеньем счастливый,
За Шиллером во след, Аркадиею звал!
Вот та Аркадия! – Теперь, когда узнал,
Страну, где труд, корысть, невежество, да взятки,
Я из Аркадии – бежал бы без оглядки!

19 Янв. 1860.

XVIII

Как жили деды здесь, довольные пустыней
И счастливы? – Друзья! тогда не то, что ныне!
Вся Русь была одно! – Но чудною судьбой
Одна часть выбрита; другая с бородой!
Та – за Европою летит на крыльях пара;
А эта, не приняв божественнаго дара
Науки, приросла упрямая к земле,
И по-уши сидит в своей родимой мгле!
Сойтись ли вместе им? – А если и сойдутся,
Узнают ли они родство, когда очнутся?
Узнать ли братьев в них? – Ужели навсегда
Той Руси эта Русь останется чужда?
Нет! не виновны мы, что вопреки природы
Мы стали разные, два чуждые народы!
Потребность прадедов была не широка:
Была бы только жизнь животная легка!
А нам – простор ума, полет привольный духа,
И многое, что их не щекотало слуха!
Хозяйствуя, трудясь, по крайнему уму,
Нас деды и отцы учили не тому;
А наряжали нас чужих земель в обнову:
На европейский лад учили мысли, слову!
Увы! мысль и досель не сказана сполна;
А слово – выпустит с запинкою страна,
Да и смолчит! – Оно, конечно, безопасно!
И видим мы давно, что многое напрасно,
Да поздно; и назад идти мы не хотим!

Вперед! – А наш народ, без власти недвижим,
И пятится! – И вот, истории в угоду,
Мы в тягость нам самим, чужие мы народу!
И душно, и темно в родимой нам глуши!
Нет света для ума, простора для души!

23 Янв. 1860.

XIX

Ни мысли в голове, ни чувства в сердце нет!
И ты воображал, что ты рожден поэт?
Попробуй мыслию высокой и свободной
Блеснуть теперь в душе твоей простонародной!
Нет! чувствую, что сон тяжелый и пустой
Лежит над этою забытой головой!
О память, горький дар! – О сладкое забвенье!
Приди и осени мое уединенье
Непроницаемой завесою своей,
Чтоб мог я все забыть: и место, и людей,
И где, и с кем живу, чужой в родимой сени,
И жизнь, погибшую для умных наслаждений!
На то ль я укреплял наукою мой ум,
На то ль от зрелых лет копил глубоких дум
Трудом добытое, бесценное стяжанье,
Чтоб старость погребсти, без слуха, без вниманья!

2 Дек. 1849.

XX

Мне стыдно наконец, что с грусти я шучу,
Что в шутке иногда как будто бы ропщу!
Мне стыдно слабости, несвойственной для мужа!
Как тело здравое нам укрепляет стужа,
Так и холодное дыхание судьбы
В нас сердце укреплять должно бы для борьбы!
Борьба с судьбой – без ней победы нет для духа!
Что скажут обо мне! – Кто? – до чьего же слуха
Ты думаешь, поэт, достигнет голос твой?..
Ты твердость показал в борьбе и не такой,
В борьбе с неправдою, в борьбе не безопасной,
И то пошло на дно и кануло безгласно!
Кружок приятелей в полголоса лишь смел
Поздравить, рад душой, что ты остался цел!
Шути, или ропщи; будь тверд, иль колебайся:
Всем нужда до себя! – Пиши, не опасайся,
Не бойся, чтоб глухой услышал голос твой,
Чтоб мнение сказал когда-нибудь немой!

23 Апр. 1849.

Денис ЛИПАТОВ

ЧТО МЫ УВИДИМ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ НОЧЬ?

Игорь Караулов. Конец ночи: Сборник стихотворений. – М.: Издательство «СТиХИ», 2017. – 87 с. – («Срез». Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт»).

Книга стихов Игоря Караулова «Конец ночи» не из тех, прочитав которые, говоришь: «Ах, как хорошо!» и умиротворённо откладываешь их в сторону, испытывая к автору благодарность за подаренную «встречу с поэзией». Нет, ты, конечно, переворачиваешь последнюю страницу, но умиротворения не чувствуешь, сидишь как на иголках и вместо «Ах, как хорошо!» говоришь «Нет, постой, постой!» и... хватаешь книгу снова, начинаешь перелистывать, искать стихотворение или строчку, которые вдруг не дают покоя и умиротворения. Это серьёзная книга. Не для чтения на диванчике в часы досуга, ну т.е. можно начать и на диванчике, но на первом же стихотворении придётся вскочить, сесть за стол, сосредоточиться и, настроившись на серьёзный и временами даже резкий разговор, про досуг забыть.

Ну начать, хотя бы, с названия: «Конец ночи». Что это? Конец ночи – это ведь утро, начало дня? Но книга не названа ни «Утро» ни «Начало дня», а названа она именно «Конец ночи». Разумеется, что и «Утро» и «Начало дня» – названия негодные теперь уже даже для молодого, начинающего и сколь-нибудь соображающего и уважающего себя поэта: слишком отдают они глуповатым оптимизмом, желторотой наивностью, неосведомлённой восторженностью. Но тем не менее эти смыслы – «утро», «начало нового дня» – они в названии «Конец ночи» присутствуют, но, безусловно, определяющими не являются: «Конец ночи» это что-то ещё. А что же? Даже не открывая ещё книгу, попробуем предположить: есть в этом названии что-то настораживающее, даже угрожающее, будто предупреждающее: «Будь осторожен! Соберись!». Но вместе с тем ощущается и нечто обнадёживающее. «Конец ночи» – это и правда завершение некоего «тёмного времени», когда с каждым могло произойти всё что угодно, поэтому, кажется, можно немного перевести дух и позволить себе некоторую надежду на лучшее, но вместе с тем – мы ещё не знаем, что в эту прошедшую ночь произошло, с чем нам теперь жить, что мы увидим вокруг себя, когда темнота рассеется окончательно и над горизонтом взойдёт солнце. А вдруг мы увидим вокруг себя Освенцим? Собственно, мы его и видим. Именно так называется, открывающее книгу стихотворение. (Стихотворение «Олень», размещённое перед «Освенцимом», на крафтовой бумаге и представляющее собой автограф поэта, воспринимается как бонус, а не составная часть основного корпуса текстов. Не знаю, такова ли была задумка автора, но первым стихотворением книги, задающим всю её тональность и настроение читателя, безусловно, является «Освенцим».) Картинка в «Освенциме» вроде бы весёленькая, даже забавная: какие-то то ли мультяшные, то ли комиксовые персонажи Поросёнок, Белочка и Опоссум, совершая, видимо, автомобильную прогулку по Европе, в Польше пропустили поворот на Освенцим, «который так ценят и чтут эксперты из Lonely Planet». (Заметим мимоходом, что они ехали не специально туда, а «решили заехать», т.е. уж и туда заодно.) Это становится причиной небольшой ссоры:

– Ну, ты остолоп! – говорит опоссуму белка, –
А мы так мечтали...

Но опоссум успокаивает белку:

На обратном пути, когда нам уже надоест
перемена мест, вереница гостиниц, вин,
когда будет тошнить от барочных палаццо,
полотен Уффици, бесконечных шедевров
Бернини,
от прошьютто ди парма и от дешёвой пиццы, –
тогда мы заедем взглянуть на слепящий
фронтон...

...
Это будет ударный аккорд,
удачный задел
на новый рабочий год.

Налицо картина абсолютного, ничем не омрачаемого праздника жизни, где под занавес можно заехать и в музей Освенцима, ну так, видимо для контраста, пощекотать нервы, чтобы праздник был нагляднее, чтобы не так уже «тошнило от барочных палаццо». Для Белочки, Опоссума и Поросёнка – весь мир музей и бесконечный праздник. Даже их нарочито несерьёзные – мультяшные – имена, сообщая нам об инфантилизме героев, призваны создать эту атмосферу праздника, комфорта и «лёгкой жизни». Инфантилизм же героев выражается в том, что система культурных приоритетов в их сознании абсолютно разрушена: здесь, в их мире, в их сознании, полотна Уффици рифмуются с дешёвой пиццей – очевидно, что они для Белочки, Опоссума и Поросёнка равноценны – они просто составляющие их мультяшного праздника. Это – мир-комикс. Это – жизнь-комикс. В таком мире, кажется, ничто и никто не может угрожать, а если и может – то «понарошку». Тем оглушительнее становится открытие поросёнка Пигги. Он вдруг понимает самую главную причину, почему не следует расстраиваться, что поворот на Освенцим пропущен. Открытие его настолько ошеломляющее, что о нём сообщается только читателю, но не попутчикам: Освенцим и так вокруг них. Кругом, куда ни посмотри. Они в этом Освенциме живут. Пигги «взрослеет» буквально на глазах читателя:

Поросёнок сидит на заднем сиденье
и молчит, погружённый в иные виденья.
Говорил ему дядя из Минска,
Антон Рейхельблат:
– Мир – это огромный мясокомбинат,
и даже когда тебя селят в роскошном палаццо,
какие-то люди с ножами хотят до тебя добраться,
приложить к тебе мерную рейку,
расчленить на грудинку, филе и корейку,
а копытца и уши отрезать на холодец.
Но и это ещё не конец, мой наивный Пигги.
потом твою нежную шёрстку пустят на щётки,
Чтобы чистить от пыли чьи-то уродские шмотки,
а розовой кожей обтянут великие, мудрые книги:
о любви, о спасении, о воскресении,
о вечной жизни в высшей блаженной лиге.
(«Освенцим»)

А как ещё, если не Освенцим, можно назвать мир, где кожей убитого обтягивают «великие, мудрые книги о любви, о спасении, о воскресении...»? Это, конечно, Освенцим другого рода, если допустимо так выразиться – «духовный Освенцим», который люди устраивают друг другу. Если развить эту мысль дальше, то вероятно «Освенцим» как таковой никогда и не заканчивался, он продолжается и сейчас, возможно, он никогда и не «начинался», а был всегда?

Заметим также, что присвоение мультяшных имён персонажам, резко противопоставляемое рисуемой картине «мир – это огромный мясокомбинат», является очень удачным художественным решением. Благодаря такому сильному ходу Караулову, похоже, удалось избежать сакраментального упрёка: «автор пугает, а нам не страшно».

Не упустим из виду и видимый «невооружённым глазом» полемический момент с высказыванием Адорно о невозможности поэзии после Освенцима. Если бы автор вполне его разделял, то следующие после первого стихотворения 74 страницы должны были бы оставаться пустыми. Но они заполнены стихами. Значит возможна? Разумеется. Но другая. Заметим попутно, что «стихотворение-бонус» – «Олень» – предшествующее в книге «Освенциму» и так опрометчиво и поспешно исключённое нами из основного корпуса текстов, возможно, имеет целью дать некоторое представление о том, чем была поэзия «до Освенцима». Ещё более укрепляет нас в уверенности о правоте подобной догадки и то обстоятельство, что «Олень» формально вполне «традиционное» стихотворение – три катрена, перекрёстная рифма и т.д., а тексты, расположенные после, – они другие.

Рифма если и присутствует в них, то чаще спрятана внутри текста и обусловлена некой словесно-смысловой игрой, ослепительным контрастом рифмующихся слов – ну, как и было завещано – «поэзия сопряжение понятий далековатых» (как в первом стихотворении: «Уффици – пиццы»). Сами по себе стихотворения представляют собой развёрнутые повествования-размышления. Не уверен, могу ли назвать их верлибрами, (хотя формально это в основном они и есть) – настолько они ярки, вещественны, выпуклы в отличие от большинства стихотворений, которые обыкновенно и называют теперь верлибрами – зачастую скучноватых, затянутых, замкнутых на себе, с «глазами вовнутрь».

Опять же, не зная авторского замысла, возьмём на себя смелость предположить, что следующие после «Освенцима» стихи композиционно являются как-бы «станциями», «остановками» в путешествии героев первого стихотворения. Иногда это и вполне географические объекты – например, есть остановки «Копенгаген», «Остенде», Люксембург («Посв. Дм. Данилову») или окраина Ливерпуля (в стихотворении «Играем Гамлета») – но и в этих и в остальных случаях это, прежде всего, путешествия на «край ночи» человеческой природы. Порой оказывается, что, несмотря на всю вещественность окружающего мира (автор и впрямь очень внимателен к деталям, предметам быта, читатель не блуждает среди бесплотных образов, а находится именно в вещественном мире), основным свойством этой природы, как это ни парадоксально, является – пустота, отсутствие героя:

Что тебя нет, ты, наверное, уже понял.
Остаётся тебе втолковать, что это нормально.
Что твоё существование, напротив,
было аномалией,
вредоносной программой, вирусом или багом.
(«Тебя нет»)

А самое грустное открытие иногда состоит в том, что так даже лучше и никому от этого не стало хуже:

жизнь
будет жить теперь
сама себя и сама по себе.
И наверное, ещё только начинается.
(«Жизнь без неё»)

Настолько никому не стало хуже без тебя, что тебе прямым текстом так и говорят: не приезжай! Так называется ещё одна «станция-стихотворение» – «Не приезжай»:

Режиссёр командует «снято»,
но ничего не снято.
Кардинал возглашает «свято»,
но ничего не свято
(«Не приезжай»)

Апофеоза тема пустоты достигает в стихотворении «Лучший чай»:

Наконец, появляется экипаж.
В нём едет его величество пустота.
Змеи нашёптывают: сейчас или никогда!

Софья взмахивает платком.
Николай бросает газетный свёрток.
Игнатий бросает газетный свёрток.

И они застывают в движении.
Их затягивает пустота,
Засасывает в свой вихрь, в свой крутой кипяток.
Не более и не менее чем чаинки –
И они, и солдаты охраны,
И мещане, и приказчики, и посыльные.
(«Лучший чай»)

Тема пустоты человеческого существования звучит здесь тем оглушительнее, когда понимаешь, что речь идёт о людях, которые, как им кажется, напротив делают всё, чтобы этой пустоты избежать, – *реализуют* себя самым надёжным способом – они принимают участие или творят один из самых громких актов в русской истории, проще говоря, творят эту самую историю, поворачивают её, как хотят: ведь Софья, Николай, Игнатий – это первомартовцы – Софья Перовская, Николай Рысаков, Игнатий Гриневицкий, а его величество пустота в экипаже – Александр II. И тем не менее «их затягивает пустота, засасывает в свой вихрь, в свой крутой кипяток, не более и

не менее чем чаинки...». Говоря современным сленгом, первомартовцы, вероятно, считали себя очень «крутыми», а на самом-то деле крутым оказывается только кипяток пустоты. А как ещё, если не Освенцим, можно назвать мир, где есть люди, которым самым надёжным способом самореализации кажутся убийства других людей?

Темы собственного отсутствия, *пустоты* вместо человека некоторым образом не избегает и сам поэт. Может быть, это сделано намеренно. Во всяком случае, при чтении книги не покидает ощущение, что автор не испытывает никаких амбиций поэта, не питает никаких иллюзий и ни на что, кроме разговора с читателем, не претендует. «Бей, но выслушай». А как поэт почти самоустраняется.

Таким образом, в своей книге автор более всего напоминает своего же героя из стихотворения «Nightflight to Venus» – старого профессора, которого забрали инопланетяне, оставив здесь только его голограмму – и вот эта голограмма читает лекции студентам, живёт обычной прежней жизнью, ну иногда проходит сквозь стены, или сквозь неё «вальяжно проходит кот», но отсутствия человека всё равно никто почти и не замечает. То ли из-за невнимательности, то ли из-за неразборчивости, или потому, что в окружающем «Освенциме» никому нет дела до других – самим бы выжить, не стать голограммой. Но здесь происходит забавная инверсия – оставаясь людьми физически, но замыкаясь на себе, – в духовном смысле люди как раз и превращаются в голограммы, т.е. в очень правдоподобные, но всё же – иллюзии людей, а герой стихотворения «Nightflight to Venus», являющейся голограммой именно в физическом смысле, в духовном – возможно – остаётся одним из немногих настоящих людей. А в стихотворении «Черника» о «жизни вечной» – о том, что «жизнь после смерти существует», – нам рассказывает вообще мертвец:

Учёный вытер салфеткой гной,
выступивший из складки на лбу,
поправил перчатку,
сверкнув жёлтой костью
запястья.
(«Черника»)

И, наконец, на последней «станции» в финальном стихотворении «Просто Мария» мы узнаём, что же произошло прошедшей ночью. С чем нам теперь жить. А произошло страшное: убита молодая красивая девушка. Убита зверски, так что:

Леонора-бухгалтер и сменщик-вогул
на её опознанье блевали.

Но что после этого меняется? Как переживают эту трагедию герои стихотворения? Да почти ничто и никак. В этом главный ужас:

Кто отрезал ей голову, кто отрубил
её пальцы и выпустил ки́шки?
Возле стойки его называли Арчил
говорят заводские парнишки.

Больше мы не пойдём уже в тот ресторан,
где злодей испоганил санузел.
Не отведаем их абрикосовый флан
и не выпьем клубничного смузи.
(«Просто Мария»)

Всего-то. Не выпьют клубничного смузи. Нет, они, конечно, пойдут в кабак, закажут по сотке и «навзрыд, на разрыв будем петь до утра о Марии Живаго, красотке». Но и всего-то. Т. е. их природа останется прежней. А значит, следующей ночью где-то погибнет ещё одна «просто Мария», потому что

Солнце всходит, но песне ещё не конец
Только ночи конец.
Только ночи.

И здесь нам приходит на ум догадка, что, возможно, автор и не затевал никакой полемики с Адорно, а, напротив, согласен с ним, потому что, не поленившись и отыскав в Интернете первоисточник – работу Теодора Адорно «После Освенцима», кроме знаменитой фразы о невозможности поэзии, читаем там и такое: «*Вполне понятную катастрофу первой природы трудно сопоставить с катастрофой второй, общественной природы, которая мало волнует воображение человека. Хотя именно ее катастрофа и готовит наступление реального ада, практического зла*».

Дарья ОБЛИНОВА

ЛАБИРИНТЫ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

Елена Чижова. Китаист. – М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 608 с.

9 мая 1945-го во Вторую мировую войну вступили союзники, тем не менее немцам удалось дойти до Урала. Война окончилась в 1956 году перемирием, поскольку с обеих сторон было уже некому воевать. В результате возникло два государства: на оккупированной немцами территории – Россия, которой через какое-то время пришлось отделиться от Германии, а за Уральским хребтом – СССР, построивший свою Москву и свой Ленинград. Две страны не могут до конца разобраться, затевать им новую войну или союзничать, но все же строят железную дорогу Москва – Москва. И вот в поезде «Беркут» (привет, «Сапсан» и «Ласточка»!) едет главный герой – Алексей Руско.

Так в один абзац уместился практически весь сюжет нового романа Елены Чижовой, а это значит, что узнать его можно было и из аннотации, не тратя время на прочтение шестисот страниц. «Китаист» – наглядный пример того, как можно загубить хорошую идею. Антиутопия и альтернативная история придуманы давно, а так как события в романе происходят в 1984 году, становится ясно, что Чижова ориентировалась на Оруэлла. Английскому писателю удалось создать целый мир, при этом не забыв про захватывающий сюжет: изображая противостояние нормальных человеческих чувств и тоталитарного режима, он показывает, к чему приводит ограничение личных свобод. Елена Чижова настолько увлеклась замыслом и политическими рассуждениями, что работа над фабулой отошла на второй план. Что произошло с главным героем в командировке? Действительно ли он является сотрудником советской разведки? Каково было его задание? Когда он успел предать Ганса (в аннотации говорилось, что их дружба привела к предательству)? Или это Ганс предал Алексея? На эти вопросы ответов нет.

Сложно представить более разностороннего героя: советский шпион с раздвоением личности (у Руско есть «внутренняя наружка» – дерзкая, корыстная, говорящая на языке врага), параноидальным психозом (ему все время кажется, что все вокруг двойные агенты, все друг за другом следят и выполняют какие-то задания) и гомосексуальными наклонностями. Несмотря на обилие заметных качеств, персонаж остается плоским: он как робот, запрограммированный на много функций, но так и не ставший живым. Руско мыслит узко, по-совковски, его сознание косно, душа не способна к состраданию, любви (даже к Гансу он испытывает только физическое влечение, и если будет нужно, сдаст властям не раздумывая и его, и своего наставника Геннадия Лукича). Если снова вспомнить Оруэлла, становится ясно, что Чижовой хотелось показать, в какую машину превращает человека режим. Но уловить эту мысль сложно, так как ее персонаж не получает никакого внутреннего развития.

Что по-настоящему увлекает автора, так это политические и бытовые различия двух описываемых стран. Россия – утрированный вариант нашей современной страны, Советский союз не нужно даже гиперболизировать, он и сам был похож на одну большую антиутопию. Получается, будто герой путешествует не в пространстве, а во времени. По Чижовой, плохо и там, и тут. Россия изображена такой, какой ее можно представить по материалам телеканала «Дождь». Здесь должна быть боль и жалость к Родине, но чувствуется только презрение: к пропаганде, к обывателям, которые только и делают, что смотрят телевизор и *жрут* (извините за нем-русский – языком, на котором говорят в романной России, проникаешься поневоле), к роскоши бутиков и к нищенству, к так называемым «желтым». Представители низшего слоя – выходцы из Средней Азии – плохо пахнут и не имеют привычки думать: «Желтые ликуют снаружи. Слов не разобрать. Да это и неважно. Были бы желтые. Слова найдутся».

Еще одна ниточка, которая увела автора от сюжета, – конструирование упомянутого нем-русского языка, смеси русского просторечия с диалектизмами и немецкой лексикой. Да, в тексте есть объяснение, что просторечие

пришло на место литературному языку потому, что практически все население столиц было эвакуировано и в стране остались одни провинциалы. Но, во-первых, кто сказал, что интеллигенция – это только жители столиц, а во-вторых, даже самый отъявленный деревенщина имеет представление об уместности и не станет употреблять нецензурщину в докладе на конференции. Так что стать таким язык просто не мог (это подтверждают и лингвисты, которые уверены: ничего с великим и могучим не случится, несмотря на многочисленные заимствования и засилье разговорного стиля). Но в «Китаисте» он стал, так что читать это произведение отъявленным пуристам будет почти физически больно.

«История не имеет / не знает сослагательного наклонения», – рефреном повторяется в тексте. Мысль, которая волнует Елену Чижову, такова: как бы ни сложились те или иные события – Россия все равно пришла бы к ее нынешнему, упадническому, с точки зрения автора, состоянию. Философская идея, по-своему глубокая и имеющая право на существование. Но можно ли оценить литературное произведение за одну только идею?

Сергей ШИНДИН

НЕОЖИДАННЫЕ ПОДТЕКСТЫ

Георгий Левинтон. Статьи о поэзии русского авангарда. – Helsinki: Unigrafia, 2017. – 275 с. – (Slavica Helsingiensia 51)

Среди многочисленных терминов и академических дефиниций, введенных в научный оборот Ю.М. Лотманом, одним из наиболее известных, безусловно, является «эффект обманутого ожидания», который, несколько упрощая, можно определить как абсолютное несовпадение «локальных» или охватывающих весь текст читательских ожиданий с частичной или полной реализацией авторского замысла.

Нечто подобное наверняка ожидает большинство читателей недавно вышедшего из печати в Финляндии сборника статей Георгия Левинтона (51-й том серии «Slavica Helsingiensia»). Трудно предположить, нет, просто невозможно себе представить, чтобы берущий в руки эту книгу, зная исследовательские приоритеты автора, не ожидал уже на ее обложке увидеть имя Осипа Мандельштама, точно так же, как и был бы готов не встретить в ней ни одного текста, посвященного творчеству этого поэта. Но в реальности все происходит именно так: рецензируемое издание тематически представляет собой совершенно иное явление; по словам самого автора, «книга составлена из статей, посвященных поэзии русского авангарда и написанных в основном за последнюю четверть века (блоковская мера): самая старая из них по времени опубликования относится к 1990 году». И далее следует прямое «автопризнание»: «авангард не относится к моим первоочередным интересам, но время от времени я наталкивался на какие-то интересные (по крайней мере для меня) параллели, находил какие-то объяснения и, естественно, превращал их в статьи. Характерным образом, большинство из этих статей носят названия “заметки”» (С. 6).

Уже простая попытка подробного и всестороннего перечисления затрагиваемых в издании тем полностью исчерпала бы отпущенный на данный обзор печатный объем, но и их самый общий перечень выглядит впечатляюще: поэзия русского футуризма, авангардные в самом широком смысле слова поэзия и живопись, литературное наследие самых ярких представителей Серебряного века, русский формализм и его оппоненты... Не менее широк и «тезаурус» авторов, чье творчество прямо или опосредованно затрагивается в книге: Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Бенедикт Лившиц, Сергей Есенин, Осип Брик, Рене Магритт, Александр Ривин...

«Заметки» – именно так определен жанр открывающего издание раздела: «Зау. Заметки о зауми», – первая из «заметок» посвящена рассмотрению, пожалуй, самой знаменитой стихотворной строки Крученых и одного из самых известных лингвистических футуристических экспериментов – «Дыр, бул, щыл». Автор напоминает читателю: «В декларации Хлебникова и Крученыха “Слово

как таковое" анализируемое стихотворение Крученыха приводится как первый пример новой поэзии» (С. 12), – и реконструирует самый широкий историко-литературный контекст аналогичных и близких фонетических и словообразовательных исканий футуристов в зауми. Следствием этого становится вывод: «Именно примеры, в которых квазизаумь имеет вполне "рациональную" (на языке протагонистов "умную") мотивировку, прежде всего, заставляют нас искать для зауми объяснения не в области "изобретательства" или "говорения языками", а в области будничного подтекста. Иначе говоря, заумный текст, по крайней мере в некоторых случаях, не изобретается и, тем более, не возникает бессознательно, как в радении, а "берется" откуда-то более или менее готовым и приспосабливается к функции зауми (как в примере, разбираемом в этой первой заметке) или к другим функциям, диктуемым контекстом (как в некоторых примерах в следующих заметках этой серии). При этом исходный элемент может трансформироваться или оставаться (формально) неизменным» (С. 16-17).

Подобная трактовка «генетических корней» зауми вполне логично актуализирует интертекстуальный взгляд на нее: самые разнообразные и порой совершенно неожиданные исторические, лингвистические и литературные подтексты обнаруживаются исследователем для самых разных примеров заумной поэзии русских футуристов. Но в то же время во второй части статьи («постскриптуме» к части первой, публиковавшейся ранее) приводятся многочисленные примеры того, как строка Крученых становится «интекстом» в стихах современных поэтов – Натальи Горбаневской, Николая Моршена, Михаила Безродного, Яна Сатуновского, Татьяны Бек и Михаила Сухотина (С. 30–33).

Вторая половина первого раздела – «Поэты, художники и заумь» – состоит еще из двух «заметок о зауми», основывающихся на бесспорном утверждении о том, что «в футуристических изданиях 1910 годов слова и изображения если не равноправны, то гораздо ближе к такому статусу, чем в обычном иллюстрированном издании, и противопоставление этих признаков или искусств почти снимается, С одной стороны, в литографированном рукописном почерке – обычно художника – как способе подачи словесного текста, с другой, в зауми, отчасти приближающейся не только к "фонетической", но и к фигурной или оптической поэзии. Поэтому исследование зауми и вообще авангардной поэзии имеет особое отношение к вопросу о словесных и изобразительных текстах» (С. 40-41).

В первом очерке анализируются предсмертные слова фараона Эхнатена в рассказе Хлебникова «Ка»: «Манч! Манч! Манч!», – которые автор совершенно неожиданно для рассматриваемого контекста предлагает интерпретировать в свете этимологических параллелей славянских языков: «Позволю себе предположить, что слово манч было страшным для Хлебникова, поскольку (сознательно или подсознательно) вписывалось в праславянскую перспективу некоторого круга слов, в том числе его собственного этимологического сближения меч/мяч <...>. И здесь этимологически близкие или фонетически похожие слова в других славянских языках образуют тот лексический фон, который может объяснить реакцию на этот заумный комплекс» (С. 49–50).

Следующая заметка – «Заумный словарь в поэзии и живописи: Хлебников. Ривин. Магрит[1] » – продолжает начатую еще Николаем Гумилевым традицию выявления своего рода «словарей», содержащихся в хлебниковских стихотворениях, которые сами иногда строятся по принципу таких «словарных статей». Но, перечислив случаи построения подобных словарей, автор расширяет границы применения поэтом этого приема и отмечает: «у Хлебникова много толкований к отдельным словам (неологизмам) и тем более к парадигматическим элементам (самое известное – "слово о эль"), но словарь – список с толкованиями – это, видимо, полноправный поэтический прием. Более того, этот прием (отчасти вопреки тому, что сказано в "Нашей основе") может применяться не только к заумным словам, а выходить за рамки заум-

[1] Так у автора книги.

ной лексики, отождествляя (толкуя) вполне "традиционные" слова» (С. 53). В качестве одного из самых ярких примеров этого приведено стихотворение Хлебникова 1915 года:

Годы, люди и народы
Убегают навсегда.
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы.

А далее автор указывает возможные структурно-семантические параллели данным моделям, присутствующие, согласно его точке зрения, в поэзии продолжателя «хлебниковской традиции» Александра Ривина (о котором подробно идет речь в финальной части книги) и живописи Рене Магритта[2].

[2] Примеры подобного рода расшифровываемых, эксплицируемых автором метафор, когда «означаемое» соседствует в тексте с «означающим», вероятно, могут быть умножены и далее. Так, с определенными оговорками, представляется допустимым включить в данный ряд известную строку Мандельштама из стихотворения 1935 года: «Воронеж – ворон, нож…», где два последних элемента в известном смысле синонимичны друг другу. Нельзя не отметить, что близкие лексико-семантические конструкции с их «метафорической» основой нередко использовались поэтом именно в отношении городов: «Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый…»; «И ты, Москва, сестра моя…» и др. Строго говоря, по сходной модели, но уже в развернутой форме строится и «словарное определение» Армении в шестом из стихотворений одноименного цикла: «Орущих камней государство – / Армения, Армения!» и т.д. (Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Т. 1: Стихотворения / Сост., подгот. текста и коммент. А.Г. Меца. – М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 198, 146, 201, 148).

В приложении к разделу о зауми опубликованы две статьи из московского машинописного журнала «Гермес» (откровенного оппонента новаторским исканиям начала 1920-х годов – художественным у футуристов и научным у формалистов) – М.М. Кенигсберга («Вырожденье слова (к уясненью футуристической поэтики)») и А.А. Буслаева («"Заумники" (По поводу последних книг Ал. Крученыха)». Еще одно приложение посвящено рассмотрению живописных подтекстов в авангардной поэзии (на материале стихов Пастернака, Маяковского и Цветаевой), а непосредственно к ним примыкает третья составляющая раздела – заметка более обзорного характера «Из истории полемики "левого" и "правого" формализма: Брик о Хлебникове», где также фигурирует журнал «Гермес».

Строго говоря, уже из первого раздела рецензируемого издания делается понятным, что имя Хлебникова, безусловно, главное в нем; очевидным это становится во второй части сборника, название которой – «Хлебников. Заметки о Хлебникове» – не требует комментария. Открывает ее обширная статья, посвященная книге Крученых и Хлебникова «Мирсконца» и одноименной хлебниковской пьесе, а точнее – «взаимоотражающимся» названиям этих текстов и той развернутой перспективе историко-литературных ассоциаций, которая разворачивается вокруг них, включая в свое смысловое пространство широкую традицию самого разного типа палиндромов в литературе первой трети XX века.

Далее в подразделах с не менее симптоматичными названиями «Маргиналии к хлебниковедению» и «Маргиналии к Хлебникову» автор под разными углами зрения рассматривает хлебниковское стихотворение «Лучизм. Число 1-е» («Черный царь плясал перед народом...») и комментирует отдельные строки и образы, присутствующие в самых разных произведениях поэта, – как правило, учитывая актуальные в этом отношении контексты коллег и предлагая собственные интерпретации. Завершается радел монографической по своей широте и по

своему объему рецензией на изданную в 1999 году книгу Барбары Леннквист «Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова» (С. 180–193), а также набором опубликованных в 1974 и 1977 годах в журнале «Russian Linguistics» откликов на исследования о футуризме Бориса Успенского, Хенрика Барана, Александра Парниса и Джеральда Янечека.

Третья часть сборника – «Мелкие заметки об умеренных авангардистах» – состоит из заметок «Несколько мелочей о Пастернаке», «Билингвистические каламбуры Маяковского», «Бенедикт Лившиц, Есенин и Маяковский», которые так же, по сути, представляют собой разносторонний комментарий к стихам самых разных поэтов. Одним из приложений в этой части книги выступает фрагмент опубликованной ранее статьи «Смерть поэта: Иосиф Бродский», обращенной к теме, с пушкинских времен исключительно актуальной для русской поэзии и наполненной самыми широкими гражданскими, литературными и личностными коннотациями.

Завершает издание ряд небольших очерков, посвященных единичным фактам биографии и произведениям полузабытого «проклятого» поэта 1930-х годов Александра Ривина, и публикация нескольких его стихотворений. При этом особая сложность в возвращении творчества этого поэта к читателю состоит в следующем: «Из стихов Ривина сохранилось очень немногое, но и то, что сохранилось, ставит сложные задачи перед публикатором. Слишком мало известно авторских рукописей или надежных списков. <...> Стихи Ривина существовали устно: он сам читал их друзьям, они в свою очередь устно их передавали. Если студенческие стихи сохранились в аккуратных беловых автографах, то от конца 1930-х годов дошли только черновые тетради со стихотворным “потоком сознания”» (С. 244).

По объему вводимого в научный оборот материала – как нового, так и содержавшегося прежде чаще всего в труднодоступных изданиях, – рецензируемый сборник столь многообразен, что его можно считать одновременно направленным тематически и содержательно как в сферу русского поэтического авангарда 1910-х годов, так и в пространство литературы Серебряного века в целом. Но поскольку жанр рецензии традиционно предполагает присутствие в отзыве каких-либо порицаний, в качестве такового «метатекста» можно использовать слова самого автора, сказанные им по поводу другой книги: «Очень мешает <...> отсутствие указателей: именного, предметного, и особенно произведений Хлебникова» (С. 193). Но данное обстоятельство лишь затрудняет «целевое» чтение, но никак не преуменьшает искренний интерес, с которым читатель наверняка будет знакомиться со «Статьями о поэзии русского авангарда» Георгия Левинтона.

Аркадий ДАНИЛОВ

ГРЯДУЩИЙ КАЦ:
интервью с Романом Арбитманом

Рустам Кац. История советской фантастики / Пер. на японский: Хироаки Умэмура). – Токио, 共和国 (editoral republica), 2017. – 280 с.

– Роман Эмильевич, скажите сразу, какое это по счету издание «Истории советской фантастики»? Одни говорят – четвертое, другие – пятое, а третьи – вообще шестое. Кто прав?

– На японском это первое издание, без вариантов. Что касается издания на русском, тут все суждения, приведенные вами, отчасти справедливы – каждое по-своему. Но сперва давайте я вкратце расскажу об истории появления этой книги и о ее жанре, а то читатель, не знающий деталей, может совсем запутаться. Итак, в 1992 году Борис Стругацкий, вручив мне присуждаемую им фант-премию «Бронзовая Улитка», посетовал, что я до сих пор занимаюсь статьями и не написал чего-то монументального – например, историю фантастики. Однако я воспользовался советом мэтра лишь отчасти: написал альтернативную историю фантастики. Что было бы, если бы в 1917 году большевики объявили «главной» литературой именно фантастику и всячески поощря-

ли именно этот жанр? Поскольку дальнейшие исторические события тоже претерпели некоторые изменения, у меня в итоге получилось нечто вроде альтернативной истории СССР – такой фантастический роман, притворяющийся ученой монографией о фантастике.

– А почему Кац? Да еще Рустам Святославович?

– «Синтетическое» имя автора должно было заранее намекнуть читателю, что он имеет дело с мистификацией. Этот намек, увы, поняли не все, но те, кто понял, поддержали мою игру. Сергей Григорьевич Боровиков, например, одним из первых опубликовавший рецензию на Каца в журнале «Волга», подписал ее «Соломон Худайбердыев»... Так вот, возвращаясь к числу изданий. Первое вышло в 1993 году, в издательстве СГУ, но в предисловии я назвал его вторым, придумав эдакое «полусекретное» издание ИНИОН середины 80-х. Годом позже в столичном журнале «Знание – сила» вышел сокращенный вариант книги... вообще немыслимое дело, когда журнальная версия выходит значительно позже книжной, но в случае с Кацем всё было странно, так что я не удивляюсь. И поныне публикация в «Знание – сила» является самой многотиражной (14 тысяч), и многие узнали о существовании Каца именно из журнала. Сердечное спасибо ныне покойному Всеволоду Ревичу, который пробивал ту московскую публикацию... Потом был десятилетний перерыв. В 2004 году в издательстве Санкт-Петербургского университета вышло еще одно издание. В 2013 году в «Гуманитарной Академии» (тоже Санкт-Петербург) выпустили издание с дополнительными иллюстрациями... Ну а четыре года спустя книга вышла в Токио.

– Про то, каким образом на Каца обратили внимание в Японии, поговорим позже. Пока же вернемся к российским приключениям «Истории советской фантастики». Борису Стругацкому, как я понимаю, книга понравилась. «Рассказывая нам "альтернативную историю советской литературы", доктор Кац сообщает безумно много интересного о реальной советской литературе и реальной советской фантастике, – цитирую его интервью в "Книжном обозрении". – Да, фантастики доктора Каца не существовало, но большевики-то существовали. Каинова печать, которую они накладывали на все, что связано с культурой, существовала. Так что книга Каца – не просто великолепная мистификация, но притча, очень глубокая и многомерная притча, и это не может не подкупать". То есть саратовское издание, опубликованное скромным тиражом, не осталось незамеченным?

– О да, мне грех жаловаться. Борис Натанович не обиделся, что я весьма своеобразно воспользовался его советом, и наградил Каца еще одной «Бронзовой Улиткой». А еще книга получила премии «Интерпресскон» и «Странник», была замечена рецензентами «Нового мира», «Литгазеты», «Сегодня», «Независимой», «Столицы», «Московских новостей» и других изданий. Однако до 2004 года книга была, что называется, широко известна в узких кругах. Но затем текст попал в интернет – и начался ужас...

– Каца приняли всерьез?

– Более чем. Поскольку книга с самого начала была во всех крупных библиотеках, ее порой воспринимали... гм... некритически. Например, в ливерпульском журнале «Foundation: International Review of Science Fiction» предлагалось скорректировать историю журналов фантастики, поскольку-де советский альманах «Селена» по тиражам опережал знаменитый журнал Хьюго Гернсбека «Amazing Stories». И мне пришлось объяснять автору, что никакого альманаха «Селена» в природе не существовало... Однако всё это было мелочью по сравнению с главной бедой. В одной из глав у меня рассказывалось про то, как на Потсдамской конференции в 1945 году Сталин предложил американцам поделить Луну. Этот эпизод был напрямую связан с сюжетом: фантасты так много писали о покорении Луны, что Сталин начал понемногу путать фантазии с действительностью. Когда же книга попала в Сеть, из Каца начали произвольно выдергивать цитаты, фантастику начали выдавать за истину. Вышли несколько «документальных» фильмов, десятки статей и книг, где придуманный эпизод объявили подлинным и восхитились «провидческой мудростью» Сталина. Я объяснял, что это – мистификация, но всё тщетно. Для

многих моя выдумка до сих пор заслоняет реальность. Мой японский переводчик Хироаки Умэмура тоже поначалу купился, приняв Каца всерьез. Но он проявил дотошность, полез в интернет и догадался, что к чему.

– *После этого и возникла идея перевести «Историю советской фантастики» на японский?*

– Совершенно верно. Господин Умэмура написал мне и рассказал о своем замысле. Я, разумеется, его поддержал. Работа заняла у переводчика около двух лет: он не только готовил японскую версию Каца, но и изучал все те книги, которые были упомянуты по ходу повествования – ведь большинство их действительно существовали. Я же, в свою очередь, комментировал те строки, которые могли быть непонятны японским читателям. Получилось очень изящное издание, стильно оформленное, в суперобложке. В конце книги господин Умэмура поместил отдельное, очень внятное, послесловие, в котором объяснял читателям жанр книги. Сейчас он присылает мне первые рецензии на Каца, их уже немало – в том числе и в крупнейшей японской газете «Асахи Симбун», – и я вижу: многие читатели и литературные критики в Стране Восходящего Солнца поняли, что это – мистификация. Надеюсь, что хотя бы в Японии миф о Сталине, желавшем поделить Луну, не укоренится...

– *Говорят, вы хотели бы, чтобы книгу доктора Каца доставили на Луну?*

– Такая идея высказывалась во время презентации книги в Институте космических исследований РАН. Но, надеюсь, это была шутка. Хотя техническая возможность доставить книжку на Луну есть уже сегодня, эту идею мне бы не хотелось реализовывать. Слишком опасно. А вдруг на Луне высадятся инопланетяне и обнаружат книгу Каца? Они ведь могут и поверить. Быть Вселенским Мистификатором мне как-то совсем не хочется...

Редакция журнала:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru
Алексей Слаповский (проза): slapovsky@yandex.ru

Персональный сайт журнала: http://volga-magazine.ru/
Автор сайта, модератор – **Кирилл Преображенский**: kirill.preo@gmail.com

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

Подписано в печать 22 августа 2017 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.